Пути-перепутья

Художественная литература 2026

Пути-перепутья

Часть первая

Глава первая

1

Все, все было как наяву, все до последнего скрипа, до последнего шороха в заулке врезалось в память…

Ночью они с Иваном спали крепким, спокойным сном, и вдруг топот и грохот в сенях, будто стадо диких лошадей ворвалось с улицы, потом с треском распахнулась дверь, и на пороге – Григорий, бледный-бледный, с наганом в руке. "Вот он, вот он! – закричал Григорий. – Хватайте его!" И Ивана схватили. Петр Житов (так и заверещал немазаный протез), Федор Капитонович, Михаил Пряслин… А она, жена родная, не то чтобы кинуться на защиту мужа – слова выговорить не могла…

– Ну и приснится же такое, Господи! – Анфиса перевела дух и первым делом заглянула в кроватку сына: у Родьки прорезывались зубы, и он уже который день был в жару.

В мутном утреннем свете – в окна барабанил дождь – она увидела долгожданную улыбку на лице спящего сына, услыхала его ровное дыхание, и блаженная материнская радость залила ее сердце.

Но радость эта продолжалась недолго, считанные секунды, а потом ее снова сдавила тоска, страх за мужа.

Ивана вызвали в райком на совещание три дня назад, и вот – небывалое дело – не то что его самого, весточки никакой нет. Она все передумала за это время: заболел, уехал в показательный колхоз (есть такой возле райцентра, возят туда председателей), укатил на рыбалку с Подрезовым (второй год у Ивана какая-то непонятная дружба с первым секретарем райкома)… Но сейчас на все это она поставила крест. Сейчас, после того как ей приснился этот страшный сон, она была уверена: с Григорием поцапался Иван.

– О, Господи, Господи, – расплакалась вдруг Анфиса, – да кончится ли это когда-нибудь?

Шестой год она живет с Иваном, Родька скоро на ноги встанет, а она все еще Минина и Родька Минин…

Она еще как-то понимала Григория, когда тот отказывал ей в разводе попервости, – где сразу обуздаешь свое самолюбие? Но теперь-то, теперь-то чего вставать на дыбы?

И вот они с Иваном порешили: еще раз по-хорошему поговорить с Григорием, а ежели он и на этот раз заупрямится, подать в суд. И пускай Григорий срамит ее на весь район, пускай на всех перекрестках чешут языками.

Покормив проснувшегося сына, Анфиса встала, затопила печь и, посмотрев на часы, дала себе слово: ежели Ивана не будет до двух часов, она позвонит в райком.

2

Стук копыт под окошками раздался в третьем часу (у нее не хватило духу позвонить в райком), и Анфиса не помня себя выскочила на улицу – босиком, без платка, как молодка.

Мимо проходила старая Терентьевна – подивилась такой горячности. Но Анфиса и не думала обуздывать себя. Она так истомилась да исстрадалась за эти дни обеими руками обняла, обвила мужа.

– С ума сошла! Грудницу схватить захотела? – заорал Иван и даже оттолкнул ее: стужей, осенней сыростью несло от его намокшего, колом стоявшего дождевика. И эта забота, эта любовь, выраженная чисто по-мужицки, откровенно, дороже всякой ласки была для Анфисы.

Прикрывая руками полуголую грудь, она одним махом взлетела на крыльцо.

– Родька, Родька! Папа приехал!

Она быстро вынесла в сени деревянное корыто и короб с настиранным бельем, подтерла вехтем пол (первое это дело – порядок в избе), собрала на стол, а потом и сама заглянула в зеркало – нельзя ей растрепой, хватит с нее и того, что Родька высушил.

Иван вошел в избу в одних – шерстяных – носках, без дождевика, даже ватник в сенях снял. Но от него все еще несло холодом, и он, прежде чем подойти к кроватке сына, растер руки, размял плечи.

– Ну, как он без меня? Не получше?

– Получше, получше. Только вот заснул – все жил, отца дожидался. Зуб хотел показать. Хорошая кусачка выросла. Матерь давеча за грудь цапнул – я едва не взревела.

– Постой-ко, у меня ведь что-то для него есть. Лукашин на носках вышел в сени и, к великому удивлению Анфисы, вернулся оттуда с шаркунком – маленькой берестяной игрушкой в виде кубика с камешком внутри.

– На, Господи, – развела она руками, – люди с пожни привозят шаркунки, а ты с района? – И пошутила: – На совещаниях, что ли, нынче игрушки делают?

– Почему на совещаниях? Я тоже на пожне был. Всю Синельгу объехал. От устья до вершины.

Теперь ей понятно стало, отчего Иван весь в колючей щетине и раскусан комарами.

– Представляешь, с полубуханкой на Синельгу? – начал рассказывать он, присаживаясь к столу. – Два с лишним дня на таком пайке.

Анфиса не выказала ни удивления, ни сочувствия. Она не любила этих мальчишеских выходок мужа. Его ждут-ждут дома, убиваются, места себе не находят, а он, на-ко, ехал-ехал, да пришла в голову Синельга – и поскакал. Как будто сквозь землю провалится эта самая Синельга, ежели туда на день позже выехать.

– Нельзя, – неохотно буркнул Иван, перехватив ее сердитый взгляд. Подрезов на всех страху нагнал. Установка такая – заприходовать все частные сена.

– Колхозников? – выдохнула Анфиса.

Лукашин ничего не ответил. Он ел. Ел жадно, с ужасающей прожорливостью. Тарелку грибного супа, полнехонькую, вровень с краями, выхлебал, крынку пшенной каши, какую они и

вдвоем не съедают, опорожнил, молока холодного, с надворья, литровую банку выпил, и все мало – кусок житника[1] отвернул.

– Да, вот что! Знаешь, кого я в районе видел? Илью Нетесова.

– Ну как он? Держится? – Анфиса ширнула носом и по-бабьи сглотнула слезу: у Ильи Нетесова на одном году смерть дважды побывала в дому. Сперва умерла дочь Валя, которую отец больше всего на свете любил, а потом – не прошло и полугода – отправилась на погост Марья: тоской изошла по дочери.

– Держится. Только на уши жалуется. Плохо слышать, говорит, стал.

– Это смерть Валина да Марьина у него на уши пала, – по-своему рассудила Анфиса. – Бабу бы ему какую надо. Где уж одному с ребятами маяться.

– Насчет бабы разговору не было. А вот насчет дома был. Подумывает возвращаться…

– Куда возвращаться? В колхоз?

– А что? В колхозе не люди живут? – Иван даже стеклянной банкой пристукнул по столу. И она уж молчала, не перечила, хотя что же сказала такого? Разве ему объяснять, как нынче живут в колхозе?

Иван первый пошел на попятный, с испугом взглянув на кроватку:

– Ладно, выкладывай, что тут у вас. Жать начали?

– Нет кабыть.

– Почему?

– Да все потому. Погодка-то сам видишь какая.

– Погодка, между прочим, вчера стояла подходящая. Весь день на Синельге было сухо. Или тут у вас, в Пекашине, другой бог? А как те? – Иван круто кивнул в сторону заднего окошка. Но она и так, без этого кивка, понимала, кого имеет в виду муж. Плотников. Бригаду Петра Житова, которая на задворках, у болота, строит новый скотный двор. – Чего молчишь? Я ехал по деревне – что-то не больно слыхать ихние топоры.

Анфиса решила ничего не утаивать: все равно узнает.

– Пароходы вечор пришли…

– Ну и что? – опять зло спросил Иван. Спросил так, будто она-то и есть главный ответчик за все.

А кто она такая? Какая у нее власть? Разве не по его милости она, бывшая председательница, стала рядовой колхозницей? Чтобы не кивали люди при случае вот, мол, семейственность в колхозе развели.

И она, с трудом сдерживая себя, ответила:

– Ну и то. Грузы привезли.

– Так, сказал Иван, – все ясно. На выгрузку укатили.

Он посидел сколько-то молча, неподвижно, все больше и больше распаляя себя, и вдруг встал – решился. И бесполезно было сейчас говорить ему: постой, Иван, одумайся! Это все равно что в огонь дрова подбрасывать. Но, с другой стороны, очень уж это серьезное дело – сено колхозников. Отнять, заприходовать его нетрудно. А что же дальше? Как же дальше-то он будет ладить с людьми?

И Анфиса, подавая мужу сухой ватник наконец-то на улице проглянуло ясное солнышко, сказала осторожно:

– Сено у нас и раньше подкашивали для себя. Ведь уж как, чем-то свою корову кормить надо.

– А колхозных не надо? Колхозные воздухом сыты будут, да? Сколько каждую весну падает от бескормья? Нет, я не я буду, ежели не обломаю им рога. Ха! Они веревки из меня вить будут… Наставили себе сена и плевать на все, что хочу делаю. Видел я на Синельге – под каждым кустом стожки…

– Ну, смотри, Иван, – уже прямо сказала Анфиса, – дерево срубить недолго, да как поставить обратно. Кабы у того же Ильи Нетесова своя корова была, да разве он уехал бы на лесопункт?

Иван, чего с ним никогда не бывало раньше, с размаху хлопнул дверью.

3

От шума проснулся и заплакал в кроватке Родька.

Анфиса подхватила сына на руки и быстро подбежала к окну.

Иван отвязывал от изгороди Мальчика. Передохнувший жеребец начал было игриво перебирать густо забрызганными грязью ногами, задирать оскаленную морду, но Иван – все еще не остыл – наотмашь ударил жеребца кулаком по храпу, и тот сразу остановился, успокоился.

Дальше все было знакомо. Старые, визгливые воротца на задворках, тропинка вдоль картофельника, баевская баня – тут муж отпустит жеребца. Намотает на голову повод, даст легкий пинок под зад, и трясись себе на конюшню.

И тем не менее Анфиса глаз не спускала с мужа. Она ждала, куда пойдет Иван от баевской бани. Ежели повернет назад, домой, то, считай, на этом и кончится ихняя размолвка – сын примирит с матерью, а ежели повернет на дорогу…

Никогда сроду не отличалась набожностью Анфиса, но тут начала шептать про себя молитву – до того ей хотелось, чтобы муж повернул домой. И, в конце концов, даже не ради того, чтобы водворился мир в ихнем доме. Бог уж с ним, с этим миром. Не впервой они ссорятся. Ей хотелось этого ради самого Ивана. Потому что поверни Иван на дорогу, куда же он сейчас пошастает, как не под гору – к баржам, к мужикам? А из этого такое может выйти, что и не расхлебать потом.

Иван повернул на дорогу.

Глава вторая

1

Новый коровник в Пекашине заложили два года назад, и ох какая радость была у людей! К новостройке у болота пролегли тропы чуть ли не от каждого двора, ребятишки перенесли туда свои шумные игры, прохожие и проезжие приворачивали. В общем, все, все истосковались за эти годы по звону топора да по щепяному духу.

Стены поставили быстро, за весну и осень. А дальше – стоп. Дальше заколодило. Сперва из-за плах для пола и потолка – в Пекашине все еще не было своей пилорамы, потом из-за гвоздей – нет в продаже, хоть пальцы свои забивай, а потом вот из-за нынешней страды. Мокрядь. Сеногной. Сухие, ведреные деньки наперечет. А обычно так: с утра жара, рубаха мешает – золото день, а только за грабли взялся – и потянуло из сырого угла. Ну и что было делать? Пришлось плотников бросить на сенокос.

Но, конечно, все эти помехи и задержки – и плахи, и гвозди, и нынешняя погода – все это больше для районного начальства, для отчетов. А сам-то Лукашин понимал, в чем главная загвоздка. В мужиках.

Когда, с какого времени сели топоры у мужиков? А с прошлой осени, с той самой поры, когда в Пекашине – который уж раз – до зернышка выгребли хлебные сусеки.

И все же, говорил себе Лукашин, выходя на деревенский угор, такого еще не бывало. Первый раз плотники не вышли на стройку днем.

Орсовский склад у реки, огромная хоромина под светлой, еще не успевшей почернеть крышей, походил на крепость, окруженную белыми валами из мешков с мукой, из ящиков со сладостями и чаем, из бочек с рыбой-морянкой.

Все это добро было предназначено для рабочих Сотюжского леспромхоза (в Пекашине у него перевалочная база, выстроенная в прошлом году), а колхозникам – ни-ни, килограмма не достанется. Ибо у колхозников своя снабженческая сеть сельпо, а сельповская сеть, известно – всегда пуста. Вот мужики и стараются урвать из орсовских богатств хоть малую толику во время выгрузки. Тут уж орс не жмется, щедро платит и натурой, и деньгами.

Судя по тому, что под складом не было видно ни одного буксира, разгрузка сегодня всего скорее была закончена, и поостывший немного Лукашин начал было подумывать, а не повернуть ли ему назад. Мужики сейчас по случаю завершения работы наверняка пьяны, а с пьяными мужиками какой разговор? А потом, уж если на то пошло, он не хуже своей многомудрой женушки понимает, из-за чего удрали мужики на выгрузку. Когда, в каком месяце он выдавал колхозникам хлеб? В июне, перед страдой. А сегодня какое у них число?

Нет, приказал себе Лукашин, надо все-таки спуститься, а то, чего доброго, они и завтра удерут. У нынешнего мужика совести хватит.

2

Лукашин не ошибся: грузчики выпивали. На вольном воздухе, возле костерка, а чтобы огонь не мозолил глаза их женам (те под вечер каждый раз высматривают своих пьяниц с деревенской горы), прикрылись сверху брезентом. Сообразили! А у скотного двора два года не могут поставить самого ерундового навесишка, от каждой тучи к кузнице бегают.

Ефимко-торгаш, зав перевалочной базой, с ног до головы перепачканный мукой (так сказать, из самого пекла хлебной битвы вышел), заплясал перед Лукашиным как черт: чует свою вину. И у Михаила Пряслина с Борисом Саловым, молодым парнем из вербованных, которого в прошлом году привела в колхоз с лесопункта доярка Маня Иняхина, совесть заговорила: оба взгляд отвели на реку.

Ну а Петр Житов не смутился. Лихо, в упор глянул на председателя своим рыжим, уже хмельным глазом и для полной ясности смачно хлопнул по протезу – с меня-де взятки гладки.

На остальных можно было не смотреть: что Петр Житов скажет, то и они. Да и какой от них толк вообще? Самая что ни на есть нероботь: один кривой, другой хромой, третий еле видит. Даже в лес им ходу нету – вот и околачиваются в колхозе, пьют да делают бабам ребятишек.

По распоряжению Ефимка для Лукашина быстро раздобыли граненый стакан, поставили ящик из-под конфет (Петр Житов и сам Ефимко сидели на таких ящиках), и пришлось сесть. Не будешь же рубить с ходу!

– Чугаретти, а ты какого хрена? Особое приглашение надо?

Только теперь Лукашин заметил своего шофера Анатолия Чугаева, прозванного так с нынешней весны. Правда, попервости его окрестили было по созвучию имени Тольятти, и простодушный и простоватый Чугаев, когда ему растолковали, кто такой его знаменитый «тезка», от радости был на седьмом небе. Но Петр Житов, человек, по местным масштабам весьма искушенный в политике, сказал:

– Не. Не пойдет. И рылом не вышел, и автобиография не та.

– Ну тогда пущай хоть Чугаретти, что ли, – предложил Аркадий Яковлев. – А то вознесли человека на колокольню и хряп вниз башкой.

– А это можно, – милостиво разрешил Петр Житов.

Так вот, Чугаретти, которому Лукашин строго-настрого, уезжая в район, наказал день и ночь возить траву на силос, сейчас в своем диковинно красном берете стоял возле полуторки у ворот склада и искоса, воровато, что-то ковыряя сапогом, поглядывал на своего хозяина.

В один миг с Лукашина слетели все обручи, которые он с таким трудом набивал на себя, шагая сюда.

– Я тебе что, что говорил? Калымить?

– Да ты что, понимаешь, товарищ Лукашин, – обиженно забухал Ефимко. – Что значит калымить? Должна же быть у советского человека сознательность…

– Заткнись со своей сознательностью! Сознательность… Я сознательностью твоей коров зимой кормить буду, да?

Чугаретти, виновато горбясь, начал заводить железной рукояткой мотор грузовика. Но тут уж за обиженного вступилась вся шарага: дескать, как же это так? Человек ишачил-ишачил как проклятый, а тут, выходит, напоследок и душу согреть нельзя. Да стограммовка еще в войну прописана нашему брату. Самим наркомом прописана.

Заступничество товарищей едва не довело чувствительного Чугаретти до слез: толстые губы у

него завздрагивали, а большие коровьи глаза навыкате налились такой тоской и печалью, что, казалось, во всем мире не было сейчас человека несчастнее его.

– Ладно, – буркнул Лукашин в сторону покорно выжидающего Чугаретти, заправляйся да уматывай поскорей, чтобы глаза мои на тебя не смотрели.

Выпили. Кто крякнул, кто сплюнул, кто полез ложкой или прямо своей пятерней в котелок со свиной тушенкой.

Веревочку-выручалочку бросил Филя-петух, щупленький, услужливый мужичонка со светлым начесом над бельмастым глазом, но очень цепкий и тягловый, как говорят на Пинеге, и страшный бабник. Филя, явно тяготясь молчанием, сказал:

– Иван Дмитриевич, а чего это, говорят, у нас опять вредители завелись?

– Какие вредители?

– Академики какие-то. Русский язык, говорят, вроде хотели изничтожить…

– Язык? – страшно удивился Аркадий Яковлев. – Это как язык?

– Да, да, – живо подтвердил Игнатий Баев, – я тоже слышал. Сам Иосиф Виссарионович, говорят, им мозги вправлял. В газете «Правда»…

– Ну вот, – вздохнул старый караульщик, – заживем. В прошлом году какие-то космолиты заграничным капиталистам продали, в этом году академики… Я не знаю, куда у нас и смотрят-то. Как их, сволочей, извести-то не могут…

– А ты думаешь, всякие черчилли зря хлеб жуют?..

– Обруби концы! Кончай разговорчики! – вдруг заорал как под ножом Ефимко-торгаш и встал.

– Ты чего? – Петр Житов повел своим грозным оком. Ни дать ни взять Стенька Разин. Да для пекашинских мужиков он, по существу, и был Стенькой. Потому как умен, мастер на все руки и характер – каждого под себя подомнет. – Ты чего? грозно вопросил Петр Житов.

– А то! На моем объекте политику не трожь, ясно? Чтобы никаких разговоров про политику…

– Мишка, своди-ко его на водные процедуры. – Петр Житов вытянул руку в сторону реки.

– Можно, – ответил, усмехаясь, Михаил и с радостью начал расправлять свои широченные плечища.

Ефимко – недаром торгашом прозвали – не стал дожидаться, пока Михаил встанет на ноги да примется за него, а живехонько, с ловкостью фокусника извлек откуда-то новую бутылку и поставил перед Петром Житовым.

После повторной стограммовки всех потянуло на веселье. Караульщик Павел, постукивая березовой деревягой, притащил из своей избушки обшарпанный голубой патефон. Но завести его не удалось: куда-то запропала ручка.

Тогда Петр Житов, скаля свои желтые, прокуренные зубы, сказал:

– Чугаретти, ты чего притих? Валяй хоша про то, как спасал Север. В разрезе патриотизма…

– Ты разве не слыхал? – удивленно спросил Чугаретти и покосился на Лукашина.

– Я не слыхал! – воскликнул Филя-петух. Разудало, с притопом, исключительно в угоду Петру Житову, потому как в Пекашине все – и старый и малый – знали про подвиги Чугаретти в минувшей войне.

– Давай, давай! – по-жеребячьи загоготал Петр Житов. – Где ты оказался на двадцать второе июня одна тысяча девятьсот сорок первого?..

Чугаретти вытолкали вперед, Ефимко-торгаш уступил ему свое место, и Лукашину – дьявол бы их всех забрал! – пришлось еще раз выслушать хорошо знакомую небывальщину.

– Значит, так, – заученно начал Чугаретти, на двадцать второе июня одна тысяча девятьсот сорок первого я оказался не так чтобы близко от родных мест, но не так чтобы и далеко. На энском объекте в районе железной дороги Мурманск – Петрозаводск.

– В лагере? – уточнил Филя.

– Ну, – неохотно кивнул Чугаретти.

Все знали – опять же по рассказам самого Чугаретти, – за что он попал за колючую проволоку. За лихачество. За то, что перед войной две машины угробил за год: одну утопил, переезжая осенью за речку по первому, еще не окрепшему льду, а другую разнес по пьянке – не понравилась изба, которая не захотела свернуть в сторону. И вот, хотя ни для кого не было тайн в биографии Чугаретти, ему под ухмылки и веселые перегляды товарищей пришлось рассказать и про это.

– ...Ну, сидим, значит, у себя, загораем – только что Беломорканал отгрохали, имеем право? – Радуемся, однем словом, солнышко пригревать стало. А то, что кругом война, немцы да финны на нас прут, мы и понятия не имеем... Ладно, сидим греемся на солнышке – выходной день дали. И вдруг в один прекрасный момент видим: начальство едет. Не наше, не лагерное, а сам командующий Севером генерал Фролов. Вот так... Ну, нас, зэков, понятно, сразу по баракам – не порть картину. "Стой! – кричит Фролов. Это нашим-то фараонам. – Стой, так вашу мать! Я с ними говорить буду..."

– С характером дядя, – заметил кто-то с усмешкой, но Чугаретти, только что начавший входить в раж, даже бровью не повел.

– Да-а, сказанул нам Фролов – вывернул и потроха, и мозги наизнанку. "Ребята, говорит, в доме у нас воры". Мы глаза на потолок – какие еще воры, когда тут самое-распросамое жулье собралось. Со всего Советского Союзу. "Чужие воры. Немцы. Их выкуривать надо, поскольку внезапно залезли в наш священный огород..." Понятно... Выходи на рубежи и спасай Россию, поскольку, значит, армия еще не подошла. Ну, ребятки у нас быстренько шариками крутанули: "Чего дашь?"

– Торговаться, сволочи, да? – устрашающе заскрежетал зубами Ефимко-торгаш. Он был уже вдребезги пьян, но насчет бдительности не забывал. Сработал моментально.

Ефимка быстро успокоили, потому как здесь-то и начинался самый гвоздь рассказа.

– "Да, чего дашь?" – спрашивают Фролова зэки. – Тут Чугаретти даже привстал немного, чтобы с большей впечатляемостью передать решающий разговор генерала с зэками. – "А первонаперво, говорит Фролов, дам хлеба". И достает вот такой караваище.

– Не худо, – хмыкнул Аркадий Яковлев.

– "А еще чего?" – еще больше возвысил свой голос Чугаретти. – "А еще, говорит, дам сала". И вот такую белую кусину достает. Ну и в третий раз спрашивают зэки: "Чего дашь?" И тут Фролов помолчал-помолчал да и говорит: "А еще, говорит, дам вам, ребята, нож". И вот такую филяжину достает из-за голенища.

Развеселившийся Филя-петух заметил:

– У тебя, Чугаретти, генерал-от как урка. С ножом за голенищем ходит.

– Ладно, – продолжал Чугаретти. На комариный укус Фили он, конечно, и внимания не обратил. – Ладно, харчи в брюхе, перо за голенищем – вперед на воров и смерть фашизму! Немцы, понятно, думают – мы от большевиков драпаем как пострадавши. Приняли. Жратвы дали, шнапсу этого ихнего дали, по плечу похлопывают: "Гут, гут, рус". Хорошо, значит. А мы, что же, едим да пьем: у зэка брюхо дна не имеет. А потом команда: в ножи!.. Н-да-а, чистенько сработали. Своих пять убитых да два раненых, а ихних набили – как баранов по всему полю. Ну дак уж Фролов потом не знает, как нас и благодарить. Каждого обнимает, у самого слезы. "Ну, говорит, ребята, спасибо. Родина вас не забудет..."

Последние слова Чугаретти произнес со всхлипом, вытирая своей черной ручищей мокрые глаза. Но это на мужиков не произвело решительно никакого впечатления, ибо все они, за исключением разве Михаила Пряслина, сами побывали на войне. Наоборот, Чугаретти – так это кончалось всегда – дружно стали уличать во вранье, требуя разных уточнений, вроде того, например, где располагался ихний лагерь, далеко ли от границы? Или какие такие чудодейственные ножи были у зэков, что им и немецкий автомат нипочем?

Лукашин – он не забыл, зачем пришел, – одним дыхом выпалил:

– А у нас тоже воры завелись. – При этом слово «воры» он произнес точь-в-точь как Чугаретти, с ударением на последнем слоге.

Петр Житов вопросительно поднял бровь:

– У нас воры? Где у нас воры?

– В колхозе. Я вот только что по Синельге проехал – кто-то в колхозные сена к нам залез.

Лукашину нелегко дались эти слова, ибо он знал, не хуже своей жены знал, что колхозники на дальних сенокосах всегда подкашивают для себя. И так делается во всех колхозах. Но раз уж замахнулся – бей. И он закончил:

– Чуть ли не под каждой елью стожок!

Петр Житов – совсем не похоже на него – как-то неуверенно поглядел на своих притихших мальчиков, как он часто называл своих работяг, затем примирительно сказал:

– Что-то путаешь, товарищ Лукашин. Кто полезет в колхозные сена...

Мстительная, прямо-таки головокружительная радость охватила Лукашина настала его пора торжествовать. Хватит, помотали они ему нервы, посмотрим, какие нервы у вас.

Он поднял высоко голову, сказал:

– Ничего не путаю, товарищ Житов. На днях пошлем специальную комиссию.

Сзади, за спиной Лукашина, громко всхрапывал, булькая горлом, вконец упившийся Ефимко – всегда одним у него кончается, – и Лукашин не к его храпу прислушивался вдруг каким-то обострившимся в эту минуту слухом. Он прислушивался к реке, к ее спокойным, затихающим всплескам внизу, за увалом, кажется, хороший день будет завтра, – прислушивался к ровному гудению костра, на который караульщик только что бросил несколько жарких сосновых полешек, и еще он прислушивался к шагам на лугу. Кто-то скорее всего жена одного из этих мужиков – шел сюда. И мысленно он уже представлял себе, какой сейчас концерт у них начнется, – крепко выдают бабы своим мужьям за эти выпивки на берегу. Потому что иной раз мужиков так закрутит, что не то чтобы домой какой рубль принести, а еще в долг залезают.

Из-за штабеля мешков с мукой вышла Анфиса.

3

Лукашин понимал, зачем притащилась его благоверная: ради него. Ради того, чтобы он не наломал дров, не разругался совсем с мужиками. И вообще, все эти пять лет, что они живут вместе, он только и слышит дома: "Иван, полегче? Иван, потише! Иван, не наступай, бога ради, на больные мозоли людям..."

Но дома – пускай: жена. Да еще и жена неглупая – сама сколько лет колхозом правила. Но она ведь и на людях стала наставлять его.

В прошлом году он застукал на молотилке двух баб – в валенки жита насыпали. ЧП. По существу, под суд надо отдавать, а она, только начал он их пушить, тут как тут со своей заступой: "Давай дак, председатель, зерно не солома. Большую ли ему щель надо, чтобы закатиться". В общем, подсказала бабам, как вывернуться, а его самого просто в дураках оставила.

То же самое в этом году. Пустяк, конечно, – рукавица семян, которую Клавдия Лобанова отсыпала на поле во время сева. Но ведь не прижать как следует Клавдию – весь колхоз растащат! Не дала. Запричитала насчет голодных ребятишек – вой кругом поднялся. "Да пойми ты раз навсегда, – втолковывал он ей дома, – в какое ты меня положение ставишь! Ведь я в глазах колхозников зверем выгляжу – этого тебе надо?" – "Что ты, что ты, Иван! Да я ни в жисть больше ничего не скажу".

И вот пожалуйста – явилась. С приветливой улыбочкой – никаких свар там, где я, – а чтобы он не мог придраться к ней, на руке короб с бельем. Полоскать иду.

И именно эта-то неуклюжая хитрость – нитками же белыми шита! – больше всего и взбесила его сейчас. Так взбесила, что в кармане ватника карандаш попался – в куски изломал. Ну а для житовской шараги ее приход – праздник. Все вскочили разом на ноги, заорали:

– Анфиса, Анфиса Петровна!.. – Как будто для них и человека дороже ее на всем свете нету.

Петр Житов – тот еще артист! – широким, просто-таки княжеским жестом указал на ящики справа от себя: любой выбирай. Так-то мы почитаем тебя!

– Нет, нет, Петя, не буду. Какое мне сидение – полоскать иду. Я это нарочно крюк дала, думаю: мужик-то у меня где?

– Да, дело к вечеру, – игриво ухмыльнулся Петр Житов.

– Да не мели ты чего не надо, – в том же игривом духе ответила Анфиса и даже хлопнула его по спине. – Вы мне председателя-то испортите – все с вином да с вином…

– Ладно, иди куда пошла, – как можно спокойнее сказал Лукашин и, тоже невольно переходя на язык игры, добавил: – А насчет вина мы уж сами как-нибудь разберемся.

Анфиса тут так вся и просияла, с резвостью молодой девки подняла с земли короб с бельем.

– Постой, сказал Петр Житов. – Раз посидеть не хочешь, выпей на прощанье.

– Нет, нет, не буду. Какое мне питье – ребенка кормлю.

– Ясно. Пить с ворами не хочу…

– Чего, чего, Петя? С ворами? С какими ворами?

Анфиса медленно огляделась вокруг, пытливо посмотрела на мужа.

– В газетке одной недавно вычитал. Один руководящий товарищ колхозников так назвал…

Лукашин не успел ответить Петру Житову – его опередил Михаил Пряслин. Михаил заорал вне себя:

– Чего тут в прятки играть? Руководящий товарищ… В газетке вычитал… Председатель свой так сказал. – И то ли совесть заговорила в нем вдруг, то ли Анфису ему жалко стало, добавил: – Ладно, заводи, Чугаретти, своего рысака. В гору попадать надо.

Петр Житов – камень человек! – не пощадил Анфису. Требовательно глядя ей в глаза, спросил:

– Хочу знать твое мненье на этот вопрос… Как бывшего председателя. В разрезе какой нынче линии колхозники: хозяева или воры?..

Все примолкли – нешуточно спросил Петр Житов.

Лукашин не глядел на жену. Он зажал себя – кажется, под пыткой не проронил бы ни единого слова. Пускай, пускай повертится! Его проучил Петр Житов, так проучил, что до гробовой доски помнить будешь, но пускай и она сполна почувствует, как мужики умеют приголубить.

Анфиса усталым голосом замученной, заезженной бабы сказала:

– Какие вы воры… Воры чужое тащат, в чужой дом залезают, а вы хоть и возьмете когда чего, дак свое.

Глава третья

1

У колхозной конторы Михаил спрыгнул с машины вместе с нижноконами.[2]

Петр Житов – он сидел, развалясь, в кабине – зарычал:

– Мишка, ты куды от дома на ночь глядя?

Михаил даже не оглянулся – только покрепче зажал под мышками ржаные буханки. А чего, в

самом деле? Разве Петр Житов не знает, куда он идет? Первый раз, что ли, с буханкой к Ставровым тащится?

Было еще довольно светло, когда он вошел в ставровский заулок, и высокая сосновая жердь торжественно, как свеча, горела в вечернем небе.

У Михаила эта жердь, торчавшая посреди заулка, каждый раз вызывала ярость. В темное время тут не пройдешь – того и гляди лоб раскроишь, а когда ветер на улице – опять скрип и стон, хоть из дому беги. В общем, будь его воля, он давно бы уже свалил ее ко всем чертям. Но Лизка уперлась – ни в какую! "Егорша вернется из армии – разве захочет без радио? Нет, нет, хозяин поставил, хозяин и уберет, коли надо".

Но если в этой проклятой жердине был хоть какой-то резон (пищали после войны кое у кого трофейные приемники), то в затее свата Степана, кроме старческой дури, он ничего не видел.

Всю жизнь, четверть века, стоял ставровский дом под простым охлупнем[3] без конька и так мог бы стоять до скончания века: крыша хорошая, плотная, в позапрошлом году перебирали, охлупень тоже от гнили не крошится – чего надо по нынешним временам? – До конька ли сейчас? – А главное – ему ли, дряхлому старику, разбираться с такими делами?

Не послушался. Весной, едва подсохло в заулке, взялся за топор. Самого коня из толстенной сосны с корнем – с ним, с Михаилом, зимой добывали из лесу – вытесал быстро, за одну неделю. И какой конь получился! С ушами, с гривой, грудь колесом – вся деревня смотреть бегала. Ну а с охлупнем дело не пошло. Отесал бревно с боков, погрыз сколько-то теслом снизу и выдохся.

И вот сколько уж времени с той поры прошло, месяца три, наверно, а новой щепы вокруг бревна по-прежнему не видать. Только свежие следы. Топтался, значит, старик и сегодня.

Степана Андреяновича он застал – небывалое дело! – на кровати. За лежкой.

– Чего лежишь? – по привычке пошутил Михаил. – А мне сказали, сват у тебя накопил силы, к сену[4] укатил.

– Нет, не укатил. – Степан Андреянович сел, опустил ноги в низких валенках с суконными голяшками. – Помирать скоро надо.

– Давай помирать! Ничего-то выдумал. Пятнадцать лет до коммунизма осталось.

Старик многозначительно вздохнул.

– Точно, точно говорю. Сталин это дело еще в сорок шестом подсчитал. Я, говорит, еще при коммунизме пожить хочу, а ты на много ли его старше?

– Нет, Миша, не знаю, как где, а у нас моя порода не заживается. Смотри, кто из моей ровни остался. Трофим помер, Олексей Иванович, уж на что сила мужик был, двухпудовкой, помню, крестился, помер…

– Ерунда! – Михаил положил буханки на стол и сел на прилавок к печи, напротив света. – Я недавно роман один читал – "Кавалер Золотой Звезды" называется. Ну дак там старик не ты. По-боевому настроен. Сейчас, говорит, мне только и пожить. Правда, у них в колхозе – о-хо-хо-хо! – насчет жратвы там или в смысле обутки с одеждой, у них об этом и думушки нету. Скажи, как в раю живут…

С улицы в избу вползла вечерняя синь. От печного тепла, от однообразного постукиванья ходиков Михаила стало клонить ко сну – две ночи не спали на выгрузке, да и выпивка сказывалась, – и он, широко зевая и потягиваясь, пересел на порог, приоткрыл немного двери, закурил.

Разговор, как и в прошлый и в позапрошлый раз, в конце концов перешел к сену – о чем же еще нынче говорят в деревне? Лето сырое, дождливое, сена в колхозе выставлены наполовину – достанется ли сколько на трудодень?

Тут, кстати, Михаил рассказал о недавней стычке мужиков с Лукашиным, о том, как председатель назвал их ворами и как грозился забрать у них сено на Синельге.

– Так что дожили, – невесело заключил он. – Может, сей год и рогатку под нож. В войну я, парнишко, вдвоем с матерью Звездоню кормил, а теперь сам мужик, Лизка баба да вы с матерью как-никак граблями скребете – и все равно не можем вытянуть четыре копыта…

Старик все эти сетования принял на свой счет, что вот, дескать, он виноват, он в этом году ни разу на пожню не вышел, и Михаил не рад был, что и разговор завел. Поди докажи старому да больному человеку, что ты и в мыслях не имел его.

На его счастье, со скотного двора вернулась сестра.

Весть о своем возвращении Лиза подала еще с улицы – пальцами прошлась по низу рамы. И что тут поднялось в избе!

Степан Андреянович, еще недавно собиравшийся умирать, живехонько соскочил с кровати, кинулся в задоски наставлять самовар. Загукал в чулане Вася – этот точно, как по команде, просыпается вечером, в ту минуту, когда забарабанит в окошко мать. Мурка спрыгнула с печи – и она, тварь, обрадовалась приходу хозяйки.

Все это давно и хорошо было знакомо Михаилу, и если он кому и удивлялся сейчас, так это себе. Тоже вдруг встряхнулся. Во всяком случае, сонливости у него как не бывало, а руки, те просто сами зашарили по столу, разыскивая лампешку.

Спичка вспыхнула как раз в ту минуту, когда Лиза появилась на пороге. И неизвестно еще, от чего больше посветлело в избе – то ли от пятилинейки, то ли от ее сверкающих зеленых глаз.

– Ну-ну, кто у нас в гостях-то! Не зря я сегодня торопилась домой. Чуяло мое сердце.

За одну минуту все сделала: разулась, разделась, сполоснула руки под рукомойником, вынесла из чулана ребенка.

Вася к дяде не пошел, заплакал, закапризничал, и это немало огорчило Михаила, потому что, по правде говоря, он и сестру-то дожидался, чтобы племянника на руках подержать.

– Дядя, ты нас порато-то не ругай, – как бы извиняясь за сына, сказала Лиза. – Нам тоже нелегко. Мы ведь теперь материного молока не едим, да, Васенька?

Она походила-походила по избе, убаюкивая ребенка, и так как тот не успокаивался, села на переднюю лавку и дала ему грудь. На виду у брата и свекра. Чего стесняться – свои.

Степан Андреянович неодобрительно покачал головой: не дело, мол, это. С таким трудом отнимала ребенка от груди, а теперь сама приучаешь. Да разве против Лизки устоишь?

– Что ведь, сказала она на замечание деда, – пускай уж лучше матери худо, чем ребенку.

А матери было-таки и в самом деле худо. Она морщилась от боли, закусывала сухие, обветренные губы и под конец, когда явилась с вечерним молоком Татьянка, накинулась на брата. Из-за коровника. Из-за того, что Петр Житов с Игнашкой Баевым, как сообщила Татьянка, распьянехонькие бродят по улице. А раз распьянехонькие – какая завтра работа?

И вот не успел он и рта раскрыть, как Лизка начала выдавать и строителям, а заодно с ними и ему:

– Пьяницы окаянные! Сколько еще пить будете? Есть ли у вас совесть-та? Коровы опять зимой будут замерзать, а у вас только одно вино и на уме. С коровника на выгрузку удрали – где это слыхано?

Михаил сперва отшучивался, ему всегда забавно было, когда Лизка за колхозных коров заступалась, – просто на глазах сатанела, дуреха, – а потом, когда в разговор встрял старик, начал понемногу и сам заводиться.

Степан Андреянович, давно ли еще вместе с ним судачивший о сене, принял сторону невестки (что бы та ни сказала, всегда заодно с ней), и Михаил почувствовал, что должен, обязан разъяснить им что и как. Ведь легче всего попрекать мужиков стопкой. А разве за стопкой бегут на выгрузку? Вот за этой самой буханкой, которую они сейчас кромсают. Может, врет он, неправду говорит?

Конечно, он, Михаил, немного хватил через край – сестру и свата вроде как попрекнул: не забывайте, мол, чей хлеб едите, – а на самом-то деле у него этого и в мыслях не было. Просто допекли его, вот он и брякнул не подумавши.

Шумно, с излишним усердием пили чай и молчали. У Васи, все еще терзавшего грудь матери, один глаз уже закатился, а другой устало, с прижмуром, как у отца, смотрел на дядю.

Михаил кое-как допил стакан и опрокинул кверху дном: все, домой пора. Но разве Лизка отпустит брата вот так, со сдвинутыми бровями?

– Давай так, дядя, посиди с нами, – заговорила она нараспев от имени сына. – Успеешь домой. Покури. Нам, скажи, все равно надо привыкать к дыму. Скоро папа вернется – ведь уж не будет выходить из избы. Есть ли у нас, татя, сколько табаку-то? – обратилась Лиза к свекру. Она почитала старика за отца. Может, безо всего, с голыми руками приедет. Да и вина бы бутылки две не мешало раздобыть. Ведь уж нашего папу не переделаешь, да, Васенька? С мокрым рылом родился.

Сколько раз Михаил наблюдал за сестрой, когда та начинала говорить о Егорше, а все равно не мог привыкнуть! Лицо вмиг разгорится, разалеется, глаза заблестят, а про голос и говорить нечего – соловей запел в избе.

Он тысячу раз задавал себе вопрос: чем взял ее этот кобель? За что она его так любит? Неужели за то, что предал ее на другой же день после свадьбы?

Да, послушать Егоршу, так в армию его взяли потому, что у него-де льгота перестала действовать. Из-за женитьбы. Поскольку новый человек в семье появился. А при чем тут женитьба? Лизка была не в летах, не было ей еще восемнадцати, когда он ее захомутал, так что годик-то наверняка можно было покантоваться дома.

Михаил щадил сестру и никогда не говорил с ней об этом, но сам-то он знал, ради чего женился Егорша. Ради того, чтобы взвалить на нее, дуреху, старика. Чтобы самому быть вольным казаком…

У Васи уже закатился и второй глазок – запьянел, видно, с непривычки от материного молока, а сама матерь все еще мыслями со своим разлюбезным, и Михаил, еще минуту назад радовавшийся отходчивому сердцу сестры, вдруг ужасно разозлился на нее.

Он круто вскочил на ноги и, не сказав никому ни слова, выбежал из избы.

2

…Вот и первая звезда заблестела в луже – кончается лето. И под горой, у реки, не белеет больше рожь – августовская темень задавила хлебный свет в поле.

Осень, осень подходит к Пекашину. Самое распоганое время, ежели разобраться. Налоги всякие – раз, обутка да одежонка – два (то ли дело летом: ребята босиком и сам что ни надел – лишь бы ногу не кололо). Потом это сено распроклятое, корова… Эх, да мало ли еще каких забот разом обрушивается на тебя осенью!

А ведь была, была у него возможность на всем этом поставить крест. Давалась в руки и ему большая жизнь.

Главврач районной больницы как увидел его во всей живой натуре, без прикрытий, даже привстал. Мелкий, худосочный народишко собрался на призывном пункте – война пестовала. Ну и, конечно, не мудрено в таком лесу сойти за дерево. И уж он, главврач, повертел его! И так и эдак поставит, в грудь постукает, в рот заглянет, пробежку даст – ни одного изъяна. Даже скрип в коленях куда-то пропал.

– Редкий экземпляр! В любой род войск. Ну, говори, куда хочешь. Во флот? В авиацию?

– Льгота у него, сказал райвоенком, а сам глазом так и буравит его, Михаила: "Ну, Пряслин, решайся!" (Два часа перед этим уламывал: не беспокойся, семья не пропадет.) И как же ему хотелось сказать: да!

Но глупая – пряслинская – шея сработала раньше, чем губы: нет…

Что ж, вот и ишачь себе на здоровье, думал Михаил, шагая по вечерней деревне. Дураков работа любит – не теперь сказано. И он уже не осуждал сейчас с прежней решительностью и беспощадностью Егоршу. Черт его знает, может, тот и прав. Будет хоть по крайности чем вспомнить свою жизнь. А он, Михаил? Чем вспомянет потом свою молодость? Как корову кормил? Как кусок хлеба добывал?

В школе у Якова Никифоровича был свет – единственный огонек на весь околоток. И кто-то шел оттуда – похрустывал мокрый песок на тропинке, и что-то яркое и блестящее вспыхивало в желтых отблесках.

Михаил, заинтересованный (кто с таким блеском ходит в Пекашине?), остановился.

Раечка Клевакина – у нее резиновые сапожки с радугой.

– Рай, здравствуй!

Встала, замерла. Просто как диверсант какой затаилась в темени. А чего таиться, когда от самой так и шибает духами?

– Здорово, говорю.

Раечка сделала шаг в сторону.

Ого! Райка от него рыло воротит. Так это правда, что у нее шуры-муры с учителем?

Он решительно загородил ей дорогу, чиркнул спичку.

Холодно, по-зимнему глядели на него большие серые глаза. Губы сжаты проходи!

Да, вот когда он понял, что она дочь Федора Капитоновича.

Он выждал, пока спичка в его пальцах не превратилась в красный прямой стерженек (хорошая погода завтра будет), усмехнулся:

– Дак вы теперь на пару сырую картошку лопаете?

Яков Никифорович, как человек приезжий, ужасно боялся северной цинги и все ел в сыром виде. Он даже воды простой не пил – только хвойный настой.

Раечка вильнула в сторону, но Михаил вовремя выставил вперед ногу, и она вмиг забилась у него в руках.

Нет, врешь, голубушка! С сорок третьего каждую молодягу, кажую кобылку и жеребца, в колхозе обламываю, так неужели с тобой не справиться? И он резко, с силой тряхнул Раечку, так что она охнула, потом поставил на ноги, притянул к себе и долго и упрямо терзал своими сухими и жесткими губами ее стиснутый рот.

Выпуская из рук, сказал:

– Через два часа выйдешь на задворки против себя. К соломенным ометам…

– Зачем? Чего я там не видела?

– Затем, что я приду. Потолковать надо…

3

Хорошо тому живется,
У кого одна нога:
Сапогов-то мало надо
И портяночка одна.

Петр Житов хвастался своим житьем. Ему, дурачась, тоненьким бабьим голоском подпевал Игнашка Баев, и, судя по малиновым огонькам, которые то и дело вспыхивали возле бани Житовых, там был и еще кое-кто.

Решили добавить, догадался Михаил, всматриваясь в темноту житовского огородца с дороги. Это всегда так бывает, когда мужики заведутся. Обязательно прут к Петру Житову. Олена, жена Петра Житова, терпеть не может этих пьяных сборищ в своем доме, и вот придумали: с осени прошлого года обосновались в бане. Стены да крыша есть, коптилку соорудили, а больше

что же надо?

Михаил, не очень-то охочий в другое время до мужичьих утех (карты, анекдоты, трепотня), сейчас вдруг пожалел, что он не может сегодня присоединиться к своим товарищам. Нельзя. Сам же сказал Райке: выйди к ометам на задворках.

Он встряхнулся, пошагал домой. Однако пройдя дома три, он остановился. Постоял, поглядел вокруг, словно бы заблудился, и подошел к полевым воротам с новым белым столбом, который сам же на днях и ставил, – по нему-то он и узнал в темноте ворота.

Нет, ерунда все-таки получается, думал Михаил, наваливаясь грудью на изгородь возле ворот. Покуда он был с Райкой – ух как лихорадило! А только отвернулся – и хоть бы и вовсе ее не было. Не то, не то. Совсем не то, что было с Варварой.

Сколько пережито за все эти пять лет, что они в разлуке, сколько бабья всякого побывало у него в руках – сами лезом лезут, – а увидал нынешним летом Варвару в районе, не говорил, не стоял рядом, только увидел издали – и шабаш: никого не знал, никого не любил…

В клубе произносили речи – на совещание механизаторов приезжал, – потом было кино, потом выпивка была в чайной, а спроси его, кто выступал, какое было кино, с кем сидел за столом в чайной, – не сказать. Вот какая отрава эта Варвара…

На лугу, под горой, пофыркивали, хрустя свежей отавой, лошади, мигал солнечный огонек у склада, где хозяйничал теперь караульщик, и там же бледными зарницами отливала река. А вот хлебного света, сколько он ни вглядывался туда, в подгорье, не увидел. Задавила темень.

Глава четвертая

1

Утро было росистое, звонкое, и коровы, только что выпущенные из двора, трубили на всю деревню.

Проводы скота в поскотину Лиза любила превыше всего. Ну-ко, семьдесят коров забазанят в одну глотку – где еще услышишь такую музыку? А потом, чего скрывать, была и гордость: выделялись ее коровки. Чистенькие, ухоженные, бок лоснится да переливается – хоть заместо зеркала смотрись.

– Ну уж, ну уж, Лизка, – качали головой бабы, – не иначе как ты какой-то коровий секрет знаешь.

Знает, знает она коровий секрет, и не один. Утром встать ни свет ни заря, да первой прибежать на скотный двор, да наносить воды вдоволь, чтобы было чем и напоить скотинку и вымыть, да днем раза три съездить за подкормкой на луг, а не дрыхнуть дома, как некоторые, да помыть, поскоблить стойла, чтобы они, коровушки-то, как в родной дом с поскотины возвращались… Вот сколько у нее всяких секретов! Надо ли еще сказывать?

В это утро Лиза не успела насладиться проводами коров. Ибо в то самое время, когда только что выпустили их из двора, прибежала Татьяна.

– Иди скореича… Михаил велел…

– Зачем? Очумели вы – такую рань! Я ведь не у Шаталова на бирже работаю…

– Иди, говорят. Те прибежали…

– Кто – те? Ребята?! – ахнула Лиза.

Петьку и Гришку нынешней весной с великим трудом удалось запихать в ремесленное училище – Михаил из-за них только в городе больше недели жил. Сперва придрались к годам – семи месяцев не хватает до шестнадцати, а потом годы уладили (Лукашин без слова выписал новую справку) – в здоровье дело уперлось. Не подходят. Больно тощие. А с чего они будут не тощие-то…

И вот, рассказывал Михаил, пообивал он пороги. Туда, сюда, к одному начальнику, к другому, к третьему – в городе, не у себя в районе: нет и нет. Рабочий класс… Надо, чтобы была сила…

Спас Пряслиных Подрезов. Сам окликнул на улице, когда Михаил с ребятами уже на пристань шел. Просто как с неба пал. "Пряслин, ты чего здесь околачиваешься?"

И вот, рассказывал Михаил, никогда в жизни не плакал от радости, а тут заплакал. Прямо в городе, среди бела дня. И Лиза тоже каждый раз плакала, когда, при случае вспоминая городские мытарства старшего брата, доходила до этого места.

Всплакнула она и сейчас, хотя тотчас же вытерла глаза: не за тем, не слезы лить зовет ее брат.

Голос Михаила она услыхала еще с крыльца. Шумно, на выкрике пушил двоинят. И еще из избы доносился лай Тузика. Неужели и он, бестолковый, на ребят навалился?

Лиза быстро поправила на голове платок, взялась за железное кольцо в воротах.

Так оно и есть: хозяин летает по избе, как бык разъяренный, и собачонка неотступно за ним. Хозяин кричать на ребят, и она на них лаять. А те, несчастные, ни живы ни мертвы. Сидят на прилавочке у печи, возле рукомойника, как будто они и не дома – глаз не смеют поднять от пола. И хоть бы кто-нибудь за них, за бедняг, заступился! Матерь, правда, та не в счет – та век старшему сыну слова поперек не скажет. Да Татьянка-то что в рот воды набрала? Сидит, в окошечко поглядывает, будто так и надо. Да и Федька, на худой конец, мог бы что-нибудь промычать, а не брюхо гладить: немало его братья выручали.

Лиза сказала:

– Давай дак ладно. Что поделаешь, раз у них счастья нету…

– Счастья? – Михаил выпрямился – полатница над головой подскочила. – Какое им еще счастье-то надо? Худо им было на всем на готовеньком, да? Вишь, домой захотели… По дому соскучились…

– Дак вы это сами? Вас не выгнали? – Кровь отхлынула от лица Лизы. Жалости к братьям как не бывало. – Да вы что, еретики, с ума посходили?!

Михаил снял с вешалки свой рабочий ремень с ножом на медной цепочке, опоясался.

– Возьмешь к себе. Чтобы духу ихнего здесь не было. Да сегодня же отправь обратно. И не вздумай денег давать. Раз домой дорогу нашли, найдут и из дому.

– Может, хоть денек-то им можно пожить дома? – подала наконец свой голос мать. И то невпопад: разве об этом теперь надо думать?

Дверь хлопнула. Михаил ушел на работу, даже не попрощавшись с ребятами. Те заплакали.

– Ну еще! – прикрикнула на них Лиза и даже ногой притопнула. – Сами виноваты, да еще и плачете… Одевайтесь! Живо у меня.

Чтобы не мозолить людям глаза (никогда не лишня осторожность), она повела братьев подгорьем.

– Ну вот, – заговорила, когда спустились босиком к озеру. – Смотрите, по дому соскучились! А чего скучать-то? Всё тут – и поля, и огороды, никуда не убежали. Нет, я бы на вашем месте не скучала. Вон ведь как вас одели да обули. Пальта матерчатые, башмаки, фуражки со светлым козырьком… Да вы как буржуи. Кто у нас, в Пекашине, так ходит? И кормили, наверно, – не помирали с голоду?

– Нет.

– Грамм-то пятьсот всяко, думаю, давали.

– Восемьсот…

– Чего? – Лиза остановилась пораженная. – Восемьсот грамм хлеба на день? Вам? На каждого? Ну вот Михаил-то и выходит из себя. Устраивал-устраивал вас, сколько время потратил, а вы на-ко что надумали – домой. Да где у вас голова-то? Ведь уж надо потерпеть – попервости завсегда человеку на новом месте муторно, а потом привыкают. Я бы еще не удивилась, кабы Федька деру дал, а то вы…

Лиза нагнулась, подняла с земли хворостину, погрозила Тузику – тот с самого начала, едва они вышли из дому, провожал их лаем, а теперь надрывался где-то на угоре, возле амбара, там так и перекатывался черно-белый клок шерсти. Нет, хоть и хвалят у них этого псишку, а бестолковый, не будет из него дельной собаки. Потому что разве дело это – на своих лаять?

– Вон ведь вы что натворили! – принялась опять совестить братьев Лиза. Тузко и тот дивится…

– А он и вчерась на нас лаял… Мы это подходим вечор с задворья к дому, а он нас не пускает… – И Петька и Гришка вдруг горько разрыдались.

– На вот! Нашли из-за кого убиваться. Маленькие! Тузко их не пускает…

– А мы его еще не видели… Нам Таня написала – у нас собачка хорошенькая есть…

– Да вы, может, из-за этой собачки хорошенькой и домой-то прибежали?

Ребята еще пуще разрыдались. И Лиза больше уже не распекала и не стыдила их. Она вдруг поняла, что они ведь еще дети.

2

– Татя, смотри-ко, каких гостей веду. Узнаешь ли?

– О, о! – неподдельно удивился Степан Андреянович. – Петр да Григорий. Сватушки…

– Домой вот прибежали, – сказала Лиза, прикрывая дверь за братьями. – А знаешь, зачем прибежали? – Она рассмеялась. – Тузка смотреть. На-ко, из города, за четыреста верст Тузка смотреть. – Она опять рассмеялась. – А Тузко, глупый, и к дому их не подпустил, лай на весь

заулок поднял.

– Ничего, – сказал старик ребятам. – Не вы одни из-за собаки бегали. Я, бывало, постарше вас был, в работниках уж жил, а до того скучал по собачонке прежнего хозяина – Жулькой звали, – что хоть плачь…

– Неуж, татя? – страшно удивилась Лиза.

– Да, да, было такое дело.

– Ну, ребята, тогда не расстраивайтесь. Не у вас одних заворот в мозгах вышел.

Двойнята пробыли у сестры почти целый день, и Лиза все сделала, чтобы скрасить им неласковый прием дома. Первым делом она накопала молодой розовой картошки, целый чугун наварила – ешьте досыта! Почему вы такие-то худющие ведь когда война кончилась. Потом вымыла их в бане – что и за дом, когда в бане не побывал? Потом – не поленилась – сбегала к своим за Тузиком: Вася, мол, шибко капризит, может, с собачонкой успокоится.

Принесла в кузове за спиной, на пол вывалила – вот вам тот, по ком скучали!

В общем, не худо двойнята погостили у сестры, а уж с Тузиком-то наползались да наигрались сколько хотели.

Единственно с чем плохо в этот день было – с попутной машиной. Так этих попуток сколько хочешь ныне – леспромхозовских, колхозных, каждый час мимо ставроского дома катят то в район, то из района. А сегодня Степан Андреянович часами дозорил возле дороги – и ни единого колеса.

В конце концов Лиза решила до Нижней Синельги подбросить братьев на лошади – благо ей за подкормкой ехать надо, – а там, может, попадется какая машина, а ежели нет, то до Сыломы, большой деревни, где теперь стоит пароход, добегут и сами: недалеко – одиннадцать – двенадцать верст.

Степан Андреянович стал было уговаривать ее оставить ребят до утра ничего, мол, не случится, ежели и позже на день прибудут в свое училище, – но она и слышать об этом не хотела. Что она скажет в ответ Михаилу, как поглядит ему в глаза, ежели тот узнает о самоуправстве? – Не посчиталась она со старшим братом только в одном – насчет денег. Дала по двадцатке каждому на дорогу, потому что на попутке проедут и бесплатно, а на пароходе как? Хватит, натерпелись они страху, когда вперед попадали с пятеркой в кармане на двоих.

Ехали неторопко. Мазурик был в оглоблях – самая распоследняя коняга в колхозе.

У болота, в сосняке, кричали и улюлюкали ребятишки – не иначе как за молодой белкой гонялись, а со стороны новостройки, как на грех, тоже ребячий крик, да со смехом, с визгом, – похоже, Петр Житов шуганул бездельников. И, видно, очень уж горько от всего этого стало двойнятам – затаились позади сестры на телеге и ни слова.

Лиза попыталась развеселить их, вызвать на разговор об ученье, об их будущей жизни – раньше двойнята любили такие разговоры.

– Смотрите-ко, ребята, как вам повезло, – говорила она. – Во всей семье у нас ни у кого сроду не было паспорта, а у вас скоро целых два будет. Краса! Потом где захотел, там и живи – хоть в деревне-матушке, хоть на городах. Не зазнавайтесь только. Меня, может, потом и признавать

не захочете, да?

Ребята не откликались.

Мазурик тащился еле-еле. Он и в молодости-то резвостью не отличался бывало, навоз возишь, не одну вицу обломаешь, а теперь, в старости, и вовсе от рук отбился. И особенно трудно было сладить с ним под вечер, да еще когда надо от дому ехать. И Лиза невольно подумала: вот лошадь, тварь бессловесная, к своей конюшне привязана, а что же говорить о Петьке да Гришке? Уж кто-кто, а она-то знает, как с родным домом расставаться. Не забыла еще, как отвозил ее брат в лес, на Ручьи:

Наконец добрались до Синельги.

Лиза торопливо, не глядя в глаза, обняла братьев – одного, другого, подтолкнула сзади:

– Чёсайте.

И не выдержала – расплакалась, когда двойнята, перебежав мост, вдруг оглянулись и замахали ей руками.

С запада надвигалась туча, темная, лохматая, откуда только и взялась – всю дорогу было светло. Осинки у моста залопотали, задрожали на ветру, серая россыпь прошлогодних листьев полетела по песчаной дороге… Да что же это такое? Кто же глядя на ночь отсылает ребят в дорогу?

– Стойте, окаянные! Куда это полетели?

Двойнята остановились, затем нерешительно вернулись к сестре.

– Из училища-то не выгонят, ежели ночь переночуете у меня?

– Не…

– Не! Как – не? Кто вас, летунов, держать будет? Кому вы такие нужны?

– Не, мы ведь не сами… Нам на неделю разрешено…

– Вы опять за свое! – Лиза уже слышала это от братьев. Рассказывали ей эту сказку еще днем: будто не самовольно убежали, а воспитатель отпустил. – Чего из вас выйдет-то – с таких годов врете? На вот – опять слезы… Плакать-то раньше надо было… Ладно, возьму грех на душу. Бежите ко мне обратно. Да о реку, а не дорогой. И дома у меня, как мыши, замрите, чтобы никто не видел. А то Михаил узнает – голову с меня снимет…

3

Был поздней вечер. Луна, которая еще недавно помогала ей управляться в потемках с коровами, скрылась за облаками, и темень стояла кромешная, августовская – Лиза два раза натыкалась на изгородь.

И вдруг, когда она подошла к своему дому, увидела в заулке свет, да такой яркий, что двойнят, сидевших за столом, хоть на карточку снимай.

Да что же это такое? Мало она натерпелась страхов за сегодняшний вечер это ведь не шутка, ежели из-за тебя ребят выгонят из училища! – так еще свекор огонька подкидывает…

Все разъяснилось мигом, когда она вбежала в избу. Письмо, письмо от Егорши пришло!

– Когда пришло? Не в сутеменках?

– В сутеменках, в сутеменках, – живо закивал Степан Андреянович. Тоже и он весь рад. – Я как раз с лучиной вышел овцам подать – Окся-почтальонша воротца открывает…

И тут Лиза подивилась верности примет. Ведь именно в то самое время, когда начало темнеть (она как раз доить собралась), у нее зачесался нос. Правда, по этой примете ей выходило пить вино, но раз она вина не пьет, должна же быть замена! И такую замену она с радостью принимала: больше двух месяцев не было от Егорши письма.

К столу села чистая, намытая, гладко причесанная, с пылающими щеками письма Егорши всегда зажигали у нее кровь, с сыном на руке – это уж обязательно.

"Здравствуй, дорогой и многоуважаемый дед Степан Андреянович, а также жена Лиза. С боевым солдатским приветом к вам ваш внук и муж Георгий Суханов…"

– А Васе опять привет написать забыл, – заметила, хмурясь, Лиза. – Не знаю, что за отец такой – про сына забывает. – Она перевернула листок, заглянула в конец письма. – Ну да, опять как нищему через заднее окошко: "Привет сыну Васе…"

"Во первых строках сообщаю, что наша… энская часть… – Лиза посмотрела на свекра, на ребят: это еще что? – …наша энская часть была на боевых ученьях, те есть на маневрах, а поэтому письма написать не имел, ибо международный накал и обстановка такая, что, пожалуй, нашему брату не до писем. Данное международное положение происходит потому, что империалисты всех мастей и международный жандарм Америка…"

Лиза покачала головой, усмехнулась:

– Вот как он у нас, татя, высказывается. Как с трибуны. В котором письме уж про эту международную обстановку… Приедет домой, может, и на тракторе работать не захочет, портфельщиком станет… Ну, почитаем дальше.

"Боевые ученья прошли успешно, то есть на большой, дали, как говорится, кое-кому прикурить, на всю катушку развернули огневую мощь Советской Армии, и я за это от лица командования имею благодарность. А кроме того, на днях меня вызывали к начальству и был разговор в части сверхсрочной. Обещают сразу же присвоить воинское звание старшины, а также хорошее довольствие и жилищные условия…"

Лиза всхлипнула, посмотрела растерянно на улыбающихся двойнят, на свекра и вдруг по-бабьи заголосила:

– Татя, да он ведь не приедет к нам… Там останется… В армии…

Глава пятая

1

Лукашин вышел из правления на крыльцо и заслушался. Бах, бух, бах… топоры пели у болота. Вот песня, которую он готов слушать сутками напролет.

Потом, когда он выбежал к амбарам на задворках, увидел и саму стройку.

Не ахти какое сооружение колхозный коровник, не из-за чего тут приходить в телячий восторг, но ежели каждое дерево ты добывал с бою, ежели для того, чтобы зимой выкроить лошадь для вывозки леса, ты всякий раз до хрипоты ругался с районом – лесозаготовки же! – ежели плотничья бригада у тебя полтора мужика, а остальные так себе, для счету, можно сказать, тогда, пожалуй, и на колхозный коровник станешь молиться.

Плотники, завидев, верно, председателя, поживее задвигали руками, и вот как он въелся в стройку – издали, на слух начал угадывать, кто как работает.

С ревом, с рыком врубается в дерево Михаил Пряслин – не щадит себя парень, не умеет работать вполсилы. Старается сегодня Филя-петух. Трень-звень – как на балалайке наигрывает. А вот Игнатия Баева не мешало бы при случае почесать против шерсти. Стук-стук – и встали. Инвалид – кто отрицает? – но ведь топор-то не в больной ноге держит, а ручищи у него – дай Бог каждому.

Волнами накатывался смоляной настой. Свежая щепа, напоминавшая больших белых рыб, плавающих вокруг желтого бревенчатого сруба, сверкала на солнце…

Да, подействовал все-таки позавчерашний прижим с сеном, думал Лукашин, а вот теперь ему надо своими руками прикрывать стройку. Ничего не поделаешь: жатва подошла, первую заповедь выполняй, а кроме того, снова берись за косу, раз вёдро началось.

Плотники один за другим спустились с лесов, подошел, громко визжа своим протезом, Петр Житов – он сколачивал крестовину стропил на задах, и теперь Лукашину понятно стало, почему он не расслышал голоса его топора.

– Ну дак что будем делать-то, мужики? – заговорил Лукашин по-свойски, хотя и не совсем своим голосом, когда уселись на бревна и закурили. – Первая заповедь подошла. Придется нам эту стройку коммунизма на время прикрыть, а?

– А энто уж дело хозяйское, – сказал Петр Житов.

– Хозяйское? А я думал, вы хозяева.

– Один баран тоже думал, что зимой в шубе ходить будет, а его взяли да и остригли…

Так, поговорили по душам, обсудили всем коллективом, как жить и что делать.

Лукашин подождал, пока не затих смешок, сказал:

– Ну, раз вы бараны, тогда верно – баранов не спрашивают. – И уже совсем голосом команды: – Яковлев Аркадий – на сенокос. Филипп, ты около дома жать будешь. Пряслин – на Копанец…

– А мне и здесь не худо, – огрызнулся Михаил и взгляд исподлобья, как будто он, Лукашин, его первый враг.

Пришлось поднять все ту же незримую председательскую палку – ничего другого не оставалось:

– К обеду чтобы был там. Понял?

– И не подумаю.

– Тогда за тебя подумают.

– Кто? Может, в дальние края, на выселку?

Вопрос звучал вызовом. В соседних колхозах за невыработку минимума трудодней и нарушение колхозной дисциплины кое-кого ставили на место.

У Лукашина, однако, хватило выдержки. Он пощадил самолюбие парня, тем более что в это время к коровнику подъехал на полуторке Чугаретти, и ему вдруг пришла в голову одна мысль.

– Житов, Аркадий, – он с треском оторвал штаны, вставая (опять, черт подери, на смолистое бревно сел!), – вы остаетесь на новостройке. Вас не будем трогать. – И крикнул вылезавшему из кабины шоферу: – Заправься поскорей. В район поедем. Живо!

2

Подрезова в райкоме не было – с утра уехал в Саровский леспромхоз.

– Неважно у нас нынче с зеленым золотом, Иван Дмитриевич. Опять много недодали родине…

Помощник секретаря мог бы и не говорить об этом – кто не знает, что район уже третий год лихорадит с лесозаготовками. Но разве ему, Лукашину, от этого легче?

– Какой у вас вопрос, Иван Дмитриевич? Может, Милий Петрович поможет?

Лукашин посмотрел на дверь третьего секретаря райкома, тощую, обитую дешевенькой клеенкой, да и то полинялой, и невольно перевел взгляд налево, туда, где, затянутая в черный дерматин, пухлая, как стеганое одеяло, жарко сверкала медными шляпками дверь подрезовского кабинета. Но он все же решил зайти.

О Фокине, вернее о том, как тот стал секретарем райкома, ходили самые невероятные слухи – больно уж круто взмыл человек. Прямо из курсантов областной партшколы да в секретари!

Одни говорили, что Фокину просто повезло – на какой-то экзамен в партийную школу вдруг заявился сам хозяин области и будто бы ему так понравился ответ Фокина, что он сказал: "Нечего тут штаны протирать. В район".

По другим рассказам, Фокина подняли за его выступление на каком-то теоретическом совещании в области – всех покрыл, всех посадил в лужу, даже преподавателей, у которых учился.

Лично Лукашину более правдоподобной казалась третья история, та, которую он сам слышал от Митягина, заместителя председателя райисполкома.

По словам Митягина, все началось с болезни жены Фокина, у которой неожиданно открылся туберкулез легких. В городе оставаться нельзя – врачи категорически запретили. Что делать? Куда податься? И вдруг, на счастье Фокина, в область приезжает Подрезов. На какое-то совещание.

Фокин к нему в гостиницу: так и так, Евдоким Поликарпович, выручай крестника! А Фокин действительно у Подрезова в районе боевое крещение получил: одно время комсомолом командовал, потом начальником лесопункта был и особенно отличился на сплаве – по суткам мог вместе с мужиками не спать.

– Да, – говорит Подрезов, – крестника выручить надо. А какую бы ты работенку хотел? Ну-ко,

дорогие товарищи, подскажите.

Это Подрезов к секретарям райкомов обращается, которые в ту пору в номере у него сидели. А секретарям – что? Какое им дело до какого-то Фокина? Слава Богу, своих забот хватает.

– Ну, а язык как у тебя? Подвострил тут в школе? – спрашивает Подрезов.

– Да вроде бы ничего, – отвечает Фокин. – Кроме пятерок, других оценок покамест не имею.

– А мне не оценки твои нужны, а то, как ты с народом будешь разговаривать. Секретарь тебя устраивает?

Фокин, понятно, сразу скис – невелика должность быть партийным вожаком в каком-нибудь колхозе или лесопункте. Какие это масштабы для человека, который в партийной школе учился?

– Охота бы, – говорит, – Евдоким Поликарпович, поближе к районной больнице, поскольку у меня жена больна…

– Да уж куда ближе, – говорит Подрезов, – от райкома до районной больницы. Непонятно? Секретарем по пропаганде будешь.

Тут, конечно, все секретари за столом так и подскочили:

– Как, Евдоким Поликарпович, ты серьезно это? Да кто тебе позволит в области шуровать как у себя в районе?

– А это уж моя забота, – отвечает Подрезов. – Неделю на сборы хватит? Это опять Фокину. – Ну а насчет всяких бумажек и прочих формализмов не беспокойся. Я завтра же договорюсь с кем надо.

Вот так и стал Фокин третьим секретарем райкома, если верить, конечно, Митягину. А Лукашин верил: больно уж все это походило на Подрезова. Любил Подрезов показать себя, свою силу, особенно на людях. А кроме того, ему в то время действительно нужен был третий секретарь (прежнего забрали на повышение), и мог, мог он сам подыскивать для себя подходящего человека. Потому что с кем, с кем, а уж с ним-то, чуть ли не первым лесным тузом в области, наверху считались.

Лукашину за эти два с лишним года, что работает в райкоме Фокин, не раз приходилось слушать его выступления и на районных совещаниях и у себя в колхозе, и, в общем-то, ничего плохого о третьем секретаре он сказать не мог. Речист. Людей не боится – сам прет на них. И ловок, конечно, – знает, где можно прижать человека, а где надо приласкать. Но на этом его знакомство с Фокиным, пожалуй, и кончалось, ибо по всем сколько-нибудь серьезным делам председатели колхозов шли к Подрезову – он был всему голова в районе.

В то время, когда Лукашин переступил за порог кабинета, жаркого, душного, выходящего окнами на юг, Фокин разговаривал по телефону.

На мгновенье вскинул черные прямые брови – не ожидал такого гостя! – но тут же заулыбался, закивал на стул возле стола и даже подтолкнул свободной рукой пачку «Беломора»: кури. Это уже совсем по-подрезовски. Подрезов любил угощать своих подчиненных табачком, особенно в командировках – специально возил с собой курево, хотя сам и не курил.

Разговор у Фокина был с областью – Лукашин сразу это понял по той особой, можно сказать, государственной озабоченности на его молодом румяном лице и по тем особым словечкам, которые употребляют лишь в разговоре с высоким начальством: "Так, так… вас понял… будет сделано… не подведем…" Зато уж когда повесил трубку, дал себе волю: наверно, с минуту прочищал легкие шумно, как конь после тяжелой пробежки.

– Первый мылил, – с улыбкой сообщил Фокин. – Насчет первой заповеди… А как у тебя? Начал жать?

– Начал.

– И сенокос не забываешь?

– Кое-кого отправил на Синельгу.

Фокин кивнул за окно на солнце.

– Надо не кое-кого. Не прозевай. Бог для тебя специально не будет это колесо выкатывать. А как коровник? Покрыл?

До сих пор Лукашин отвечал и слушал как бы по обязанности: секретарь. Положено интересоваться. А тут вскинул голову: откуда Фокин такие подробности знает про ихний коровник? Вспомнил, как его, Лукашина, в прошлом году на бюро райкома песочили за то, что он сорвал обязательство, не закончил коровник к сроку?

– Ну-ну, по глазам вижу, – подмигнул Фокин своим черным хитроватым глазом. – Приехал насчет техники клянчить, так?

Лукашин только плечами пожал: Фокин ну просто читал его мысли! Именно за этим, насчет жатки, тащился он в район, ибо, раздобудь он эту самую жатку, меньше людей потребуется на поля, а раз меньше – значит, можно не прерывать работы на коровнике…

– Смотри, смотри, товарищ Лукашин, – сказал Фокин и кивнул на дверь, в сторону кабинета Подрезова, – с огнем играешь. До самого дойдет, какие ты художества в период уборочной вытворяешь, не поздоровится. В деле Евдоким Поликарпович отца родного не пощадит. – Это уже намек на его, Лукашина, близость с первым секретарем.

Солнце било Фокину в глаза, жарило черноволосую голову, синий китель застегнут на все пуговицы, да еще от раскаленного стекла на столе поддавало, а он только зубы скалил от удовольствия – белые, крепкие, какие не то что на севере, а и на юге не часто встретишь.

– Мне бы жатку, Милий Петрович, раздобыть, – вдруг заговорил напрямик Лукашин. – Вот бы что меня выручило.

Фокин ухмыльнулся:

– У тебя губа не дура, товарищ Лукашин. Только где же сейчас жатку возьмешь?

– Я думал, что, поскольку у меня строительство, райком пойдет навстречу…

– Ты думал!.. Сколько этой весной нам жаток завезли, знаешь? Пять. Из них четыре мы дали самым отстающим, а одну нашему показательному.

– Вот показательному-то можно было не давать. И так все добро туда валят.

– Ну, это ты с Евдокимом Поликарповичем толкуй, ежели такой смелый… Опять намек на его близость с Подрезовым.

Фокин прошелся по кабинету, тяжело, по-подрезозски ставя ногу в ярко начищенном хромовом сапоге, затем решительно взял телефонную трубку:

– Барышня, дай-ко мне "Красный партизан". Да побыстрее… Товарищ Худяков? Здравствуй. Вот не думал, что ты в правлении загораешь. – Фокин по-свойски подмигнул Лукашину. – Почему не думал-то? Да погодка-то, видишь, не конторская вроде. Косой надо махать… Чего-чего? Все давно смахал? Верно, верно, я и забыл. Слушай-ко, Аверьян Павлович, пожурить тебя хочу… За что? – Фокин опять подмигнул Лукашину. – А за то, что ты соседа своего обижаешь… Какого? Соседа-то какого? А того, у которого великая стройка… Да, да, у болота, захохотал Фокин. – Ладно, ладно, не прибедняйся. Жатку ему надо. Да, да… Нету? Брось, брось – нету… Откуда? А оттуда, что у тебя все косилки на полях. Правильно? А у него сенокос, сенокос в разгаре… Понял? Понял, говорю?

Фокин еще несколько минут, то весело похохатывая, то наседая на Худякова, разговаривал по телефону, а когда кончил, сказал:

– Поезжай. У твоего соседушки всякой всячины толсто. Да присмотрись хорошенько. Худяков – замок с секретами…

Лукашин крепко, с чувством пожал протянутую короткопалую руку в черном волосе. Все-таки это была помощь.

– Да, – окликнул его Фокин, когда он был уже у дверей, – с осени тебе дадим комиссара…

– Парторга?

– Да. Негоже приход без попа. Есть решение райкома: у вас теперь будет освобожденный парторг.

– А кто он?

– Парторг-то? А вот это покамест секретец. – У Фокина во все полное румяное лицо просияли белые, молочные зубы. – А в общем, пройдись по райкому он тутошний…

3

Чугаретти просто взвыл от радости, когда узнал, что они едут к Худякову:

– Вот это путёвочка!

Затем, когда сели в кабину, пояснил:

– У меня там шуряга проживает, значит. Давно в гости зовет. А второе, конечно, Худяков…

– Тоже родня? – спросил Лукашин.

– Почему родня? Никакая на родия. Разве что на одном солнышке портянки сушили. А поглядеть на Худякова кто же откажется? Ведь этого Худякова, я так понимаю, и человека на свете хитрее нету.

– А чем же он так хитер?

– Чем? – Чугаретти страшно удивился. Он даже на какое-то мгновенье баранку выпустил из рук, так что машина круто вильнула в сторону и впритык прошла рядом с жердяной изгородью на выезде из райцентра. – Ну, Иван Дмитриевич... Чем Худяков хитер? А цыгана кто облапошил? Не Худяков? Не слыхали? Ну, после войны дело было. Цыган, вишь, вздумал поживиться за счет "Красного партизана". "Давай, говорит, лошадями меняться, хозяин". А Худяков – чего же? «Давай». Ну, сменялись. Цыган пять верст от деревни отъехал – подохла кобыла, а у Худякова коняга тот и сейчас жив. Во как! Да чего там, – Чугаретти коротко махнул рукой, – у него даже сусеки в амбарах не как у всех. С двойным дном.

– Какие, какие? – живо переспросил Лукашин.

– С двойным дном, говорю.

– Это зачем же?

– А уж не знаю зачем. Затем, наверно, чтобы на зуб себе завсегда было. Их доят, доят, а они все с хлебом...

Лукашин захохотал: нет, неисправим все-таки этот Чугаретти. Начнет вроде бы здраво, а кончит обязательно брехней и выдумкой. А жаль. Хотелось бы ему поговорить об Аверьяне Худякове. Сосед. Да и мужик больно занятный. По сводкам – сдача мяса, молока, хлеба – всегда впереди, а не любит языком трепать. На районных совещаниях его не увидишь на трибуне, только разве вытащат когда, пробубнит несколько слов, а так все помалкивает и сидит не на виду, а где-нибудь в сторонке, сзади.

Лукашин давно уже хотел познакомиться с этим человеком поближе. Да, оказывается, не так-то просто это сделать, хоть он и твой сосед. Летом с ходу к нему не попадешь – за рекой живет, – а на председательских «собраниях», которые иногда бывают в районе после совещаний, его тоже не увидишь: то ли потому, что расходов лишних избегает, то ли оттого, что не пьет.

– Так, говоришь, сусеки у Худякова с двойным дном? – развеселился вдруг Лукашин.

Чугаретти – коровьи глаза навыкате, ноздри в гривенник – яростно накручивал баранку.

Машина подпрыгивала как шальная, ветер завывал в кабине, но Лукашин ничего не говорил – пускай порезвится, дурь свою повытрясет: они теперь лугом ехали.

Благоразумие к Чугаретти вернулось за мостом – с грохотом пролетели. Он задвигал дегтярной кожей на лбу, захлопал глазами, а потом начал виновато поглядывать на своего хозяина.

– В следующий раз за такие фокусы выгоню, – предупредил Лукашин.

– А чего и не верите. – Чугаретти по-ребячьи, с обидой ширнул носом. – Я, что ли, выдумал про эти сусеки? Поди-ко послушай, что говорят про этого Худякова.

– Кто говорит?

– Народ. У них ведь, в "Красном партизане", что было до Худякова? А такой же бардак, как у всех протчих. А Худяков пришел – ша! Дисциплинка – раз и два – на лапу. "Я, говорит, научу вас землю рыть носом, но что полагается – дам, голодом у меня сидеть не будете..." Во как сказал Худяков на собранье, когда его в головки ставили.

– Ну и дал? – спросил Лукашин.

– А то! Худяков да не дал. Его, бывало, твердым заданием обложили смолокурня у отца была: врете, поклонитесь еще Аверьяну Худякову! Ну и поклонились. На лесозаготовки загнали в Вырвей, в самую глухоту, а он и оттуда на свет вырубился. Первым стахановцем стал – во как! Правда, – сказал Чугаретти, подумав, – народишко в Шайволе не как у всех протчих. Дружный. Горой друг за друга. И вообще у Худякова такой порядочек: что народ решит, так тому и быть. Про Манечку-то небось слыхали? Ну, как он с дочерью родной разговаривал… Нет? Да это ж у нас ребенка малого спроси – знает!

Чугаретти опять начал горячиться. Это не по нему – рассказывать вполголоса. Он уж так: ежели возносить человека, то возносить до небес.

– Ну и ну! – воскликнул Чугаретти и помотал головой. – Да вы, я вижу, про Худякова ни бум-бум. Ну а насчет того, как в город веники возил продавать… Чтобы пятаками разжиться?

У Лукашина вдруг что-то вроде ревнивой зависти шевельнулось в груди, и он сказал:

– Ты давай сперва про эту самую… Манечку…

– А-а, это насчет дочери-то. Ну, так, значит, было. Приходит Манечка, младшая дочь, к отцу: "Папа, дай справку. Я учиться поеду". – "А ты разве не знаешь, дочи, какой у нас порядок?" Это отец, Худяков, значит, спрашивает. А порядок у них такой: никого из колхозу. До семилетки учись, не препятствуем, а дальше – стоп. Работай. Вот такой порядочек. Сам Худяков завел. Ну а девка у Худякова отличница круглая да и не робкого, видать, десятка – заявление. Прямо на общее собрание адресовалась: так и так, хочу учиться. Отпустите.

Тут Чугаретти сделал небольшую передышку – специально, конечно, для того, чтобы дать Лукашину все как следует прочувствовать.

– Ладно. Собралось в назначенный час собранье. Вопросы: итоги на посевной, а также протчее в разном. Ладно. Дал Худяков картину по первому вопросу, все как полагается. "А сейчас, говорит, дело такое, что мне, говорит, лучше в сторону. Одним словом, семейный вопрос, передаю собранье своему заместителю". Ну, выслушали заявление. Сколько-то, может, помялись, потужились, а решенье вынесли единогласно: разрешить ученье Марии Аверьяновне Худяковой, как отлично окончила школу. Первое, конечно, то, что дочь председателя надо же уважить человека, раз столько для колхоза сделал, а второе – пятерки Манечкины. Кому охота талант живьем зарывать. Не звери же – люди сидят… И вот тут-то в это самое время поднимается Худяков. – Чугаретти аж всхлипнул – до того расчувствовался. – "Никакой учебы для Худяковой. Как отец – за, а как председатель – нет". То есть вето. Как в Объединенной Нации. Однем словом, запрягайся, Манечка, в колхозные сани. Все у нас одинаковы…

За открытым окном кабины косматился иссиня-зеленый рослый ельник, белые березки вспыхивали на солнце. Потом Лукашин увидел ягодниц – двух беленьких девчушек с берестяными коробками – и сразу понял, что они подъезжают к Шайволе.

– Ну и чем кончилась эта история? – Так и не отпустил Худяков дочку?

Чугаретти удивленно вытаращил глаза: какое, мол, это имеет значение?

Лукашин не настаивал. Ведь то, что рассказывал Чугаретти про Худякова, скорей похоже на легенду, чем на житейскую историю, а легенде разве до подробностей и до мелочей всяких?

4

Пинега под Шайволой не уже и не мельче, чем под Пекашином, но перевоза нет, и Чугаретти увидел в этом еще одно подтверждение мудрости Худякова.

– Вот так, сказал он многозначительно. – Мало того, что он рекой от начальства отгородился, дак еще и всю связь ликвидировал.

Однако связь была. Не успели они спуститься с крутого увала к воде, как с той стороны, из-за острова, выскочила длинная узконосая осиновка с белоголовым подростком, который, как выяснилось, уже с полчаса поджидал Лукашина.

– К правленью-то дорогу без меня найдете? – спросил парень, когда они переехали за реку. – А то бы мне за травой надо съездить.

– Мотай, сказал Чугаретти и вдруг страшно обиделся: – Да ты что, понимаешь, Чугаретти не знаешь? Чей будешь?

– Ивана Канашева.

– Чувак! А за дорогой от вас кто проживает? Кого ты видишь каждое утро из своего окошка в белых подштанниках?

Парень захохотал:

– Олексея Туголукова.

– Олексея Туголукова… – передразнил Чугаретти. – Шуряга мой. Где он сейчас? На Богатке?

– Не, дома кабыть. Ногу порубал – к фершалице ходит.

Чугаретти пришел в восторг:

– Вот это да! Везуха! С моим шурягой можно кашу сварить.

Шайвола раскинулась на пологой зеленой горушке, примерно в полуверсте от реки, и Лукашину с Чугаретти пришлось сперва идти лугом, на котором уже стояли зароды, а затем полями.

Луг был небольшой, гектаров восемь от силы, и Лукашин спросил у Чугаретти, есть ли еще домашние покосы у шайволян, то есть покосы возле деревни.

– Нету. Всё тут. О, кабы у них были такие сена, к примеру, как у нас, Худяков раздул бы кадило. А то у них за пятьдесят верст ехать надо, да и то какие это сена – кот наплакал. Ну, Худяков нашел выход. Раньше у них сено гужом добывали да зимой – чистый разор. Просто съедали лошади колхоз. А Худяков пришел: "Не будем возить сено к скоту. Скот погоним к сену". Мой-от шуряга круглый год живет на Богатке, телят кормит. Там у них дело поставлено…

За лугом, при выходе с поля, Чугаретти свернул налево – шурин его жил в нижнем конце деревни, – и Лукашин вздохнул с облегчением. Он любил ездить с Чугаретти – не соскучишься, но сколько же можно – Худяков, Худяков…

День был теплый, безветренный, душно и сытно пахло нагретой на солнце рожью, через

которую шла дорога.

Рожь была неплохая, но и не лучше, чем у них в Пекашине. Капустник под самой горушкой тоже не удивил Лукашина – кочаны как кочаны, – а вот деревня его поразила.

Ни одного заколоченного дома (по крайней мере в середке, которой он проходил), а главное, и жилые-то дома выглядят как-то иначе, чем в других деревнях. У них, к примеру, в Пекашине какие дома уделаны? Те, где живет мужик. А на вдовьи хоромы, а их большинство, и смотреть страшно: как Мамай проехал.

Тут же вдовья нищета и обездоленность не бросались в глаза, и Лукашин, хоть и не без некоторой ревнивости, должен был признать, что это дело рук председателя. Его, Худякова, заслуга.

Присмотрелся Лукашин и к конюшне, которая встретилась на пути. Сперва показалось диким – грязь и базар посреди деревни, чуть ли не под самыми окнами правленья (спокон веку хозяйственные постройки в колхозах на задворках), а потом подумал и решил: здорово!

Лошадь зимой, когда все тягло на лесозаготовки забирают, на части рвут, нигде не бывает столько ругани и скандалов, как на конюшне, А тут, когда председатель под боком, много не поскандалишь, не покричишь. Да и конюх всегда на прицеле – поопасется самоуправничать. Худяков встретил его у колхозной конторы.

– Долгонько, долгонько, товарищ Лукашин, попадаешь, я уж, грешным делом, едва не маханул в поле. – Худяков указал рукой куда-то на задворки, очевидно, там были тоже поля. – Как насчет чаишка? Не возражаешь? Солнце-то, вишь, где на обед сворачивает.

Лукашин не стал возражать – он теперь, как истый северянин, не меньше трех раз на дню пил чай, – и Худяков повел его домой.

Ничего особенного Лукашин как раньше не находил в Худякове, так не нашел и сейчас. Мужик как мужик.

Правда, сколочен крепко и надолго. Ему уж было за пятьдесят, а в чем возраст? В глазах? В походке? Ногу в кирзовом сапоге ставит неторопко, твердо – хозяин идет. Да и вообще по всему чувствовалось – корневой человек. Вагами выворачивать – не вывернуть… Глубоко, как сосна, в земле сидит.

Лукашин все время думал, кого же напоминает ему Худяков, и, только когда тот стал расспрашивать его о райкоме, решил – Подрезова. Вот у кого еще самочувствие и хватка хозяина.

Раскаленный самовар стоял уже на столе, когда они вошли в избу.

Лукашин поздоровался со старухой, сидевшей за зыбкой, и посмотрел на хозяина. Тот отвел глаза в сторону, и Лукашин понял: его ребенок, а не дочери или сына, который был в армии.

М-да, с новым удивлением посмотрел Лукашин на хозяина, у него везде жизнь на полном ходу…

Закуска к водке (Худяков выставил непочатую бутылку) оказалась самой обычной, по сезону: молодые соленые грибы и лук – свежие головки с пером, только что выдернутые из грядки, – зато житник, пестрый, мягкий, хорошо пропеченный, был на славу.

Лукашин, с аппетитом уминая его за обе щеки, подмигнул:

– Поучил бы, Аверьян Павлович, как такой хлеб делать.

– А это уж к хозяйке надо адресоваться. Она у меня мастерица.

– Да хозяйка и у меня не без рук, сказал Лукашин. – С хозяином загвоздка.

– У нас на Севере, товарищ Лукашин, всему голова – навоз. Наши пески да подзолы без навоза не родят… И я первым делом, когда встал на колхоз, взялся за навоз…

– Ну, у меня навоз тоже не валяется. Но живем вприглядку. Хлеб видим, покуда он на корню…

– Везде порядки одинаковы, – уклончиво ответил Худяков и посмотрел на старинные ходики, висевшие на печном стояке, за зыбкой, потом для полной ясности взглянул за окошко, в поле.

Лукашин нисколько не обиделся: к делу так к делу – он и сам был не очень-то рад, что в такой день сидит за рюмкой. И потому начал прямо, без всяких подходов: выручай, мол, Аверьян Павлович, соседа. У тебя сенокос закончен, вся техника брошена на поля – чего тебе стоит дать одну жатку хоть на недельку?

Худяков махнул рукой:

– Ну, это пустое дело. Давай об чем-нибудь об другом.

– Да почему пустое? – загорячился Лукашин.

– А потому. Коня отдай соседу, а сам пешком – так, что ли? Да меня за такие дела колхозники со свету сживут. Скажут: из ума выжил старый дурак…

Лукашин попробовал припугнуть райкомом – разве не звонил ему только что Фокин? Получилось еще хуже: Худяков посмотрел на него с откровенной усмешкой: неужели, мол, ты это всерьез?

– Не по-соседски, не по-соседски, Аверьян Павлович, – заговорил другим голосом Лукашин. – Вон я недавно кино видел – "Кубанские казаки" называется. Так там, понимаешь, дружба у председателей – не разлей водой.

Худяков рассмеялся:

– А председатели-то кто там – забыл? Мужик да баба…

Шутка, видно, размягчила немного прижимистого хозяина. Он стал заметно разговорчивее и даже раза два выразился в том смысле, что помогать надо, без подмоги не прожить, а после того как Лукашин сказал, что он не задаром просит жатку, заплатит что положено, Худяков и вовсе запоглядывал весело.

– Ну, а что бы ты, к примеру, мне отвалил, а? – спросил он. – Я ведь такой купец: деньгами не беру.

– А чем же берешь? Натурой?

Худяков кивнул.

– Ну, насчет натуры извини. Сами вприглядку живем.

– Есть у тебя натура, – сказал Худяков. – Та, которая на лугах да на пожнях растет.

– Сено? – удивился Лукашин. – Нет, Аверьян Павлович, плохо ты районку читаешь. У меня сенокос, знаешь, на сколько выполнен? На шестьдесят пять процентов.

– Знаю. Да я не сено у тебя прошу. Ты мне покосишко какой уступи. К примеру, озадки на Марьюше. У вас они все равно под снег уйдут.

В общем-то, это верно – невпроворот у пекашинцев всяких сенокосов, в то время как Шайвола испокон веку обделена ими. Но легко сказать – уступи. А что скажет райком? Разбазаривание колхозных земель – так это называется?

– Ты бывал на войне? – спросил Худяков, глядя прямо в глаза. – Забыл, что там без риска не только дня, а и часу одного не проживешь?

– То на войне.

– Ну, как хочешь. – Худяков опять посмотрел на ходики. – А я тебе вот что скажу: чистеньким на нашем месте – не выйдет. А что касаемо этих самых покосов, то я их каждый год покупаю у соседей. И в районе, кому положено, знают это…

В конце концов Лукашин принял условия Худякова – другого выхода у него не было.

– Жатка у меня на той стороне, на вашей, сказал Худяков, – хоть сегодня забирай. Только без шуму. Не к чему на весь район звонить.

Глава шестая

1

Августовский день был на исходе. Над главной улицей райцентра из конца в конец стояло красное облако пыли, поднятое возвращающимися из поскотины коровами, овцами и главной скотинкой районного люда – козами.

Лукашину с Чугаретти пришлось остановиться возле школы.

– У нас мужики тоже подумывают об этих бородатых коровках, – заговорил Чугаретти. – Петр Житов подсчитал это дело: кругом выгода. Корму в обрез раз, и два – никаких налогов…

Лукашин вылез из кабины.

– Жди меня у Ступиных.

Это дом, где он обычно останавливался.

Чугаретти закивал головой – даже он понимал, что к райкому лучше не подъезжать на машине. Да и чего тут мудреного! Страда, председатели вкалывают на поле да пожне за первого мужика, а тут на-ко, второй раз на дню в райком. Уборщица увидит, и та руками разведет.

Гулко запели деревянные мостки под ногами, потянулись знакомые дома, конторы, потом впереди на повороте замаячил райком – пожар в окнах от вечернего солнца, а Лукашин все еще не решил, говорить ли ему с Фокиным о том, что рассказал Чугаретти, на тот случай,

конечно, если нет в райкоме Подрезова.

Чугаретти – дьявол его задери! – довел Лукашина до белого каления. Ему было строго-настрого сказано: не напивайся у шурина, не забывай, что тебе за рулем сидеть, – а он явился к реке – еле на ногах держится. Ну и что было делать? Лукашин загнал его в воду и до тех пор полоскал, пока тот не посинел от холода, пока зубами не застучал.

За реку ехали молча – Чугаретти дулся и чуть не плакал от обиды. Но разве он может долго молчать?

Только сели в машину – заскулил, как малый ребенок:

– Вот и служи вам после этого. Я, понимаешь, все секреты про Худякова вызнал, а вы меня как последнюю падлу…

– Ладно, сказал Лукашин, можешь оставить свои секреты при себе, а я тебя последний раз предупреждаю, Чугаев. Понял?

Чугаретти не унимался. Он опять стал пенять и выговаривать, а потом вдруг бухнул такое, что у Лукашина буквально глаза на лоб полезли: у Худякова на бывшем выселке по названию Богатка, где работает его шурин, не только телят откармливают, но и сеют тайные хлеба…

– Какие, какие хлеба? – переспросил Лукашин.

– Потайные. Которые налогом не облагают…

– Как не облагают?

– А как их обложишь? Какой уполномоченный пойдет на ту Богатку – за восемьдесят верст, к черту на рога? Нет, – сказал убежденно Чугаретти, – люди зря не будут говорить про сусеки с двойным дном…

Лукашин, никогда до этого не принимавший всерьез россказни своего шофера, тут поверил сразу. Каждому слову.

"М-да, – думал он, – вот так Худяков!.. А я-то еще час назад ломал голову, как он умудряется концы с концами сводить. А оказывается вон что – потайные хлеба…"

Лукашин высунул голову из кабины. Они сворачивали к шайвольской мызе, где по записке Худякова он должен был получить у бригадира жатку.

– Поворачивай обратно! – вдруг распорядился он. – В район поедем.

Чугаретти всполошился:

– Только, чур, Иван Дмитриевич, меня не выдавать. Хо-хо?

– Хо-хо, хо-хо, сказал Лукашин.

Вот так он и оказался второй раз на дню в райкоме.

Сперва, когда он услыхал про тайные хлеба, он так вскипел, что на все махнул – и на жатку, и на коровник, и на дом (только бы на чистую воду вывести этого ловкача Худякова!), а сейчас, подходя к райкому, он уже не ощущал в себе первоначального мстительного запала. И даже

больше того: глядя на чистое, в вечернем закате небо, он жалел о потерянном дне.

2

Подрезов был у себя, к нему была очередь: зампредрика, редактор районной газеты, директор средней школы – все народ крупный, не обойдешь, и Лукашин, чтобы не терять понапрасну времени, побежал цыганить, то есть клянчить по учреждениям и магазинам всякие строительные материалы – гвозди, олифу, стекло, замазку – и, конечно же, курево.

С куревом с этим была беда, в сельпо не купишь – только на яйца да на шерсть, и вот приходится председателю добывать не только для себя, но и для мужиков – иначе и на работу не дождешься. Теперь, правда, после выгрузки у пекашинцев было что дымить, но раз уж оказался в райцентре, надо побегать: кое-какой НЗ завести разве плохо?

В последнее время Лукашина частенько выручал председатель райпотребсоюза, с которым он познакомился близко на сплаве, но сегодня ничего не вышло – все служащие райпотребсоюза, в том числе председатель, были на уборочной в показательном колхозе.

Лукашин думал-думал, ломал-ломал голову и вдруг кинулся за дорогу, в орс леспромхоза. Не важно, что не Сотюжский леспромхоз система та же. И ему по всем статьям обязаны выплачивать калым. Во-первых, за землю – разве не на пекашинской земле стоит орсовский склад? А во-вторых, кто разгружает орсовские баржи?

И вот выгорело. Сорок пачек махры отвалил начальник орса да потом еще по собственной доброй воле накинул десять пачек «Звездочки». Это уж исключительно для него, Лукашина, чтобы он, как добавил, смеясь, начальник, не слишком притеснял Ефимко-торгаша.

В общем, через каких-нибудь полчаса Лукашин притащил к Ступиным, где его поджидал с машиной Чугаретти, целую охапку разного курева. А кроме того, в кармане у него лежала еще накладная на десять килограммов гвоздей – тоже из начальника орса выбил.

Гвозди нужны были позарез – вот-вот начнут крыть коровник, и потому Лукашин тотчас же послал Чугаретти на базу к реке – авось еще застанет там кладовщика.

– Я, кажется, задержусь немного, сказал на прощанье Лукашин. – А ты на всех парах домой да по дороге, ежели не совсем темень будет, прихвати жатку. А то утром за ней скатайся, пока то да се…

Окрыленный удачей, Лукашин от Ступиных направился в милицию, вернее к Григорию. Рубить ихний узел.

Григорий замучил их до смерти. На развод с Анфисой не соглашается – хоть ты башку ему руби. Это милиционер-то, страж законности! Затем – сколько еще разводить канитель вокруг дома? Ни тебе, ни мне. Ни я вам свою половину не продам, ни вашу не куплю. Живите в полузаколоченном доме! Давитесь от тесени в одной избе.

Как все-таки это хорошо, что на свете есть показательные колхозы! Всю жизнь клял их за иждивенчество, за то, что на чужом горбу едут, а сейчас, когда ему в милиции сказали, что Григорий с Варварой и двумя милиционерами на уборочной в показательном колхозе, он чуть не подпрыгнул от радости. Надо, вот как надо покончить с этим делом, но если можно отложить хотя бы на недельку разговор с Григорием, то он за то, чтобы отложить.

В приемной Подрезова, куда впопыхах примчался Лукашин – он все боялся опоздать, – по-

прежнему томились редактор районки и директор средней школы.

– Евдоким Поликарпович знает, что вы здесь, – тихо и вежливо сказал помощник.

Лукашин поблагодарил и подсел к редактору – у того в руках был «Крокодил».

Редактор знал его – раза два был в Пекашине по поводу строительства коровника и даже чай пил у него, – но тут, в райкоме, на виду у портретов, которые взирали на них с двух стен, счел невозможным такое занятие, как совместное разглядывание веселых картинок в журнале, и, отложив его в сторону, стал расспрашивать, как поставлена в колхозе политико-воспитательная работа в связи с развертыванием уборочных работ на полях.

Лукашин отвечал в том же духе, в каком спрашивал редактор: политико-воспитательная работа поставлена во главу угла… политико-воспитательной работе уделяется большое внимание… политико-воспитательная работа – основа основ успеха, – а потом вдруг встал: вспомнил давешний разговор с Фокиным про парторга.

Интересно, интересно… Кого Фокин решил дать ему в комиссары?

Лукашин прямо прошел в инструкторскую – не пошлют же в колхоз кого-нибудь из завотделами!

Тут было людно, в инструкторской: целая бригада сидела молодых, здоровых мужиков, каких сейчас – по всей Пинеге проехать – ни в одном колхозе не найти. Одеты все одинаково – полувоенный китель из чертовой кожи и такие же галифе. Крепкая материя. Один раз схлопотал – и лет десять никаких забот.

Лукашин поздоровался, вытащил начатую пачку «Звездочки» – мигом ополовинили. Тоже и они, низовые работники райкома, до сих пор ударяют по «стрелковой».

Лукашин курил, перекидывался шутками – тут никто из себя номенклатуру не корчил, – присматривался потихоньку, но так и не решил, кого из этих молодцов прочит ему в комиссары Фокин. Народ все был малознакомый, новый, подобранный Фокиным: тот как-то на районном активе заявил, что все парторги на местах должны пройти выучку в райкоме.

– А где у вас Ганичев? – спросил Лукашин. – В командировке?

– Нет, собирается еще только.

Лукашин пошагал в парткабинет: где же еще искать Ганичева, раз на носу у него командировка?

Ганичев на этот счет придерживался железного правила: прежде чем заряжать других, зарядись сам.

"А как же иначе? – делился он своим опытом с Лукашиным, когда тот еще работал в райкоме. – Не подработаешь над собой – всю кампанию можно коту под хвост. Так-то я приехал однажды в колхоз. Бабы плачут, председатель плачет тоже баба. У меня и получилось раскисание да благодушие… А ежели, бывало, подработаешь над собой, подзаправишься идейно как следует, все нипочем. Плачь не плачь, реви не реви, а Ганичев свою линию ведет".

Память у Ганичева была редкая. Он назубок знал все партийные съезды, все постановления ЦК, он мог свободно перечислить всех сталинских лауреатов в литературе, сказать, сколько у

кого золотых медалей, и, само собой, чуть ли не наизусть выдавал "Краткий курс". С ним он не расставался, всегда носил в полувоенной кожемитовой сумке на боку, и, смотришь, чуть какая минутка выдалась – присел в сторонку и началась работа над собой.

Сейчас Ганичев один сидел в парткабинете, склонившись над столом с керосиновой лампой под зеленым абажуром, а что делал, не надо спрашивать: штурмовал труды товарища Сталина по языку.

Все теперь были заняты изучением этих трудов. Они появились в «Правде» как раз в сенокос – Лукашин в то время был на Верхней Синельге. И вот вызвали на районное совещание.

Сорок семь верст он проехал верхом почти без передышки, сменил двух коней, в районный клуб вошел, хватаясь руками за стены, – до того отхлопал зад.

Зал был забит до отказа, некуда сесть, И он уцепился обеими руками за спинку задней скамейки, на которой сидели такие же, как он, запоздавшие работяги, да так и стоял, пока Фокин кончил свой доклад.

А Фокин хоть по бумажке читал, но читал зажигающе:

– Товарищи! Труды товарища Сталина... мощным светом озаряют наш путь... идейно вооружают весь наш советский народ...

Последние слова докладчика Лукашин расслышал с трудом – они потонули в шквале аплодисментов, – да ему теперь было и не до них. Хотелось поскорее в парткабинет, хотелось самому своими глазами почитать.

Прочитал. Посмотрел в окно – там шел дождь, посмотрел на портрет Сталина в мундире генералиссимуса и начал читать снова: раз это программа партии и народа на ближайшие годы, то должен же он хоть что-то понять в этой программе.

Несколько успокоился Лукашин лишь после того, как поговорил с Подрезовым.

Подрезов словами не играл. И на его вопрос, какие же выводы из трудов товарища Сталина по языку нужно сделать практикам, скажем, им, председателям колхозов, ответил прямо: «Вкалывать». И добавил самокритично, нисколько не щадя себя: "Ну, а насчет всех этих премудростей с языком я и сам не очень разбираюсь. К Фокину иди".

К Фокину, третьему секретарю райкома, Лукашин, однако, не пошел – страда на дворе, да и самолюбие удерживало, – а вот сейчас, когда он увидел за сталинскими работами Ганичева, решил поговорить: Ганичев – свой человек.

– Ну что, Гаврило, грызем? – сказал он.

Ганичев поднял высоко на лоб железные очки, блаженно заморгал натруженными голубенькими, как полинялый ситчик, глазами:

– Да, задал задачку Иосиф Виссарионович. Я по-первости, когда в «Правде» все эти академики в кавычках стали печататься, трухнул маленько. Думаю, все, капут мне – уходить надо. Ни черта не понимаю. А вот когда Иосиф Виссарионович выступил, все ясно стало! Нечего и понимать этих так называемых академиков. Оказывается, вся эта писанина ихняя – лженаука, сплошное затемнение мозгов...

– А как же допустили до этого, чтобы они затемняли мозги?

– Как? А вот так. Сволочи всякой у нас много развелось, везде палки в колеса суют…

Лукашин вспомнил, как мужики на выгрузке толковали про сталинские труды.

– Слушай, Гаврило, а у нас поговаривают: вроде как диверсия это. Вредительство…

– А чего же больше? Ожесточение классовой борьбы. Товарищ Сталин на этот счет ясно высказался: чем больше наши успехи, тем больше ожесточается классовый враг. Смотри, что у нас делается. Даже в естествознании вылазку сделали, против самого Лысенко пошли…

Тут зазвонил телефон – Лукашина вызывали к Подрезову, – и разговор у них оборвался.

Ганичев сразу же, не теряя ни минуты, опустил со лба на глаза свои железные очки, и больше для него никого и ничего не существовало – он весь, как глухарь на току, ушел в свою зубрежку. И Лукашин с каким-то изумлением и даже испугом посмотрел на него.

Все в том же неизменном кителе из чертовой кожи, как четыре и восемь лет назад, когда Лукашин впервые увидел его, и дома у него худосочные, полуголодные ребятишки – все шестеро в железных очках, и сам он тоже в прошлом не от хорошей жизни маялся куриной слепотой. Но какой дух! Какая упрямая пружина заведена в нем!

Эта самая куриная слепота на Ганичева обрушилась летом в пяти километрах от Пекашина, на Марьиных лугах. И он всю ночь пробродил по росяным лугам, пока, мокрый, начисто выбившись из сил, не натолкнулся на колхозный стан. Но что сделал Ганичев после того, как взошло солнце и он снова прозрел глазами? Приказал скорей отвезти его в районную больницу? Нет, пошагал дальше, в дальний колхоз, где создалось критическое положение с сенокосом.

Над Ганичевым смеялись и потешались кому не лень, и сам Лукашин тоже не помнит случая, чтобы он расстался с ним без улыбки. А сейчас, в эту минуту, когда он смотрел на Ганичева, занятого самонакачкой, как шутили в райкоме, он не улыбался. Сейчас непонятная тоска, щемящее беспокойство поднялось в нем.

3

Подрезов стоял у бокового итальянского окна, как бык, упершись своим крепким широким лбом в переплет рамы, – верный признак того, что не в духе. А почему не в духе – гадать не приходилось.

С заготовкой кормов в районе плохо, строительство скотных помещений сорвано, план летних лесозаготовок завален. По всем основным показателям прорыв! А раз прорыв – значит, тебя лопатят на всех областных совещаниях и даже в печати расчесывают твои кудри. Каково? Это при его-то гордости да самолюбии!

Правда, в самом главном – в лесном деле – у Подрезова было оправдание: район переживал период реорганизации – от лошади переходили к трактору, от «лучка» к электрической пиле, словом, внедряли механизацию по всему фронту работ.

Но реорганизация реорганизацией – об этом можно иногда напомнить первому секретарю обкома, да и то когда он в хорошем настроении, – а срыв государственного плана есть срыв. И когда? В какое время? Два года подряд…

– Что скажешь?

То есть какого дьявола разъезжаешь по району, когда дорог каждый час? Вот как надо было понимать вопрос Подрезова.

– Насчет жатки хлопочу.

– А Худяков что? Не дал? – Подрезов уже знал про поездку Лукашина в Шайволу.

– Худяков вроде дает, да только за калым.

– Ну насчет калыма говорить не будем. Здесь райком, а не базар, – отрезал Подрезов. Это означало: договаривайтесь сами, а меня не вмешивать.

Ладно, подумал Лукашин, и на том спасибо.

– Сенокос гонишь? – Подрезов уже отошел от окна и, твердо ставя массивную ногу в запыленном, туго натянутом на мясистых икрах сапоге, зашагал по кабинету, красному от вечерней зари.

Лукашин доложил коротко, как обстоят у него дела, и вдруг ужасно разозлился. И на себя, и на Подрезова.

Его не первый раз вот так принимает Подрезов, и благо бы на народе – тогда чего обижаться. Секретарь. Надо вожжи в руках держать. А то ведь он и наедине удилами рот рвет.

И вообще, что у них за отношения? Приятелями их не назовешь – Подрезов всегда стену ставит, – но и делать вид, что он, Лукашин, для Подрезова только председатель колхоза, тоже нельзя. Не каждому председателю позвонит первый секретарь: "Ну, как живешь-то? Заглянул бы, что ли..."

Лукашин заглядывал, они целую ночь пропадали на рыбалке, ели из одного котелка – казалось бы, свои в доску.

Черта лысого!

Через неделю, через две, когда Лукашин приезжал в райком на очередное совещание. Подрезов едва узнавал его, а уж колхоз пекашинский разделывал под орех...

Однажды после такого разделывания Лукашин месяца три не заходил к Подрезову в кабинет. И не только не заходил, но и всячески избегал прямых встреч с ним вплоть до того, что, завидев на улице хозяина района, демонстративно сворачивал на другую сторону.

Подрезов первый пошел на примирение. Да как!

Раз вышел из райкома со своей свитой – кто там такой храбрый шагает по мосткам на той стороне и не здоровается?

– Лукашин, ты?

– Я.

– А чего не подходишь?

– А чтобы не подумали, что подхалимничаю.

– Хорошо, сказал Подрезов. – Раз ты не подходишь, я подойду.

И что же? Пошлепал через грязную дорогу на виду у всей свиты – здороваться с председателем колхоза…

– Ну, как Худяков? Видел хозяйство? – спросил Подрезов.

Лукашин молчал, хотя об этом-то он и собирался говорить. Не сплетничать, не доносить – это попервости только ему хотелось как следует причесать своего соседа, – а разобраться прежде всего самому: как хозяйничает шайвольский председатель? Насколько верны эти россказни насчет тайных полей?

В кабинет вошел сияющий помощник Подрезова.

– Телеграмма, Евдоким Поликарпович. Приятная. Подрезов быстро развернул протянутый листок, пробежал глазами.

– М-да, род Подрезовых пошел в гору. У сына дочь родилась, так что я теперь дважды дед. – Он горделиво, по-молодецки вскинул свою большую умную голову и кивнул Лукашину: – Есть предложение двинуть ко мне. Как ты на это смотришь?

Лукашин замотал головой: нет. Он по всем статьям должен ехать домой, да и надоели ему эти перепады в подрезовском настроении. Но разве Подрезов отступится от своего?

– Нет, нет, пойдем. Да ты у меня еще и не бывал, так?

Потом вдруг снял трубку, сам позвонил в Пекашино: передайте Мининой – муж задерживается на совещании…

4

Подрезов жил недалеко от райкома в небольшом желтом домике с красным, пестро разрисованным мезонинчиком.

Кроме этого мезонинчика, у дома была еще одна достопримечательность кусты черемухи и рябины, посаженные тут еще старым хозяином, доверенным знаменитых пинежских купцов Володиных. Но Подрезов кусты эти основательно поукоротил – он любил, чтобы жизнь била в его окна.

Света в верхнем этаже, где жил Подрезов, несмотря на поздний час, не было, но сам Подрезов нисколько не удивился этому.

По крутой лестнице высокого, на столбах, крыльца они поднялись наверх, вошли в сени.

Подрезов чиркнул спичку. На той стороне длинных сеней обозначились зыбкие переплеты черной рамы, дверь сбоку с большим висячим замком.

– Иди туда. Замок это так, вроде пугала. А я сейчас.

Лукашин по-ребячьи, совсем как в далеком детстве, вытянул вперед руки с растопыренными пальцами, пошагал в темноту, потом долго шарил по стене, отыскивая замок.

Яркий свет ударил ему в глаза, когда он наконец открыл дверь. Подрезов с лампой в руке встречал гостя у порога.

– Устраивайся. А я буду хозяйничать. Женку не трогаю. Она у меня нездорова.

Запели, заходили половицы под ногами увесистого хозяина, захлопали двери Подрезов раза три выходил в сени. На столе, накрытом старенькой клеенкой, появилась квашеная капуста, соленые грибы, редька.

– Тебя упрекал как-то – без рыбы живешь, а у меня тоже небогато. Тоже на лешье мясо[5] больше нажимаю. А надо бы рыбки-то достать… Чего все глазами водишь? Непривычно?

Лукашину действительно было непривычно. Столярный верстак, рубанки, фуганки, стамески, долота… Самая настоящая столярка! И у кого? У первого секретаря райкома.

– Не удивляйся, сказал Подрезов, – я ведь, брат, по специальности столяр. Не слыхал? Да и столяр-то, говорят, неплохой. Поезжай в верховье района – там и теперь шкафы моей работы кое у кого стоят. Мне двенадцать, что ли, было, когда меня отец стал с собой по деревням таскать… И вот когда в райком запрягли, специально это хозяйство завел. Хоть для разминки, думаю. Черта лысого! Забыл, как и дерево-то под рубанком поет. А ведь когда-то я с закрытыми глазами на спор мог сказать, что в работе – елка там, сосна или береза… По звуку…

Подрезов налил гостю, себе, чокнулся, выпил. Потом, смачно хрустя капустой, смущенно подмигнул:

– Ну, еще какие вопросы будут? В разрезе автобиографии первого? Образование – начальное, семейное положение – женат. Старший сын – техник. Ребенком вот обзавелся. Дочь – учительница. Замужем. И тоже с приплодом. Так что я по всем статьям дед.

– А сколько же этому деду лет?

– Мне-то? А как ты думаешь?

– Ну, думаю, лет на пять, на шесть меня старше, не больше.

Подрезов довольно захохотал, слезы навернулись на его голубых, с бирюзовым отливом глазах.

– Ты с какого? С девятьсот шестого? Так? Так. Подрезова, брат, не надуешь. Всех своих коммунистов знаю. А в войну и лошадей по кличкам знал. По всему району, во всех колхозах. Бывало, к примеру, твоей Анфисе звонишь. "Нету, нету лошадей, Евдоким Поликарпович!" Как так нету? А Туча где у тебя? А Партизан? А Гром? Мининой и крыть нечем.

– А все-таки сколько же тебе лет? – спросил Лукашин.

– Хм… Нет, я тебя маленько помоложе. По годам, – как бы мимоходом бросил Подрезов. – С девятьсот седьмого. Знаю, знаю – старше выгляжу. Не ты первый удивляешься. Я, брат, рано жить начал – в этом все дело. Знаешь, сколько мне было, когда я первый раз женился? Семнадцать. – Подрезов смущенно заулыбался. – А жене моей двадцать один, и я ее ученик…

Заметив недоверчивый взгляд Лукашина ухмыльнулся:

– Думаешь сказки рассказывает Подрезов? Нет, правды не пересказать. Выру, речку, знаешь? Приток Пинеги? Ну дак я белый свет, а вернее, ели да сосны на этой самой Выре впервой

увидел. Там моя родина. Выселок. За девяносто верст от ближайшей деревни. Беглые солдаты когда-то, говорят, скрывались. Школы до революции, понятно, не было – двадцать домов население. И вся твоя академия Псалтырь да Библия, да и то по вечерам, когда ты уж лыка не вяжешь. Я с восьми лет стал за верстак, а в десять-то я уже рамы колотил… И вот когда мне повернуло уж на семнадцать, приезжает к нам учительница. Первая. Культурную революцию делать. В одна тысяча девятьсот двадцать четвертом году…

– Памятный год, сказал Лукашин.

– Слушай дальше! – нетерпеливо перебил Подрезов и так разошелся, что даже кулаком по столу стукнул. Как на заседании. – Ты когда город впервые увидел? Не помнишь, поди, такого? Ни к чему. А я до шестнадцати лет не то что города, а и человека-то городского не видел. Понимаешь, что такое был для меня приезд Елены? – Подрезов налил в стакан водки, жадно выпил. – Да-а… А школы-то в Выре нету – где делать культурную революцию? Ну, я ребят кликнул – с этого и началась моя общественная деятельность: построили к осени школу. И вот где пригодилось мое столярство! Старики на дыбы – не надо школы, под старину подкоп, зараза мирская: староверы все у нас были… Меня дома братья да отец дубасят – из синяков не вылезаю. Но и я упрямый. Даром что пенек лесной, а сообразил: нельзя без школы. В общем, построили школу – пятистенок на два класса да еще горенка для учительницы. Да-а… – Подрезов широко улыбнулся. Школу-то мы построили, а первое сентября подошло – ни одного ученика. Не пустили родители: "Мы без школы жили, и дети проживут". Ну, я опять пример подал: пришел, сел за парту – учи. В общем, весной результаты такие: у меня на руках свидетельство за начальную школу, а у Елены брюхо…

– Способный ученик!

– Ну, ты! – Подрезов свирепым взглядом полоснул улыбнувшегося Лукашина. Знай, где губы распускать. Девка одна-одинешенька. Как среди волков… Матрена у нас была. Старуха. Ни разу в мир за свою жизнь не выезжала. Чтобы святость соблюсти, с никонианами не опоганиться. Дак эта Матрена, знаешь, что сделала? Ночью школу соломкой обложила да жаровню живых угольков притащила… Ладно, не сердись. Когда человека топят, разве он разглядывает, какое бревно под руку попало? Да я, уж если на то пошло, и бревно-то не последнее был. Лес на школу под выселок приплавил – никто лошади не дает. И помощнички у меня – соплей перешибешь. Я один среди них жернов. В дедка. Тот у нас в восемьдесят лет изгонял дьявола из плоти. Дак что я сделал? На себе, вот на этом самом горбу, перетаскал от реки бревна. Она, Елена, в жизни своей такого не видала. А история со стеклом была! О-хо-хо!.. Все готово: пол набран, потолок набран, окна окосячены, рамы сделаны, одного не хватает – стекла. А стекло за девяносто верст, в деревне, и навигация на нашей Выре только ранней весной да поздней осенью, когда паводки. А так порог на пороге – в лодке не проехать. И вот я ждал-ждал дождей да и пошел камни в порогах пересчитывать. Привез стекло. Через сто десять порогов и отмелей протащил лодку. Вот какая у меня любовь была! Дак разве она могла устоять перед такой силой?

Подрезов взялся рукой за свой тяжелый, круто выдвинутый вперед подбородок, мрачно уставился в стол.

Ничего-то мы друг про друга не знаем, подумал Лукашин и, прислушиваясь к шумно прогрохотавшей под окном машине (не Чугаретти ли опять загулял?), спросил:

– А Елена твоя… Что с ней?

– Нету. В тридцать первом отдала концы… – Подрезов помолчал, махнул рукой: – Ладно,

кончили вечер воспоминаний…

Однако Лукашина так взволновал подрезовский рассказ, что он не мог не спросить, отчего умерла Елена.

– От хорошей жизни, – буркнул Подрезов. – Можно сказать, я сам ее зашиб. Ты знаешь, сколько во мне тогда этой силы лесной, окаянной было? Жуть! Я как вырвался на просторы из своей берлоги – мир, думаю, переверну. В восемнадцать председатель сельсовета – ну-ко, поставь нынешнего сосунка на такое дело! В двадцать председатель коммуны… Потом дальше – больше. Первая пятилетка, коллективизация – вся жизнь на дыбы. Меня как бревно в пороге швыряло. Сегодня в лесу, завтра на сплаве, послезавтра в колхозе… По трем суткам мог не смыкать глаз. Лошади подо мной спотыкались да падали, а тут городская девчонка… Пушинка… Да чего там – дубы пополам ломались, а она уж что…

– Да, было времечко, – с раздумьем сказал Лукашин. – Ух, работали!

– Еще бы! – подхватил Подрезов. – Мир воздвигался новый. Социализм строили. Сейчас сколько у нас в лесу техники, тракторов, узкоколейку делаем… А ты знаешь, что в начале тридцатых годов мы лошадкой да дедовским топором миллион кубиков давали! Миллион! Одним районом. Вот ты у Худякова сегодня был. Какой, думаешь, у него рекорд в тридцатые годы был? Сто двадцать кубов в день при норме в три… Вася Дурынин с ним соревновался – на войне мужика убили. Прочитал это в районке, аж заплакал от расстройства. "Ну, говорит, черева из меня вон, а достану Худякова…"

– Кстати, насчет Худякова, сказал Лукашин. – Что это у него за тайные поля?

Подрезов рывком поднял свою гривастую голову, по-секретарски сдвинул брови:

– Это еще что такое?

– Говорят. На Богатке телят откармливает и хлеб сеет. А налоги с того хлеба не платит…

– Ерунда!

– Ничего не ерунда.

– А я говорю, ерунда! – рявкнул Подрезов.

Лукашина начала разбирать злость. Чего глотку показывать? Где они? На бюро райкома? Он вовсе не хотел бы наговаривать на Худякова (избави боже!), но раз Подрезов делает вид, что ему ничего не известно, – молчать?

– А откуда же у него, по-твоему, хлеб в колхозе, а?

– Откуда?

– Да, откуда?

– А оттуда, что он работать умеет. Хозяин!

– Ах, вот как! Хозяин. Работать умеет. А другие не работают, другие баклуши бьют. Так?

– Да! – рубанул Подрезов. – Ты который год свой коровник строишь?

Это был удар ниже пояса. Лукашин вскочил на ноги, выпалил:

– А ежели так будет дальше… ежели так выгребать будут… еще десять лет не построю!

– Ты думаешь, что говоришь? Кто это у тебя выгребает?

– А ты не знаешь кто? За границей живешь?

– Советую: не распускай сопли! – опять с угрозой в голосе сказал Подрезов. – А то смотри – схлопочешь…

– Когда печать колхозную сдавать? Сейчас? Или на бюро райкома сперва вызовешь?

Подрезов медленно отвел голову назад, наверняка для того, чтобы получше разглядеть своего гостя. Но разглядеть его он не успел – Лукашин уже громыхал половицами в коридоре.

Глава седьмая

1

Вышли из дому рано – ни одного дымка еще не вилось над крышами, серебряными от росы. И было прохладно, даже зябко. А когда добрались до болотницы да начали в тумане пересчитывать ногами старые мостовины, Лизе и вовсе стало не по себе.

Но Степан Андреянович был весь в испарине, как если бы они шли в знойный полдень, и шагал тяжело, шаркая ногами, с припадом.

И Лиза опять в который уже раз сегодня спрашивала себя: а правильно ли она делает, что больного старика одного отпускает на пожню?

Степан Андреянович первый заговорил с ней о дальнейшей жизни. Так и спросил вечор, когда она вернулась с коровника: как жить думаешь, Лизавета?

Она заплакала:

– Какая у меня теперь жизнь…

– А я твердо порешил: как ни вздумаешь жить, а передние избы твои. Я и бумагу велю составить…

Вот тут-то она и разглядела своего свекра, поняла, каково ему. Ведь не только ее переехал Егорша – переехал и деда своего. На-ко, ждал-ждал внука домой, думал хоть последние-то годы во счастье поживу, а тот взял да как обухом по старой голове: на сверхсрочной остаюсь…

– Татя, да ты с ума сошел! Какие мне передние избы? Ты что – порознь со мной хочешь?

– Да я-то что…

– Ну и я что… Вот чего выдумал: передние избы тебе… Да у нас Вася есть… Васю растить надо… Нет уж, как жили с тобой раньше, так и дальше жить будем…

Степан Андреянович слезами умывался от радости: нет, нет, не хочу заедать твою молодую жизнь. А сегодня встал как до болезни – о восходе солнца – и на Синельгу. На пожню. Нельзя, чтобы Вася без молока остался!

И Лиза сама помогала старику собираться, сама укладывала хлебы в котомку…

– Ты, татя, почаще отдыхай, – наставляла она сейчас шагающего сзади нее свекра. – Никуда твоя Синельга не убежит. Всяко, думаю, к полудню-то попадешь. Да сегодня не робь – передохни. Ведь не прежние годы…

Через некоторое время, когда стали подходить к Терехину полю – тут век прощаются, когда на Синельгу провожают, – она опять заговорила:

– Да Васе-то какой-никакой шаркунок сделай. А время будет, и коробку из береста загни. Побольше, чтобы солехи с бору носить. Нету у нас коробки-то та, старая, лопнула… А я все ладно, скоро проведаю тебя. Да не убивайся, смотри у меня. Иной раз и днем полежи на пожне. Хорошо на вольном-то воздухе, полезно… А без коровы не жили – как-нибудь и вперед прокормим. Ведь уж Михаил не допустит, чтобы Вася без молока остался…

Она передала старику ушатик, котомку, бегло обняла его и не оглядываясь побежала домой: боялась, что расплачется…

2

От завор[6] Лиза пошла было болотницей, той самой дорогой, которой шла со свекром вперед, да вдруг увидела на новом коровнике плотников – как самовары по стенам наставлены – и круто повернула налево: сколько еще избегать людей? Ведь уж как ни таись, ни скрытничай, а рано или поздно придется выходить на народ.

И вот заставила себя пройти мимо всех бойких мест – мимо колодцев, мимо конюшни (тут даже с конюхом словцом перекинулась: когда, мол, лошадь дашь за дровами съездить?), а дальше и того больше – подошла к новому коровнику да начала на глазах у мужиков собирать свежую щепу.

Петр Жуков жеребцом заржал со стены:

– Лизка, мы с тебя за эту щепу натурой потребуем… И она еще игриво, совсем как прежде, спросила:

– Какой, какой натурой?

Все-таки щепу она не донесла до дому – рассыпала возле большой дороги у колхозного склада. Потому что как раз в ту минуту, когда она задворками вышла к складу, из-за угла выскочила легковушка с брезентовым верхом, точь-в-точь такая же, на какой, бывало, шоферил Егорша, и, не останавливаясь, шумно, с посвистами прокатила мимо, а она так и осталась стоять – возле дороги, накрытая вонючим облаком пыли и гари.

После этого Лиза уже не храбрилась. Шла от склада к дому и глаз не вытирала. Только когда вошла к себе в заулок да увидела Раечку Клевакину, начала торопливо заглатывать слезы.

Не любила она при Раечке выказывать свою слабость. При ком угодно могла, только не при Раечке. И дело тут не в том, что та дочь Федора Капитоновича, которого Пряслины с войны терпеть не могут. Дело в самой Раечке, в ее изменчивом характере.

Сохла-сохла всю жизнь по Михаилу, вешалась-вешалась на шею, а тут подвернулся новый учитель – и про все забыла, за легкой жизнью погналась. Вот за это и невзлюбила Лиза Раечку. Невзлюбила круто, исступленно, потому что нравилась она ей, и уж если на то пошло, так

лучшей жены для брата Лиза и не желала.

– Что, невеста? Скоро свадьба? – спросила Лиза, подходя к крыльцу, возле которого стояла Раечка. (Только о свадьбе ей и спрашивать теперь!)

Раечка полной босой ногой ковыряла песок под углом – для Васи насыпан. Большую ямку проковыряла. Да и вообще вид у Раечки был несвадебный. Хмуро, с затаенной тоской глянула ей в лицо.

– Зайдем в избу, – предложила Лиза. – Чего тут под углом стоять?

Зашли. А лучше бы не заходить, лучше бы оставаться на улице. Все разбросано, все расхристано – на столе, на полу (сразу двоих собирала – и старого, и малого), – неужели и у нее теперь такая же жизнь будет, как эта неприбранная изба?

– Райка, у тебя глаз вострый. Посмотри-ко, нет ли у меня какой сорины в глазу? – схитрила Лиза.

Она потянула Раечку к окошку, к свету, а у той, оказывается, у самой на глазах пузыри.

– Вот тебе на! Да у тебя сорина-то, пожалуй, еще больше, чем у меня.

Раечка ткнулась мокрым лицом ей в грудь, глухо застонала:

– Меня тот до смерти замучил…

– Кто – тот? Учитель?

– Ми-и-и-шка-а-а…

– Михаил? – удивилась Лиза. – Наш Михаил?

– Да…

– Ври-ко давай…

– Он… Тут который раз встретил вечером… Выйди, говорит, к ометам соломы…

– Ну и что?

Раечка жгла ей своими слезами голую шею, грудь, но молчала. Котлом кипела, а молчала. Потому что дочь Федора Капитоновича. Гордость. И Лиза, уже сердясь, тряхнула ее за плечи:

– Ну и что? Чего у вас было-то?

– Он не пришел…

– Куда не пришел? К ометам, что ли?..

– Да…

– И только-то всего? Постой-постой! – вдруг вся оживилась Лиза. – А когда это было-то? Не в тот ли вечер, когда он с мужиками на выгрузке был? Вином-то от него пахло?

– Пахло…

Лиза с облегчением улыбнулась – наконец-то распутался узелок:

– Ну дак он не мог прийти в тот вечер. Никак ему нельзя было.

Раечка недоверчиво подняла голову.

– Правда, правда! У нас в тот вечер ребята прикатили – Петька да Гришка… Подумай-ко, устраивал, устраивал их Михаил в училище, а они взяли да домой. По Тузку соскучились… Что ты, было у нас тогда делов. И теперь еще не знаем, что с ними. Как на раскаленных угольях живем…

У Раечки моментально высохли глаза, она стала еще красивее, а Лиза смотрела-смотрела на нее и вдруг ужасно рассердилась на себя: зачем, кого она утешает? Какое горе у этой раскормленной кобылы?

Она резко встала и сама удивилась жестокости своих слов:

– Худо тебя припекло, за жабры не взяло. Скажите на милость, как ее обидели! Час у омета вечером выстояла. Да когда любят по-настоящему-то, знаешь, что делают? Соломкой стелются, веником под ноги ложатся… А ты торгуешься, как на базаре, все у тебя расчеты… Насыто, насыто плачешь – вот что я тебе скажу… Михаила она испугалась! Да Михаил-то у нас копейку возьмет, а на рубль вернет… Слыхала это?

Раечка мигом просияла. На улицу выбежала – и горя, и слез как не бывало.

Лиза сняла со стены зеркало, присела к столу. Не красавица – это верно. Не Раечка Клевакина. И скулья выпирают, и глаза зеленые, как у кошки. Да разве только красивым жить на этом свете? А то, что она три года, три года, как собака верная, ждет его, служит ему, – это уж ничего, это не в счет? А в прошлом году приехал на побывку на два дня, потому что, видите ли, дружков-приятелей в городе и в районе встретил, сказала она ему хоть словечушко поперек? Наоборот, стала еще от деда и брата защищать: хватит, мол, вам человека мылить. Хоть и погуляет сколько – не беда, солдатскую службу ломает…

В избе она не стала прибирать – первый раз в жизни махнула на все рукой. Да, по правде сказать, и некогда было – на коровник пора бежать.

3

Никогда в жизни не ездила Лиза больше трех раз за травой на дню, а сегодня съездила четыре и поехала еще – пятый. Поехала для того, чтобы выреветься.

И она ревела.

По лугу ходил вечерний туман, яркая звезда смотрела на нее с неба, а она каталась по мокрой некошеной траве, снова и снова терзала себя:

– За что? За что? За какую такую провинность?

За эти два дня и две ночи она перебрала все, припомнила всю свою жизнь с Егоршей – как и что делала, когда и какие слова говорила (можно было припомнить, немного они и жили – две недели) – и нет, не находила за собой вины. Не в чем ей было каяться. А уж если и винить ее в чем, так разве только в молодости. Тут она виновата. Выскочила семнадцати лет, зелень зеленью какая же из нее жена?

В кустах жалобно горевала какая-то птаха (тоже, может, брошенка?), а на деревне кто-то веселился – лихо наяривал на гармошке…

Лиза села, начала перевязывать намокший от травы платок.

Никто еще не знал, не ведал о ее беде. Она даже брату слова не сказала. А ведь узнают, придет такой день – начнут перемывать косточки.

– Слыхала, страсти-то у нас какие?

– Какие?

– Лизку Пряслину Егорша бросил.

– Ври-ко?

– А чего врать-то? Правды не пересказать.

– Да за что бросил-то? Месяца не жили…

– А уж это ты у его спроси. Ему лучше знать…

И Лиза мысленно уже представляла себе, с каким пакостным любопытством присматриваются к ней при встречах бабы: есть, есть какой-то изъян, раз муж бросил…

Нет, нет! Не будет этого. Не будет!

Она решительно вскочила на ноги, без тропинки, напрямик побежала к Дуниной яме.

Об этой Дуне, какой-то разнесчастной пекашинской бабе или девке, утопившейся в застойном омуте возле берега, Лиза думала еще днем. Кто она такая? Из-за чего нарушила себя? Может, и ее муж кинул?

Мокрая трава била ее по коленям, мокрые кусты хлестали по лицу, по глазам… Остановилась, когда из-под ног комьями посыпалась в воду глина.

Густой белый туман косматился над Дуниной ямой, и холодом, ледяным холодом несло из ее черных непроглядных глубин…

Господи, да как же она, окаянная, о своем Васе-то забыла? С ребенком-то что будет? А свекор? Он-то как, старый старик, будет один маяться без нее?

Лиза пошла назад. Сперва тихонько, еле переставляя ноги, а потом побежала бегом: коровы уж час добрый как пришли из поскотины – чем они-то виноваты?

Глава восьмая

1

Анфиса торопилась. Солнышко сворачивало на обед, и вот-вот должен явиться Иван с Подрезовым, а у нее еще и пол не мыт.

Подрезов задал им сегодня работы. Ввалился утром с шумом, с грохотом:

– Встречайте гостя!

Ну и как было не встречать. Барана зарезали (ох, вспомнят они про этого барана, когда время подойдет мясной налог платить!), мукой белой разжились она нарочно к реке, на склад к Ефимке-торгашу, бегала. А как же иначе? Не простой гость, не деревенский – чего сунул, и ладно. Хозяин района. Хоть разорвись, хоть наизнанку вывернись, а сделай стол.

И она делала. Варила свежие щи, тушила баранину с молодой картошкой, опару для блинов заранее растворила – чтобы без задержки, с жару с пылу подать на стол.

Но надо правду говорить: без радости все это делала. Не нравилась ей эта дружба Ивана – ни раньше не нравилась, ни теперь. Она еще как-то понимала съездить вместе на рыбалку, при случае посидеть вдвоем за бутылкой, а как понять, к примеру, сегодняшний фокус Подрезова? Пяти часов не прошло, как расстались, а он уж катит к ним. Дети, что ли, они – друг без дружки жить не могут? А потом, как же это председателю с первым секретарем дружить? А ежели у тебя в колхозе завал, а ежели ты своим колхозом весь район назад тянешь тогда как?

Нет, она на этот счет думала без затей: секретарь к председателю зашел чаю выпить, пообедать – это нормально, это спокон веку заведено, а председателю ходить на дом к секретарю незачем. И даже нельзя. Потому что слух разнесется ты любимчик у секретаря, ох, нелегко жить будет.

Обо всем этом Анфиса хотела поговорить с мужем сразу же, как только тот на рассвете приехал от Подрезова, но не решилась. Надо сперва хорошенько подумать, прежде чем со своим мужем разговаривать, – вот до чего у них дошло.

Размолвки меж ними, само собой, случались и раньше – как же без этого в семье? – но размолвки только до ночи. А ночь примиряла их. Ночь сводила их воедино и душой и телом – они любили друг друга со всем пылом людей, не успевших израсходовать себя в молодости.

Теперь они спали врозь.

Первый раз Иван лег от нее отдельно в тот вечер, когда вышла эта история у орсовского склада.

Она знала: нельзя ей туда ходить. Ивану и без того на каждом шагу чудится, что она в его дела вмешивается, его наставляет. И все-таки пошла. Пошла ради самого же Ивана. Думала: мужики пьяные, Иван в судорогах – долго ли разругаться в пух и в прах? А вышло так, что хуже и придумать нельзя… А через день у них с Иваном опять была ссора. И ссора снова из-за того же Петра Житова.

Петр Житов приперся к ним на дом: нельзя ли, дескать, травы за болотом, напротив молотилки, пособирать – женка присмотрела?

– Нет, – буркнул Иван, – ты и так пособирал.

Это верно, поставили Житовы стожок на Синельге воза на два, да разве это сено для коровы на зиму?

Она решила замолвить за Петра словечко – как не замолвишь, когда тот глазами тебя ест?

– Давай дак, председатель, не жмись. Не все у нас с одной ногой.

Сказала мягко, необидно, а главное, с умом: любой поймет, почему Петру Житову разрешено.

Нет, глазами завзводил, как будто она первый враг его. А Петр Житов тоже кремешок: раз ты так, то и я так. Ищи себе другого бригадира на коровник, а я отдохну.

– Смотря только где отдохнешь, – припугнул Иван.

Анфиса только руками всплеснула: ну разве можно так разговаривать с человеком?

– Ну, довольна? – заорал на нее Иван, когда Петр Житов ушел от них. Опять мужа на позор выставила? Вот, мол, какая я, мужики, заступница ваша, а то, что мой муж делает, это не моя вина…

Она смолчала, задавила в себе обиду.

2

Хозяин с гостем пришли не рано, во втором часу, так что Анфиса все успела сделать: и обед приготовить, и пол подмыть – праздником сияла изба, – и даже над собой малость поколдовать.

Платье надела новое, любимое (муж купил!) – зеленая травка по белому полю, волосы на висках взбила по-городскому и сверх того еще ногу поставила на каблук: наряжаться так наряжаться.

В общем, распустила перья. Подрезов, привыкший видеть ее либо на работе, либо за домашними хлопотами, не сразу нашелся, что и сказать:

– Фу-ты черт! Ты не опять взамуж собралась?

Но Подрезов – Бог с ним: посидел, уехал, и все. Муж доволен был. Вошел в избу туча тучей – не иначе как Подрезов только что мылил (вот ведь как дружбу-то с таким человеком водить), а тут увидел ее – заулыбался.

Анфиса сразу повеселела, молодкой забегала от печи к столу.

– Ну как, Евдоким Поликарпович, наше хозяйство? – завела разговор, когда сели за стол. – Где побывали, чего повидали?

– Хозяйство у вас незавидное. А знаешь почему?

– Почему?

Она ждала какого-нибудь подвоха – уж больно не по-секретарски заиграли у Подрезова глаза, – но поди угадай, что у него на уме!

А Подрезов шумно, с удовольствием втягивая в себя носом душистый наваристый пар от щей – она только что поставила перед ним большую тарелку, подмигнул, кивая на Ивана:

– А потому что больно часто его мясом кормишь. Не в ту сторону настраиваешь.

Шутка была обычная, мужская, и ей бы тоже надо от себя подбросить огонька – вот бы и веселье получилось за столом, а ее бог знает почему повело на серьезность.

– Нет, Евдоким Поликарпович, сказала она, – не часто нынче едят мясо в деревне. В налог

сдают. И мы не едим.

– А это что? Из бревна варено? – Подрезов размашисто ткнул пальцем в свою тарелку. Он все еще шутил.

– А это я овцу свою недавно зарезала.

– Для меня? – Подрезов сразу весь побагровел. Иван стриганул ее глазами: ты в своем уме, нет? А ее как нечистая сила подхватила – не могла остановиться:

– Да чего на меня зыркать-то? Евдоким Поликарпович без меня знает, как в деревне живут. А ежели не знает, то сам глаза завесил.

– Кто завесил? Я?

– А то нет? – Поздно было уже отступать. Разве закроешь сразу плотину, когда вода хлынула? – Я-то не забыла еще, как ты в сорок втором году к нам приехал. Помнишь, Новожилов помер и тебя первым назначили? Ну-ко, вспомни, что ты тогда нам говорил?

– Есть предложение выпить, сказал, чеканя каждую букву, Иван. Специально для нее, чтобы одумалась.

– Нет, обожди, – сказал Подрезов. – Пускай уж до конца говорит.

– А чего говорить-то? – Анфиса тоже начинала горячиться: муж рот затыкает, словно она невесть что мелет, гость набычился – вот-вот рявкнет. – Разве сам-то не помнишь? "Бабы, потерпите! Бабы, после войны будем досыта исть..." Говорил? А сколько годов после войны-то прошло? Шесть! А бабы все еще терпят, бабы все досыта куска не видели...

Анфиса, покамест говорила, нарочно не глядела в сторону мужа, чтобы все высказать, что на сердце накипело, зато когда отбарабанила – озноб пошел по спине. Нехорошо, ох, нехорошо получилось. Подрезов у них гость, и разве такими речами гостя угощают? А насчет мяса так она и вообще зря разговор завела. Кто поймет ее как надо?

Подрезов не ел, муж не ел – она не глазами, ушами видела это. И она кусала-кусала свои губы, ширкала-ширкала носом, как простуженная, и – только этого и недоставало – вдруг расплакалась.

– Ты уж не сердись на меня, Евдоким Поликарпович. Сама не знаю, как все сказала. Может, оттого, что я ведь тоже не со стороны на все это глядела... Я ведь тоже бабам так говорила...

– Но здесь не бабы! – отрезал Иван.

Она хотела встать – чего давиться слезами за столом, – но рука Подрезова властно удержала ее.

– Анфиса, мы с тобой когда-нибудь пили?

– Вино?

– Да.

– С чего? Я ведь у тебя в любимчиках не ходила. Ты меня все годы в черном теле держал...

– Так уж и держал?

– Держал, – сказала Анфиса. – Чего мне врать?

Подрезов налил граненый стакан водки. Полнехонький, с краями, воплавь, как говорят в Пекашине. Поставил перед ней.

– Выпей, Анфиса, со мной. Только не отказывайся, ладно?

Вот так именитого-то гостя принимать: то сивер на тебя нагонит, то жар. Ну а как своя, домашняя гроза?

Выпей! – приказал глазами Иван.

Анфиса голову вскинула по-удалому, по-бесшабашному: сама коней в топь завела, сама и на зелен луг выводи.

– За такого гостя можно выпить.

– Нет, не за гостя, – сказал Подрезов.

– А за кого же?

– За кого? А ни за кого. За то, что мы с тобой тут, на Пинеге, фронт в войну держали…

Выпила. По уму сказал слова Подрезов. Чуть не половину стакана опорожнила, а потом и того хлестче: дно показала. Иван виноват. Сказал бы – стоп, и все. А то не поймешь, чего и хочет. Выпей, а как выпей – все или только пригуби? А Подрезов – известно: покуда на своем не поставит, не слезет. "Выпей! Докажи, что зла на меня не держишь…"

И вот Анфиса глубоко вздохнула, набрала в себя воздуха, как будто в воду нырнуть хотела, прислушалась (как там сын в задосках?) и – будем здоровы.

Минуты две, а то и больше никто не говорил – не ждали такого, и в избе до того тихо стало, что она услышала, как в своей кроватке зевнул во сне Родька.

Первым заговорил Подрезов:

– Дак, значит, я обманщик, по-твоему, Анфиса? Да?

"Так вот ты зачем меня вином накачивал! Чтобы выпытать, что о тебе думают. А я-то, дура, уши развесила, думала – он труды мои вспомнил".

– А сам-то ты не знаешь! – сказала Анфиса и прямо, без всякой боязни глянула в светлые, пронзительные глаза Подрезова. – А по мне, дак человек, который слова не держит, обманщик. Вот ты по колхозам ездишь. Не стыдно в глаза-то людям глядеть? А мне дак стыдно…

– Ты опять про свое? – цыкнул Иван.

– А про чье же еще? – Она и на него глянула во все глаза.

– Да пойми ты, дурья голова, от секретаря все зависит? Думаешь, он всему голова?

– А кто же? Разве помимо евонной воли каждый год у нас выгребаловку делают? Чьи – не его

уполномоченные с утра до ночи возле молотилок стоят?

– Правильно, Анфиса, мои, – сказал Подрезов. – Только покамест без этой выгребаловки, видно, не обойтись. Про войну забываешь.

– Ничего не забываю. А только докуда все на войну валить? Чуть кто вашего брата против шерсти погладил – и сразу война. Да ведь войны-то и раньше бывали. После той, гражданской, уж на что худо было. Гвоздя не достанешь, соли не было – кислое молоко в похлебку клали. А года два-три прошло – ожили. А теперь карточки уж который год отменили, а деревенскому человеку все в лавке хлеба нету, только одним служащим по спискам дают. Долго это будет? А скажи-ка на милость, трава каждый год под снега уходит, а колхознику нельзя для коровенки подкосить – тоже война виновата?

– Ну, села на любимого конька…

– Села! – с запалом ответила мужу Анфиса. – И тебе это говорю: не умеешь с народом жить, все войной, все войной на людей, за каждую охапку сена калишь…

– Да если их не калить, они колхозное стадо без кормов оставят! И так ни черта не работают.

– А по мне, дак больно еще хорошо работают. За такую плату…

Иван выскочил из-за стола, забегал по избе, а она, Анфиса, и глазом не повела. Бегай!

Как-то она стала Петра Житова совестить (Олена попросила): зачем, мол, ты, Петя, все пьешь? "А затем, чтобы человеком себя чувствовать, – ответил ей Петр Житов. – Я, когда выпью, ужасно смелый делаюсь. Никого не боюсь". И вот, наверно, вино и в самом деле смелости прибавляет. Сейчас она тоже никого не боялась – ни мужа, ни Подрезова.

Правда, Подрезов сегодня вроде и не Подрезов вовсе. У нее крепы в голове и в горле лопнули – чего ни наговорила, как его ни разделала, в другой раз и подумать страшно, что было бы. А сегодня сидит, слушает и чуть ли еще не оправдывается.

– Я тебе только одно скажу, Анфиса, – заговорил Подрезов, когда Иван снова сел за стол. – Не у нас одних трудно. В других краях и областях не лучше живут. Это я тебе точно говорю.

– Больному не большая радость оттого, что его сосед болен, – сказала Анфиса.

И опять ее стало подмывать, опять потянуло на разговор – вот сколько накопилось всего за эти годы!

Но тут Иван напомнил Подрезову, что им пора ехать.

– Куда? – удивилась Анфиса.

– На Сотюгу думаем, – сказал Подрезов. – Надо сено там у вас и у водян посмотреть, а заодно и рыбешки пошуровать. – Покосился на нее мужским взглядом и весело добавил: – Чтобы ты его посильнее любила.

– А я и так мужа своего люблю. Без рыбы! – с вызовом ответила Анфиса и, чего никогда не бывало с ней на людях, потянулась целовать его.

Иван, конечно, осадил ее – нож по сердцу ему всякие нежности на виду у других, – но она выдержала характер, чмокнула в нос, а потом запела: вот когда по-настоящему вино заходило.

– Чем людей-то пугать, сходила бы лучше за лошадями.

– Нет, давай уж сами! – захохотал Подрезов. – Ей сейчас и конюшни не найти.

– Мне не найти? – Анфиса вскочила на ноги, лихо стукнула кулаком по столу – только стаканы звякнули. – Нет, врешь! Найду!

Ее качнуло, она ухватилась за спинку кровати, но у порога выровнялась и на улицу вышла с песней.

3

Когда в прошлом году Анфиса смотрела кино под названием "Кубанские казаки", она плакала. Плакала от счастья, от зависти – есть же на свете такая жизнь, где всего вдоволь!

А еще она плакала из-за песни. Просто залилась слезами, когда тамошняя председательница колхоза запела:

Но я жила, жила одним тобою,

Я всю войну тебя ждала…

Это про нее, про Анфису, была песня. Про ее любовь и тоску. Про то, как она целых три долгих военных года и еще почти год после войны ждала своего казака…

И вот сейчас она шла, пошатываясь, по дороге и выводила свою любимую. Во весь голос.

Из коровника выбежали скотницы – кто поет-гуляет? Строители перестали топорами махать, тоже вкогтились в нее глазами, ребятишки откуда-то налетели видимо-невидимо…

А ладно, смотрите на здоровье. Не часто Анфиса гуляет. Кто видал ее хоть раз пьяной после войны?

Конюха на месте не оказалось – за травой уехал или лошадей под горой перевязывает, но кто сказал, что ей помощник нужен? Всю войну по целым страдам с кобылы не слезала, так уж заседлать-то двух лошадей как-нибудь сумеет!

Она широко распахнула ворота конюшни, смело прошла к стойлам – лошадь любит, когда с ней уверенно обращаются, – вывела сперва Мальчика, затем Тучу.

Туча – смирная, сознательная кобыла, и она быстро ее оседлала, а Мальчик как черт: крутится, вертится, зубами лязгает – не дает надеть на себя седло.

– Стой, дьявол! Стой, сатана!

Она взмокла, употела и ужарела, пока подпругу под брюхом затянула, а потом конь вдруг взвился на задние ноги – все полетело: и привязь Ефимова полетела чего со старичонки требовать? – и она сама полетела. Прямо в песок перед воротами конюшни, в пыль истолченный конскими копытами.

– Мальчик, Мальчик, куда?

Она вскочила, побежала вслед за конем туда, к старому коровнику, где громом небесным стонала земля.

Только добежала до коровника – Мальчик обратно: тра-та-та-та… Чуть не растоптал. Пролетел, мало сказать, рядом – брызгами залепил лицо.

Сколько заворотов он сделал от конюшни до скотного двора? Может, десять, а может, двадцать. Седло съехало под брюхо, сам от пыли гнедой стал (это Мальчик-то, черный как смола!), а она все бегала, месила горячий песок между конюшней и коровником. До тех пор, пока его, окаянного, не перехватила Лизка. У колоды с водой возле колодца.

Анфиса кое-как подняла с брюха на спину седло, затянула подпругу, попросила Лизу:

– Отведи его, Бога ради, лешего, к нам, а я сейчас. Она стряхнула с себя пыль – до слез жалко было нового платья, – заправила назад потные, растрепавшиеся волосы, пошагала к коровнику – к мужикам. Напрямик, не дорогой, по свежераспаханному песку.

Подошла к стене, задрала кверху голову, бросила:

– Сволочи, нелюди вы! Вот кто вы такие!

А кто же как не сволочи? Самые разнастоящие сволочи! Она, баба, целый час моталась за конем по жаре, по песку, и хоть бы один из них пошевелился. Расселись по стене туесами да знай ржут, скалят зубы – весело!

Петр Житов закричал:

– Лукашина! – Знает, когда как называть. – Остановись! Дай тормоза…

Не остановилась. И не оглянулась даже.

Всю жизнь она за людей своих горой стояла. С начальством из-за них всегда лаялась, мужа постоянно пилит из-за них: "Иван, полегче! Иван, дай людям жить!" А они-то сами дают Ивану жить?

Нет, худо еще давит вас Иван. Худо. Нынешний мужик без погоняла палец о палец не ударит. А как же председателю-то быть? Председатель-то не может, как они, плюнуть да махнуть на все рукой.

Хмель совсем вышел из головы. Она заторопилась, побежала домой. Где Родька? Как Иван уедет без нее?

Глава девятая

1

За Пекашином, как только спустишься с красной глиняной горы да переедешь Синельгу, начинаются мызы и поскотина.

Поскотина – еловая сырь, заболоть с проклятой ольхой да кочкарником, где все лето изнывает комар, – справа, вдоль Пинеги. А мызы – по левую руку, на мохнатых лесистых угорах.

Мыз в Пекашине десятки – они тянутся чуть ли не на пять верст, вплоть до Копанца, и у каждой мызы свое название: по хозяину, по местности, по преданию – поди-ко запомни все.

Местному жителю легче. Местный житель с детства незаметно для себя постигает эту лесную грамоту. А каково приезжему? Как запомнить названия навин – там на сотни счет? Как

разобраться с покосами? Синельга Верхняя, Синельга Нижняя, Сотюга, Вырда, Нырза, Марьюша… Одиннадцать речек! И по каждой речке пожни: иссады, бережины, мысы, наволоки, чищанины, ламы… – сам черт ногу сломит.

Лукашин за пять лет овладел этой лесной грамотой вполне. Он знал почти все названия на очень сложной и путаной пекашинской карте. И вздумай, к примеру, сейчас Подрезов устроить ему экзамен, он бы запросто перечислил и самые мызы, мимо которых они проезжали, и те предания, которые у пекашинцев связаны с ними.

Но Подрезов молчал. Сидел в седле, покачивал своей крупной головой в такт поступи коня и изредка посматривал по сторонам – то на Пинегу, серебряно вспыхивающую справа в просветах между елей, то на угоры, щедро расшитые красными узорами поспевающей брусники.

Мальчик – а Лукашин уступил ему своего коня – был уже в испарине. Нелегко, видно, привыкать к новому седоку. Да Подрезов по сравнению с ним и грузен был. Жиру лишнего вроде нету, а увесистый – то и дело всхрапывает конь от натуги.

Заговорил Подрезов, когда поравнялись с высоким старым пнем, на который гордо, как петух, вылез ярко-оранжевый, в белую крапину мухомор.

– Грибов много наносил?

– Раза два ходил с женой.

– А я ни разу. Не ел в этом году лесовины от своих рук.

За Согрой, узеньким, но беспокойным ручьем, стало светло и весело: пошли легкие, лопочущие осинники по угорам, березовые рощицы с зелеными лужайками справа, за дорогой. Лошади сами, без всякого понукания перешли на рысь.

Стали попадаться кое-где пустоши – заброшенные поля.

Дико: в войну бабы да ребятишки распахивали эти поля, а после войны забросили. И так было не в одной только "Новой жизни". Так было и в других колхозах. Председателей мылили, песочили, отдавали под суд – ничего не помогало: пустошей становилось больше год от году.

Копанец начался полевыми воротами с засекой, или по-местному, осеком, который отгораживает его от поскотины.

Но была у Копанца сейчас и еще одна примета – грохот жатки, который Лукашин услыхал за километр, а может, и за два.

– Ты езжай, Евдоким Поликарпович, я догоню. Мне к Пряслину надо заглянуть.

– К Михаилу? Это он наяривает? Подрезов указал на рослый березняк, из-за которого доносился шум.

– Он.

– Валяй. Я тоже гляну.

Росстань на Копанец – торная, широкая, но только до Михейкиной избы, вернее, до старого пепелища, до груды камней и чащобы крапивника, где стояла когда-то изба.

Михей Харин, хозяин этой избы, первый из пекашинцев раскопал поля на Копанце и лет за пять стал самым богатым человеком в деревне – вот какая тут земля. Черная, жирная, без навоза родит.

Зато уж попадать на этот Копанец с машиной – всю матушку со всей России соберешь, как говорят в Пекашине. И небольшая бы канава, в засушливое лето даже не напьешься, да грунт тут такой, что не только лошадь – человека не держит.

В первые годы после войны пекашинцы каждый год строили мост, а потом отступились. Потому что вороватые водяне (они тут рядом, за рекой) все, что ни построй, разберут и увезут на дрова.

И вот единственный выход – крепкий мужик.

У Михаила Пряслина на берегах Копанца произошла целая битва: кустарник, жерди, кряжи, наваленные в канаву, измочалены до белого мяса.

Лукашин и Подрезов спешились у канавы, привязали к кустам лошадей и пошли пешком на треск и грохот жатки, которая как раз в это время появилась на закрайке поля, возле канавы.

Михаил спокойно, даже равнодушно смотрел на выходившего из кустов Лукашина, но, когда увидел сзади него Подрезова, мигом вытянул шею, привстал, а потом бух-бух – напрямик через несжатый ячмень навстречу.

Сперва поздоровался с ним, с Лукашиным, но бегло, на ходу и без всякой радости, зато уж с Подрезовым – снимай кино: руки вытер о штаны, рот до ушей и куда девалась всегдашняя хмурь!

Лукашин понимал: кому не лестно – первый секретарь райкома на поле к тебе пожаловал! Рассказов и воспоминаний хватит на год. Но было обидно. Он вчера специально гонял на Копанец Чугаретти – отвезти табак Михаилу, и даже пачку «Звездочки» накинул, от себя урвал, а Михаил даже спасибо не сказал.

– Ты совсем как отец стал. Понял? – сказал Подрезов. – Только у того волос посветлее был. А насчет этого ящика, – Подрезов крепко кулаком стукнул парня по смуглой, мокрой от пота груди, внушительно проглядывавшей из расстегнутого ворота старой солдатской гимнастерки, так что звон пошел, – а насчет этого ящика ты, пожалуй, даже перещеголял отца.

Михаил заулыбался, закрутил запотевшей на солнце головой.

– Учти, председатель, такого богатыря в других колхозах у нас нема.

Подрезов сказал это не без умысла, он любил и умел похвалить нужного человека. Молодежь в колхозах после войны не держалась, а если и попадались где изредка парни, то их не скоро и от подростков отличишь: худосочные, мелкорослые, беззубые – одним словом, военное поколение.

Михаил Пряслин тоже был с военными отметинами. Лоб в морщинах-поперечинах – поле распаханное, не лоб. Карий глаз угрюмый, неулыбчивый – видал виды… Но все это замечаешь, когда хорошенько всмотришься. А так – залюбуешься: дерево ходячее! И сила – жуть. Весной на выгрузке по два мешка муки таскал, а один раз, на похвал, – Лукашин сам видел – даже три поднял.

Подбодрив Михаила словом, Подрезов пошел к жатке, чтобы самому сделать круг. Это уж обязательно, это его правило: не только перекинуться словом с рабочим человеком, но и залезть в его, так сказать, рабочую шкуру. Хотя бы на несколько минут. Тем более что Подрезов все умел сам делать: пахать, сеять, косить, молотить, рубить лес, орудовать багром, строить дома, ходить на медведя, закидывать невод. И надо сказать, людей это завораживало. Лучше всякой агитации действовало.

Так было и сейчас.

Объехав два раза поле, Подрезов остановил лошадей возле Лукашина и Михаила, слез с жатки, растер руки – надергало с непривычки вожжами.

– Ничего колымага идет, – сказал он, кивая на жатку. – Сколько даешь?

– В день? – спросил Михаил. – Гектара три.

– Мало, сказал Подрезов. – Четыре можно.

– Ну да, четыре, – недовольно фыркнул Михаил и заговорил с секретарем как равный с равным. – Больно жирно! Сколько тут одних переездов, поломок!..

Подрезов и не подумал обижаться. Когда речь заходила о работе, он не чинился. Наоборот, любил, чтобы с ним спорили, возражали, доказывали свою правоту.

– Ты знаешь, на чем проигрываешь? Круги маленькие делаешь. Заворотов много.

– Ерунда! Как большие-то круги делать, когда тут кругом межи да пни?

– А вот это уж председателя надо за штаны брать. Долго ваши пни выкорчевать? Видимость одна. Когда тут расчистки делали? Лет тридцать – сорок?

Лукашин мог на это возразить: до корчевки ли теперь здесь, на Копанце, когда у них рядом, под боком, зарастают кустарником поля? Но Подрезов уже пошагал к шалашу.

Шалаш стоял на открытой веселой поляне, под пушистой елью, густо осыпанной розовой, налитой смолой шишкой. Крыша двойная: и собственное перекрытие, и сверху еще навес из еловых лап. Никакой дождь не страшен.

Отмахиваясь от комарья. Подрезов заглянул в шалаш, выстланный свежим сеном.

– Тут ночуешь?

– Иной раз тут, – ответил Михаил. – Коней-то не все равно за пять верст гонять.

Подрезов кивнул на Тузика, не спускавшего с него глаз, – казалось, и тот разбирался, кто тут главный.

– Ну, с таким зверюгой не страшно. У тебя все в порядке? – И сразу же предупредил: – Насчет фуража не говори. Мне и Анфиса всю плешь переела. Да и вообще сам знаешь: пока первую заповедь не выполним, никакой речи быть не может.

Михаил, казалось, проникся государственной озабоченностью хозяина района по крайней мере, принял его слова как должное.

– Ну так что же? Есть ко мне вопросы? – повторил Подрезов.

Михаил поглядел на Тузика, зажавшего меж лап берестяное корытце, из которого его кормили, покусал губы: что бы такое спросить, чтобы и Подрезова не поставить в неловкое положение и чтобы в то же время было важно для него, Михаила?

Вспомнил!

– Да, вот что, Евдоким Поликарпович! У меня тут сопленосые – братишки, значит, натворили… Помните, еще в училище ремесленное помогали мне их устраивать?

– Помню. Как же!

– Ну дак не знаю, что теперь с ними. Тут недавно домой прибежали. Вишь, по этому шпингалету соскучились… – Михаил кивнул на Тузика. – Не видали, без них завел. Ну, я, конечно, дал им задний ход, сразу отправил. А вот письма нету больше недели. Может, уже отчислили?

– Ладно, вернусь с Сотюги – позвоню в обком. Там поговорят с кем надо. Думаю, все будет в порядке. – И Подрезов крепко, по-бульдожьи сомкнул челюсти, словно зарубку у себя в голове сделал.

Михаил до самой канавы провожал их.

Уже выехав на дорогу, Лукашин оглянулся назад. Михаил все еще стоял на берегу Копанца, высокий широкоплечий, с ног до головы вызолоченный мягким августовским солнцем, и улыбался.

2

Самый красивый бор, какой знал Лукашин на Пинеге, это Красный бор. Между Копанцем и Сотюгой.

Лес – загляденье: сосняк да лиственница. Это со стороны Пинеги. А на север от дороги, там, где посырее, – ельник, пекашинский кормилец.

Всего полно в этом ельнике. В урожайные годы грибов да ягод – лопатой греби. В прошлом году, например, Лукашин с Анфисой на каких-нибудь пять-шесть часов выезжали, а привезли домой ушат солех, ушат брусники да корзину обабков.[7]

Само собой, была на этом бору и дичь. Осенью, когда по первому морозцу едешь, то и дело вспархивают стайки пугливых рябчиков, а иногда, случается, и самого батюшку глухаря поднимешь – просто пушечный выстрел раскатится по гулкому лесу.

Но самое удивительное, самое незабываемое, что видел на этом бору Лукашин, – олени.

Было это два года назад. Он возвращался домой с Сотюги, с покосов, рано утром, когда только-только поднималось над лесом солнце. Спал он в ту ночь мало, от силы часа три, и ехал шагом, дремля в седле. И вдруг какой-то шорох и треск в стороне от дороги.

Он поднял отяжелевшую ото сна голову, и у него перехватило дух – алые олени. Летят во весь мах к нему по белой поляне и солнце, само солнце несут на своих ветвистых рогах…

Олени эти оказались вещими. Дома, когда он подъехал к крыльцу, его встретила Анфиса

неслыханной радостью: у них будет ребенок.

До войны такие боры, как Красный, шумели по всей Пинеге. А война и послевоенная разруха смерчем, ветровалом прошлись по ним. Стране позарез нужен лес, план год от году больше, ну и что делать? Как не залезть с топором в приречные боры, когда и древесина тут отборная и вывозка – прямо катай в реку?

Выжить Красноборью в эти тяжкие времена, как это ни странно, помогла его бесхозность и ничейность. Дело в том, что на Красный бор издавна претендовали две деревни – Пекашино и Водяны. Одно время, чуть ли не сразу после революции, бор принадлежал водянам – деревня их тут рядом, за рекой. Потом Красноборьем снова сумели завладеть пекашинцы. Да не просто завладеть, а на этот раз закрепить свои права в государственном акте о колхозных землях.

"Не согласны!" – сказали несговорчивые водяне и, не долго думая, послали бумагу прямо в Москву.

И вот это-то бесхозное положение Красного бора и отводило от него до сих пор топор. Иной раз, кажется, уже все – капут красноборскому сосняку, а потом вдруг вспомнят про бумагу, которая где-то по Москве гуляет, – и ладно, давай поищем что-нибудь другое.

У Лукашина улыбка заиграла, как только они въехали в бор: сразу два белых гриба. Красавцы такие в беломошнике возле самой дороги стоят, что хоть с лошади слезай.

– Надо будет на обратном пути прочесать немножко этот лес, – кивнул он Подрезову.

Подрезов не ответил. Его тяжелое, массивное лицо, еще недавно такое живое и веселое, сейчас было хмуро и мрачно, как озеро, на которое вдруг налетел сиверко.

Что ж, подумал Лукашин, Сотюжский леспромхоз (а он был не за горами) – это и есть для первого секретаря сиверко. План по лесозаготовкам не выполняется второй год, рабочая сила не задерживается, строительство железной дороги – сам черт не поймет, что там делается… А кто в ответе за все? Первый секретарь.

Когда за рекой на угоре засверкали белые крыши новых построек сотюжского поселка, Подрезов, не оборачиваясь (он ехал впереди), направил своего коня к перевозу, и в этом, конечно, ничего особенного не было: как же хозяину не заскочить на такой объект? Ведь и он, Лукашин, не проехал мимо Копанца. Но почему не сказать, не предупредить его, как это водится между товарищами? В конце-то концов не на бюро же райкома они! И Лукашин, сразу весь внутренне ощетинившись, съязвил:

– Показательные работы здесь тоже будут?

Подрезов покачал головой:

– Нет, показательных работ здесь не будет. – Потом помолчал и со свойственной ему прямотой признался: – В этом-то вся и штука, что я не могу здесь показательные работы развернуть. Там, где бензин, я пасую. Я только в тех машинах разбираюсь, которые от копыта заводятся. Понял?

Они переехали вброд за Сотюгу, медленно поднялись в гору.

Бывало, когда тут заправлял еще Кузьма Кузьмич, у самой речки встречали самого – каким-то нюхом угадывали приезд. А сейчас директор леспромхоза вышел к ним только тогда, когда они подъехали к конторе и слезли с лошадей.

Вышел молодой, самоуверенный, светловолосый, и никакого заискиванья, никакой суеты. Лукашин оказался к нему ближе, чем Подрезов, и что же – обошел его, к первому секретарю кинулся? Ничего подобного! Сперва его руку тиснул, а потом уже протянул хозяину.

Инженер Зарудный сейчас был самым популярным человеком в районе. О нем говорили повсюду – на лесопунктах, в райцентре, в колхозах. Во-первых, должность. Шутка сказать – директор первого механизированного леспромхоза в районе, предприятия, с которым связано будущее всей Пинеги. А во-вторых, он и сам по себе был камешек, из которого искры сыплются.

Три директора было на Сотюге до Зарудного, и все три ходили навытяжку перед Подрезовым. А этот, сосунок по годам, два года как институт окончил – и сразу зубы свои показал.

Вызвал его однажды Подрезов к себе на доклад да возьми и уйди на заседание райисполкома. И вот Зарудный посидел каких-то полчаса-час в приемной, а потом вырвал листок из блокнота, написал: "Товарищ первый секретарь! У меня, между прочим, тоже государственная работа. А потому прошу в следующий раз назначать время точно".

Записку передал помощнику Подрезова, а сам, ни слова не говоря, обратно. На Сотюгу.

Конечно, выкинь такой номер кто-нибудь другой, из своих, местных, Подрезов устроил бы ему сладкую жизнь. Но что сделаешь с человеком, которого прислали из треста? Прислали специально для того, чтобы поставить на ноги Сотюжский леспромхоз.

– Ну как ты, со мной пойдешь или к своим заглянешь? – спросил Подрезов Лукашина.

Судя по тону, Подрезову явно не хотелось, чтобы он присутствовал при его разговоре с директором леспромхоза.

И Лукашин сказал:

– Пожалуй, к своим.

– Добре. Тогда в твоем распоряжении полтора часа.

3

Лукашин не был в поселке на Сотюге больше года и теперь, идя по нему с лошадью в поводу, просто не узнавал его. Развороченный муравейник! Все разрыто, везде возводятся новые дома, ремонтируются и отстраиваются старые. Стук и грохот топоров, десятков четырех, не меньше (не то что в Пекашине!), заглушал даже звон молотков и наковален в кузнице, а она стояла сразу за поселком, возле ям с водой, из которых когда-то брали глину.

Илья Нетесов выбежал из кузницы, когда Лукашин еще и людей-то в ее багряных недрах как следует не разглядел. Выбежал в парусиновом, до блеска залощенном фартуке – и с ходу обнимать.

Раньше Илья жил неподалеку от кузницы в просторном брусчатом домике, а сейчас привел его в какую-то живопырку, где размещалась не то кладовка, не то сушилка.

Тесень была страшная, и, наверно, поэтому ребята – два диковатых черноглазых мальчика и девочка – кувыркались на широкой железной кровати, которая занимала почти всю комнату.

Лукашин полюбопытствовал:

– За какие это грехи ты в немилость попал?

Илья заморгал своими добрыми голубоватыми глазами – не расслышал.

– За что, говорю, тебя в такую каталажку закатали?

– А-а, нет, не закатали. Это у нас уплотнение теперь по всем линиям. Я-то еще хорошо. А есть по две, по три семьи вместях. Сам директор в конторе живет.

– Да ну?!

– Так, так. Видишь, навербовали людей отовсюду – с Белоруссии, с Украины, со Смоленщины, а жилья не подготовили. Сам знаешь, много ли у нас бараков. Тесень, тесень… В бане уж которую неделю не моемся – и там люди живут. А многие в соседних деревнях приютились – мотаются взад-вперед. Не продумали. С самого начала леспромхоз на живу нитку тачали…

– А почему? – Лукашину давно хотелось хоть немного разобраться в сотюжских делах, о которых теперь даже в областной газете пишут.

– А потому, перво-наперво, – начал с обычной своей рассудительностью объяснять Илья, – что леспромхоз затеяли, а леса вокруг вырублены. Значит, выход какой – железная дорога. А она у нас еще на десятой версте…

– Ну, а как новый директор?

– Евгений-то Васильевич?

Илья и тут подумал – не из тех, кто попусту сорит словами.

– Характеристику со всех сторон не дам, меньше году человек работает. Да и часто ли его я вижу из своей кузницы? Ну, а против прежних директоров – чего говорить? Голова. Все знает, во всем разбирается. Трактор, к примеру, поломался – механики копаются-копаются, все ничего, покуда директор сам не возьмется. Ну и об людях заботу имеет. Мы тут до него месяцами зарплату не получали, банк все какие-то тормоза ставил как предприятие, не выполнивши план, а Евгений Васильевич живо порядок навел. И в столовой с кормежкой получше стало…

С улицы донеслось тревожное ржанье и перебор копыт. Лукашин высунулся из открытого окошка, погрозил неуемным бесенятам Ильи, которые, конечно же, вились вокруг Тучи, привязанной к сосне.

– А я про самовар-то и забыл, – спохватился вдруг Илья, но Лукашин наотрез отказался от чая и снова стал пытать Илью про сотюжское житье-бытье.

– А я думаю, ежели Евгений Васильевич по молодости не сорвется да кое-кто не обломает ему рога, дело будет.

Лукашин вопросительно скосил глаз:

– А кто ему может обломать рога? Подрезов? Да, скучать нам, кажется, не придется. Ну, а сам-то ты как, Илья Максимович? Не раздумал насчет переезда?

– Нет, решено – на зиму домой. В думках-то хотел еще к уборочной, да, вишь, Зарудный, Евгений Васильевич, стал упрашивать: постучи, говорит, еще недельки две в кузнице…

Лукашин, кажется, впервые за все время, что сидел у Ильи, вздохнул полной грудью. Его всегда занимали сотюжские дела, он с неподдельным интересом расспрашивал Илью про молодого директора, но если говорить начистоту, то затаенная мысль его все время, пока они разговаривали, вертелась вокруг самого Ильи: не передумал ли? Вернется ли в Пекашино? И дело было не только в том, что Илья – кузнец каких поискать. У Лукашина во всем Пекашине не было человека ближе его. Первая опора во всяком деле. Уж на него-то можно положиться. Не за Петром Житовым пойдет – за ним.

Все же Лукашин решил прямо и честно предупредить Илью:

– Не знаю, Илья Максимович, может, тебе и не стоит спешить. Леспромхоз против колхоза – сам знаешь…

Илья ничего не ответил. Он только тяжело вздохнул и посмотрел в красный угол, туда, где у верующих висят иконы. У него там висела увеличенная фотография покойной дочери. Под стеклом, в еловом веночке, перевитом красной лентой.

Лукашин обвел глазами другие стены.

– Нету Марьиной карточки, сказал Илья. – Всю жизнь прожила, а так ни разу и не снялась…

Да, подумал Лукашин, вот она, жизнь человеческая. Будет, будет сытно в Пекашине, обязательно будет, может, рай даже будет. А только будет ли счастлив в этом раю Илья Нетесов? Без Вали, без жены…

– Ну, ладно, Илья Максимович, завтра к вечеру буду в Пекашине, зайду к твоим на могилы. Что передать?

Илья опять ничего не ответил.

Глава десятая

1

Веселая, речистая река Сотюга.

Ясным страдным вечером едешь – заслушаешься: на все лады поют, заливаются пороги. А сегодня сколько километров отмахали – и полная немота. Захлебнулись пороги. Начисто. Как в половодье.

– Может, повернем обратно? – сказал Лукашин. – Какая уж рыбалка в такую воду…

Подрезов вместо ответа огрел коня плеткой.

Они гнали вовсю. До Рогова, старых лесных бараков, где их ждала лодка и сетки, оставалось еще километров восемь, а солнце уже садилось – красной стеной возвышался на той стороне ельник.

– Поедем мысами, – предложил Подрезов, когда впереди на голой щелье замаячила сенная избушка. То есть той дорогой, которой в страду ездят косари, – вдвое ближе.

Лукашин махнул рукой: согласен. Правда, ехать мысами – значит, раз десять пропахивать вброд Сотюгу, но что делать? Ведь если они и смогут добраться до Рогова засветло (а в темноте там и лодки не найти), то только этим путем.

Первый брод – под Еськиной избой – проскочили легко, только воду взбурлили, за второй тоже не плавали, а под Лысой горой едва не утонули. И все, конечно, из-за упрямства Подрезова.

Лукашин ему доказывал: выше брод, у черемушника, там, где две колеи сползают в речку, а Подрезов – нет и нет, везде под Лысой горой брод.

Коня вздыбил, на стремена привстал – Чапай да и только, – а через минуту пошел пускать пузыри, в самую яму втяпался.

– Ноги, ноги высвобождай! – заорал что есть силы Лукашин и, ни секунды не раздумывая, кинулся на помощь.

Деликатничать было некогда – он схватил первого секретаря за шиворот и просто стащил с коня.

После этого Мальчик быстро выбрался из ямы, а кобыле Лукашина пришлось туго: двух человек вытаскивала одна.

О том, чтобы ехать дальше, не могло быть и речи: вымокли до нитки, и надо было немедля разводить костер.

На их счастье, дрова разыскивать не пришлось: березовый сушняк белым частоколом стоял в покати холма, напротив брода. А вот насчет огня хоть караул кричи. Спички у обоих превратились в кашу, изба сенная, где наверняка последними ночлежниками по обычаю Севера оставлен коробок со спичками, за рекой.

Снова стали перебирать и выворачивать карманы, и вот повезло – у Подрезова в пиджаке оказалась светленькая зажигалка: давеча, когда ехал в Пекашино, взял у шофера из любопытства – новая, – да и сунул по рассеянности к себе в карман.

Руки у обоих ходили ходуном, стучали зубы – от сырости, от вечернего холода, а еще больше от страха: а вдруг и зажигалка подведет.

Нет, есть, есть Бог на свете: проклюнулся огонек. С первого щелчка.

Подрезов прямо в руки Лукашина – он пытал счастье – начал совать берестяные ленточки, и скоро забушевал огонь.

Первым делом они просушили одежду – наверно, целый час два голых мужика скакали вокруг жаркого костра в алом березовом сушняке, – потом принялись за обогрев изнутри. Крутым пуншем – полкружки горячего, с огня, чая и полкружки водки.

Подрезов мало-помалу стал приходить в себя. Еще недавно белое, как береста, лицо его раскалилось докрасна. Громовые раскаты появились в голосе.

– Жалко, что здесь застряли, сказал он. – А то бы мы сегодня с рыбой были.

– А по-моему, нечего жалеть, – возразил Лукашин. – Кто по такой воде за рыбой ездит?

– Вот именно что по такой. Курью под Роговом знаешь? Старое речище? Ну дак в такую воду,

как нынешняя, рыба просто лезом лезет в эту курью. На зеленку. Ты только сетью горло перегороди – и вся с тебя забота.

В вечернем тумане на мысу задорно и чисто вызванивал подзвонок, который Лукашин перед выездом из поселка повязал своей кобыле, урчала и причмокивала вода в Сотюге, потом вдруг над их головой со свистом разорвался воздух похоже, утиная стая пронеслась мимо.

Лукашин с живостью поднял голову, посмотрел на розовый от костра круг в черном небе, а Подрезов не пошевелился. Сидел грузно на коряге, помешивал палкой в огне: должно быть, все еще не мог примириться с постигшей их неудачей.

Лукашин дососал подсушенную на огне папироску, встал. Ночь предстояла длинная, холодная, и надо было сходить за сеном: рискованно в такое время на голой земле лежать.

2

Стог был поблизости, за кустарником справа (тут, на Сотюге, Лукашин был как у себя дома), и он быстро обернулся.

Подрезов все так же сидел, склонившись над огнем, но без рубахи, точь-в-точь как солдат на фронте, когда того донимала шестиногая скотинка.

Лукашин пошутил, бросая на землю охапку сена:

– У нас сегодня по всем линиям война…

– Тебе весело, да? А у меня по всему телу красные пятна. – Подрезов вдруг смутился и начал натягивать на себя рубаху. – Иной раз бюро, пленум, надо мозгами ворочать, а я как в огне. Мне кричать, драться хочется, все крушить к чертовой матери…

– А медицина что?

– Медицина… Медицина, известно: надо солнце, надо морские купанья, спокойную жизнь… В позапрошлом году я был на курорте – год человеком жил, а нынче разве выберешься…

Над костром огромным снопом взметнулись искры – это Подрезов сгоряча бросил в огонь целый березовый кряж.

После молчания он вдруг сказал:

– А в общем-то, я обманщик… Права твоя Анфиса…

– Чего права? Это ты все насчет того давешнего разговора? Брось! Мало ли чего наскажет пьяная баба…

– Нет, – покачал головой Подрезов, – правильно она сказала. Накормить людей досыта – это всем задачам задача. Посмотри ведь, что у нас делается. Подрезов начал загибать пальцы. – Сорок первый, сорок второй, сорок третий, сорок четвертый, сорок пятый… Четыре года войны… да шесть после войны… Итого десять лет. Десять лет у людей на уме один кусок хлеба…

Лукашину теперь понятно стало, почему так мрачен сегодня первый секретарь. Не только, оказывается, из-за Сотюжского леспромхоза, который камнем висит у него на шее, но и из-за того разговора, который у них был перед поездкой на Сотюгу.

Он подбросил сена Подрезову – садись по-человечески! – сказал:

– Так будем хозяйничать, еще десять лет не накормим.

– А ты, между прочим, тоже хозяин. Почему плохо хозяйничаешь?

– Я хозяин? Ну-ну! Видал ты такого хозяина, который за одиннадцать копеек валенки продает, а они ему, эти валенки, обошлись в рубль двадцать? А у меня молоко забирают – так за одиннадцать копеек, а мне оно стоит все два рубля.

– А кто у тебя забирает-то? Государство?

– Ты меня на слове не имай! – Лукашин рывком вскинул голову. – Ну и государство. А что? Ленин после той, гражданской, войны как сказал? Надо, говорит, правильные отношения с деревней установить, не забирать у крестьянина все подряд…

– Так, сказал сквозь зубы Подрезов. – Еще что?

– А уж не знаю что, – отрезал Лукашин. – Только по-старому нельзя. К примеру, меня взять… хозяина… – Лукашин натянуто усмехнулся. – Я ведь только и знаю что кнутом размахиваю. Потому что, кроме кнута да глотки, у меня ничего нет. А надо бы овсецом, овсецом лошадку подгонять…

– Да так-то оно так, – промычал неопределенно Подрезов и поглядел по сторонам.

И Лукашин поглядел. Жутковато было – непривычные речи говорили они. А с другой стороны, думал Лукашин, кого бояться? Ночного ельника, лошадей, которые то и дело пучили на них из розового тумана свой огромный лошадиный глаз, костра?

Костер пылал жарко. Он заражал своей яростью. А потом, полезно, черт побери, первому секретарю знать, о чем думает народ. В Пекашине уж который год про это говорят. И тут хочешь не хочешь, а закрутишь шариками, полезешь в красные книжки сверять сегодняшнюю жизнь с Лениным…

– На брюхе плохая экономия, – сказал Лукашин. – Да и какой, к дьяволу, голодный – работник! У нас, бывало, в деревне Иван Кропотов… Кулак… Но в экономике толк понимал, будь здоров! Так он что говорил своей женке, когда утром вставал? Скупая, жадная была баба! "Корми работников досыта". Это у него первый наказ с утра был. Потому как понимал: сытый работник горы своротит, а от голодного один убыток…

– Все правильно, – сказал Подрезов, – но ты не забывай, что у нас война была.

– Ну, войну не забудешь, даже если бы захотел. Об этом, по-моему, нечего беспокоиться.

Лошади подошли к самому огню.

Лукашин схватил какую-то хворостину, замахнулся на них.

– Медведя, наверно, чуют, сказал Подрезов. – Тут, на Сотюге, их полно, а теперь темные ночи пошли – самое им раздолье. А я, знаешь, первого медведя когда убил? В двенадцать лет. Вернее, не я убил, а дедко меня капкан взял смотреть…

На севере любят рассказывать всякие были и небывальщины про медведей, и Лукашин любил их слушать, но сейчас он не поддержал Подрезова. Сейчас ему было не до медведей. У него все

так и ходило, и кипело внутри. Шутка сказать такой разговор завели!

Они долго молчали, оба уставившись глазами в костер.

Наконец Подрезов сказал:

– М-да-а… Разговорчики у нас… Ели и те, наверно, головой качают… Потом встал, секретарским голосом подвел черту: – Ладно, хватит ели да березы пугать. Давай лучше еще по кружечке чайку дернем – и спать, раз уж мы здесь застряли.

3

Утром встали на рассвете.

Туман. Костерик чадит еле-еле. Лошадиные морды устало смотрят на них из тумана – должно быть, и в самом деле где-то поблизости разгуливал ночью медведь.

Сходили на речку, сполоснули лицо, навесили чайник.

Все время молчавший Подрезов заговорил после выпитой кружки чая:

– Есть предложенье заняться делом, а свиданье с рыбой отложить до следующего раза. Не возражаешь?

– Нет, – сказал Лукашин.

– Тогда я поеду в леспромхоз. Этому молокососу пора дать по рукам.

– Кому? Зарудному?

Подрезов вместо ответа спросил:

– А ты что намерен делать?

– Мне на Синельгу надо. К сеноставам.

– Добре. – Подрезов помолчал немного, посмотрел на Сотюгу, где в белесой толще тумана всходило багряное солнце. – А на то, что говорили ночью, наплевать. Понятно? А то с этой мутью в голове далеко не уедешь…

Тут он первый раз за утро взглянул прямо в глаза Лукашину. Потом покусал-покусал губы и начал топтать мокрыми сапогами костерик, который и без того дышал на ладан. Мало этого. Будь его воля, он наверняка бы и ели, и березовый сушняк, свидетелей ихнего ночного разговора, растоптал. Во всяком случае, так подумалось Лукашину, когда он увидел, как Подрезов, тяжело, со свистом дыша, своим разгневанным оком водит по сторонам.

Он уехал не попрощавшись. В утренней росяной тиши гулко рассыпалась дробь лошадиных копыт, а Лукашин, опустив голову, еще долго смотрел на чадившие у его ног головешки – остатки ночного костра.

Глава одиннадцатая

1

Тузик извел его за эти дни – с раннего утра до позднего вечера надрывается в кустарнике, в озеринах.

Поначалу Михаила это забавляло и даже радовало: хорошая собака будет, а он, Михаил, с детства мечтал об охоте…

Однако вскоре это безмерное усердие щенка встало ему поперек горла. Никакой работы! Только сядешь на жатку, только приладишься, лошадей направишь – слезай. Тузик залаял. И бесполезно звать, подавать свист: до тех пор будет глотку драть – все равно на кого: на ворону, на корову, случайно забредшую на Копанец, на лося, вышедшего на водопой, – пока хозяин не подойдет.

Вот и сегодня раз пять Михаил шлепал к дуралею, делал внушения – не помогло: опять принялся за свое.

– Тузко, Тузко ко мне!

Лай в ольшанике, там, где были остатки старых переходов за канаву, не смолк. Наоборот, он разгорелся еще пуще.

Михаил, зверея, соскочил с жатки, на ходу выломал здоровенную черемуховую вицу – ну, задам я тебе сейчас, гаденыш! А когда подошел совсем близко, вдруг почувствовал себя охотником. Пригнулся, ногу на носок, а потом и того больше: затаил дыхание, осторожно раздвинул кусты, скользнул прищуренным глазом по прыгающему внизу черно-белому клоку шерсти, зыркнул туда-сюда и едва не расхохотался: Райка.

Стоит на той стороне у переходов, смотрит как завороженная на скачущую у своих ног собачонку и ни с места.

– Рай, какими судьбами? А ну, брысь ты, окаянный! Перейдешь сама?

Раечка в один миг перемахнула к нему, вспыхнуло на солнце красное, в белую полоску платье. И духами вокруг запахло. Это уж завсегда. Бывало, зимой встретишь – вкусно, будто первым июльским сенцом тебя опахнет.

Михаил заглянул в берестяную коробку на ее полной загорелой руке – ни одного гриба, посмотрел на босые ноги – так не приходят на поле снопы вязать.

Раечка сама объяснила причину своего внезапного появления в его лесном царстве:

– Пестроху ищу… Где-то корова у нас запропала…

– А-а, то-то же! – улыбнулся Михаил. – А я уж было подумал, не рыжики ли солить пришла? – На местном языке это означало целоваться.

Он был доволен собой: ловко сострил.

– Ну что – в гости ко мне пойдем, так?

Тузик первый построчил к шалашу, а Михаил за ним. И вот пока одолел пеструю, в белой ромашке полянку, спустил с себя семь потов. И не от жары, нет. А оттого, что какая-то муха укусила его – начал для Раечки торить дорогу. Шел и старательно уминал своими тяжелыми кирзовыми сапогами траву на тропинке, как будто и в самом деле не деревенская девка к нему

в гости идет, а какое-то неземное, сказочное диво.

Чайник с водой стоял у него в холодке за шалашом, под ватником, и он осушил его наполовину – до того у него вдруг пересохло в горле.

– Не хошь? – предложил своей гостье.

Раечка покачала головой.

– Верно. Вода не вино – много не напьешь… А Пестроха-то у вас когда потерялась? Такая смирная корова…

– Вчерась…

– А отец тоже ищет?

– Ищет…

– А у пастухов-то спрашивали?

– Спрашивали…

– И поля перед Копанцем обшарили? Там коровы любят шлендрать…

Тьфу! – вдруг выругался про себя Михаил. Он старается, старается, с той стороны зайдет, с другой, а она все «да» да «нет». Уж ежели не о чем говорить, то хотя бы рассказала, что в деревне делается. Он два дня не выезжал с Копанца.

Нащупав рукой пачку «Звездочки» в кармане, он вытащил папиросу, сел в тень возле шалаша, стал разминать ее пальцами.

– Садись. Я еще не медведь – не ем заживо.

Раечка не села – только с ноги на ногу переступила.

Он скошенным взглядом обежал ее полные красивые ноги с налипшими мокрыми травинками, воровато, ящерицей юркнул под подол.

Захмелевшее воображение живо дорисовало то, что скрывал от глаза ярко-красный ситец, но он владел собою. До тех пор владел, покуда не напоролся взглядом на крутые, торчмя торчавшие груди. А тут обвал произошел, все запруды и плотины лопнули в нем, и он с быстротой зверя вскочил на ноги.

Раечка не сопротивлялась, и даже когда он опрокинул ее на землю, не стала отпихивать его – только отворачивала от него лицо, как будто и в самом деле что-то решал сейчас поцелуй.

Он выпустил ее из рук – какого дьявола обнимать мертвую колоду! И к тому же запрыгал и забесился Тузик – нашел время свое усердие хозяину выказывать.

– Вставай! – зло прохрипел Михаил. – Я еще в жизни никого нахрапом не брал.

Раечка встала, пошла, как большая побитая собака. Даже не отряхнулась и ворот платья не застегнула.

– Коробку-то забыла!

Раечка обернулась, слезы светлыми ручьями катились по ее побледневшим щекам – только этого и не хватало, – потом вдруг схватилась руками за голову и побежала. По той самой тропинке, которую он еще каких-нибудь полчаса назад старательно мял для нее.

Тузик с лаем бросился за ней.

– Тузко, Тузко, не смей!

Тузик нехотя повернул назад, а он смотрел-смотрел на большое мотающееся тело на тропинке, на алую ленту в темно-русых волосах и вдруг все понял: да ведь это для него, болвана, надела она и праздничное красивое платье и вплела алую ленту в волосы – кто же в таком наряде ищет корову в лесу!

– Рай, Рай, постой!

Он догнал ее уже у переходов, крепко обнял и тотчас же почувствовал увесистую пощечину.

– Рай, Рай…

А может, и в самом деле это его рай? – пришло ему в голову. Чем худа девка!

– Рай, Рай… – Он с радостью, с каким-то неведомым раньше наслаждением называл ее так. – Потерпи немножко. Вот развяжемся малость с полями, и я к тебе по всем правилам… Со сватами… Хочешь?

2

– Но, но! Давай, давай! Пошевеливайся!

Ликующий голос Михаила звучно, как весенний гром, раскатывался по вечернему лесу. Лошади бежали – цок-цок-цок: умята, утоптана высохшая дорога не то что три дня назад, когда он нырял со своей жаткой в каждой рытвине. А ему все казалось – тихо, и он, привстав на ноги, постоянно крутил над головой сложенными петлей вожжами.

Тузик строчил рядом с жаткой, задрав хвост. Рад, дурак. А чего ему-то радоваться? Не все ли равно, где глотку драть. На Копанце даже лучше. Дома заулок, от передних воротец до задних – и все твое царство, а на Копанце просторы – ай-ай! И дичь – не старуха, проковылявшая мимо дома по дороге, а в перьях, в меху. Да, есть уже у Тузика одна белка на счету: облаял давеча днем, когда та вышла на водопой к Копанцу.

Нет, уж если кому радоваться, то радоваться ему, Михаилу. Во-первых, отмытарил на Копанце – это всегда праздник, а во-вторых, даешь новую жизнь! Хватит, поколобродил он за свои двадцать два года. Пора и на прикол вставать. А чего ждать? Кого еще искать?

Его любили и бабы, и девки, и он из себя монаха не строил. Но такого еще у него не было – чтобы вот так, среди бела дня, пришла к нему девка. Сама! Да еще девка-то какая!

Лошади бежали – тра-та-та, сыроег, маслят возле дороги навалом. Гнездами, ручьями красными и желтыми разбежались. Вот когда пошли по-настоящему – когда землю солнышком прогрело. А по угорам меж осин бабы красные шали развесили: брусника крупная, сочная, с ребячий кулак кисти.

Да, в этом году он пойдет за красными[8] с Раечкой. Да и вообще – зачем было отпускать ее вчера? Какого лешего в прятки играть, раз все решено! Вот бы и не выл он сегодня всю ночь напролет. А то ведь до самого рассвета не смыкал глаз. Лежал в шалаше и перемигивался со звездами…

Мимо, мимо летят телеграфные столбы, сверкают на солнце зеленые и белые чашечки изоляторов… Эх, и побито же было этого добра в свое время, когда он с мальчишками пас коров! Самое это любимое занятие у них было – сбить камнем чашечку с телеграфного столба…

А вот и столица нашей родины, как любил, бывало, говорить Егорша, когда они подъезжали к Пекашину, – красный глиняный косик в году, а на горе знакомый аккуратненький домик…

Лошади выбежали к искрящейся на вечернем солнце Синельге, жадно потянулись к воде.

Михаил спрыгнул с железного сиденья, пошел, буравя ногами светлый ручеек, спускать у лошадей чересседельник и вдруг словно споткнулся: дым. Дым над крышей Варвариного дома…

Нет, дым был у Лобановых. От бани, которая стоит на задворках, в покати.

Но что перечувствовал, что пережил он, пока рассеялся его обман!

Все вспомнил. Вспомнил, как белыми ночами ездил к Варваре с Синельги, вспомнил, как под прикрытием ночного тумана крался к ее дому, карабкался по углу на поветь-сеновал, жадно иссохшими губами припадал к ее сочному податливому рту…

И еще бог знает почему вспомнил, как провожал вчера на Копанце Раечку. Перевел по переходам за канаву, подмигнул как-то по-дурацки, по-Егоршиному, и помахал рукой. Ну разве так бы он прощался с Варварой!

Михаил поехал не по деревне – болотницей: хуже всякой пытки проезжать сейчас мимо Варвариного дома.

3

… Что такое? С задворок, от воротец вся семья бежит к нему навстречу: матерь, Лизка, Татьяна… Однако Федюхи не видно. Может, с ним, с бандитом, какая беда стряслась?

– Ну, слава Богу, дождались, – запричитала мать. – А малого-то не видел?

Михаил терпеть не мог паники. Он завернул лошадей на лужайке возле воротец – тут всегда стоят у него в страду косилка и жатка, когда он дома, – слез с сиденья и только тогда спросил:

– Чего у вас? Где я должен видеть малого?

– Миша! Миша! – со слезами бросилась к нему Лиза. – Татя болен. Мы за тобой только что Федюху верхом послали… По деревне поскакал…

Вот теперь уже кое-что ясно.

– Где он? – спросил четко.

– Татя-то? Да на Синельге, у своей избы… Один… Который уж день…

– Порато, порато болен. Иван Митриевич только вот приехал…

Михаил с яростью зыркнул на сестру, на мать: всегда вот так! Начнут молотить обе сразу – ни черта не поймешь.

Полную ясность, как всегда, внесла Татьяна – даром что девчонка:

– Иван Дмитриевич только что с Синельги приехал. Приезжаю, говорит, к избе – где старик? А старик в сенцах лежит – пошевелиться не может. Левая половина отпала. Дак я, говорит, в избу затащил, а теперь пускай Михаил за ним едет…

Михаил все-таки ничего не понимал: почему старик на Синельге? Как туда попал?

– Я, я виновата… – зарыдала Лиза. – Ведь я-то знала, что его нельзя было отпускать…

– А раз знала, дак за каким дьяволом отпустила?

– Да как не отпустишь-то? Тот письмо прислал – мы с татей с ума сошли…

– Кто – тот? Какое письмо?

Лиза спохватилась, заширкала носом, запоглядывала по сторонам, но разве скроешь от своего брата? Давясь слезами, призналась:

– Тот… Егорша письмо прислал… В армии хочет остаться…

Мать завсхлипывала – и она ничего не знала про Лизкино горе.

Михаил рявкнул – как кнутом стеганул. Потому что ежели распуститься с ними, вой поднимут на всю улицу.

– Мати! На конюшню! Сани запряги. (На телеге на Синельгу не попадешь.)

– Да есть сани. Я уж схлопотала…

Михаил начал распрягать лошадей, попутно отдавая распоряжения:

– Веревку несите. Да одежонку какую. Живо! Чего стоите? Не за бревном – за человеком еду.

Он торопился. Солнце уже садилось за крыши, а до Синельги самое малое час трястись. Ну разве есть время слезы точить да причитать?

Глава двенадцатая

1

В эту ночь Лиза не сомкнула глаз и на минуту.

Сперва, вернувшись со скотного двора, мыла пол в избе – хотелось, чтобы больной свекор попал в чистоту (старик любил опрятность), – потом стала перебирать его постель да увидела клопа на стене возле кровати – начала лопатить весь стариковский угол. Все перемыла, перескоблила: стены, кровать, голбец кипятком ошпарила, а потом уж заодно и перину перетряхнула. Чего больной человек будет маяться на старых соломенных горбылях? То ли дело свежее сенцо! И мягко, и дух приятный, луговой.

Вот так со всеми этими делами – с мытьем пола, с приборкой стариковского угла, с перебивкой перины – она и проваландалась до двух часов ночи, а там уж и спать некак: надо печь топить, какую-то еду для больного сообразить, Васю к своим отнести (насчет коров она договорилась еще вечор с Александрой Баевой).

Лиза привыкла начинать свой трудовой день с первыми дымами на деревне такая уж работа у доярки, но сегодня она и того раньше выскочила из дому, а к матери прибежала – та еще в постели.

– Чего всполошилась такую рань? Попей хоть чаю – я сейчас согрею.

Лиза только рукой махнула. До чаю ли сейчас! Неужели матери родной надо объяснять, что у нее на душе делается?

Утро было холодное, сырое. Кустарник возле дороги поседел от росы, и ох же пополоскало ее в одном платьишке – привыкла по утрам носиться сломя голову.

Но на ходу все-таки потеплее, а каково стоять? А Лиза, наверно, с час или с два коченела у Терехина поля. И все прислушивалась, все ждала: вот-вот раздастся конская ступь и из березняка выедет Михаил.

Но Михаил не ехал.

Лиза начала волноваться. Что там могло случиться? Со стариком плохо? Везти нельзя?

И как только ей пришла в голову эта мысль, она уж больше не томилась у Терехина поля. Сама побежала навстречу. По грязной лесной дороге, четко разутюженной накануне полозьями.

Встретила она брата возле темной еловой рады – не меньше версты прошлепала по грязям.

Сидит, качается на запаренной кобыле, настегивает ее вицей, а старика она сперва и не увидела. Сено, показалось, везет на санях брат. С ног до головы обложил старика сеном, чтобы грязью не заляпало да комар не беспокоил, только для дыханья дыра оставлена.

– Татя, татя, – запричитала на весь лес Лиза, – да что же это такое? Разве так возвращаются люди с покоса?

– Не ори! – коротко бросил Михаил. Он слез с кобылы, устало подошел к саням, приоткрыл лицо старика. – Ну как? Жив? Не вытрясло совсем душу?

Ни единого звука не услышала Лиза в ответ, и она с ужасом перевела взгляд на брата:

– Чего с ним? Пошто он не говорит?

– Выходной взял! – свирепо рыкнул Михаил и вдруг заорал на нее: – Чего стоишь, как столб? Не знаешь, как отца встречают?

Лиза и в самом деле стояла как-то в стороне, на отшибе, и, поняв это, поспешно кинулась к саням, к дыре в сене, откуда чуть заметно шел парок.

– Татя, татя… – Она встала на колени прямо в грязь возле полоза, судорожно обхватила руками старика, вернее, охапку сена, потом срыла сено с груди в ноги – какое теперь комарье, когда к дому, можно сказать, подъехали? Да и она зачем тут? Разве не может веткой отгонять?

Степан Андреянович узнал ее.

– Ы-ы-за-а… – чуть слышно сказал он, но так, что и она, и Михаил – оба услышали, затем на его старых, испугом налитых глазах навернулись слезы.

– Ну, это ты хорошо, старик, надумал, сказал Михаил и от радости похлопал сестру по плечу. – А то я вчерась приезжаю к избе – покойник покойником. И сегодня, сколько ни кликал, не мог докликаться. А тебя, вишь, с первого слова услыхал…

2

Разлад в теле у Степана Андреяновича начался еще тогда, когда он шел с невесткой полями. Хорошее, свежее было утро, ветерок прыскал, а он обливался потом, на великую силу тащил стопудовые сапоги.

Лиза что-то щебетала, давала наказы, советы, а он только и думал о том, как бы добраться до Терехина поля да поскорее распрощаться с невесткой, – не хотелось ее пугать, посреди дороги разлеживаться.

И вот когда наконец Лиза осталась позади, он дотянул кое-как до березняка за полем, ткнулся горячим потным лицом в мокрую, еще не высохшую от утренней росы траву и так долго лежал.

Потом эти лежки пошли у него чуть ли не у каждого муравейника, не у каждой кокоры.[9]

В этот день он с косой, конечно, не разбирался: догреб, доплелся до своих старых владений на Синельге, заполз в избушку, и все – не ел, не пил, до утра лежал, зарывшись в какую-то старую сенную труху, во всей одежде, в сапогах.

Но назавтра он встал молодцом. Легко, без всякой шаткости вышел из избушки, будто и хворости не было, а когда увидел траву в поклоне, густую, тучную, белую от росы, руки сами потянулись к косе.

И покосил.

В одну сторону прошелся, в другую, пьянел от травяных запахов, и как же радовалась стариковская душа! Вот, думалось, не зря ем хлебы. Есть, есть еще от него польза. Будет у Васи молоко…

После утренней напористой косьбы Степан Андреянович поел с аппетитом, попил чаю с дымком всласть, а потом вздумалось ему сходить на свою старую расчистку – посмотреть, что там делается, нельзя ли сколько-нибудь травы потюкать для себя.

И вот с этой-то расчистки все и началось – не нашел он своей пожни.

Все на месте: Синельга на месте, мыс на месте, старые стожары[10] на месте, только расчистки нет, только пожни нет. Кусты всколосились, ольха да осина вымахали. Из края в край. По всей бережине. И Степан Андреянович сел, охнув на старую валежину и заплакал.

Господи, на что ушла его жизнь? Двадцать лет он убил на эту расчистку. Двадцать… Первые кусты начал вырубать еще при царе Горохе, и, помнится, вся деревня тогда потешалась над ним. Кустарник страшный, двум комарам не разлететься, топором не взмахнуть, а ели – боже мой, впору на небо лезть. Ну какой же тут покос?

А он на этот-то кустарник как раз и возлагал все свои надежды: уж ежели ольха да береза так вымахали, то трава и подавно будет.

И он не ошибся. Перед колхозами по тридцать возов самолучшего сена снимал со своих Ольшан – вот каким золотом обернулся для него непролазный кустарник вдоль Синельги.

Правда, он уж и работал – жуть!

Избушка от расчистки далеко ли? За речкой, напротив, четверти часа ходу не будет, а он и эти четверть часа жалел. Тут, на расчистке, спал. Под елью, возле огня. Да и спал ли он вообще в те годы? Кто, разве не он корчевал пни по ночам при свете костров?

Эх, да только ли он себя одного рвал? А Макаровну? Уж ей-то досталось, бедной, она-то, верно, до последнего вздоха помнила эту расчистку. Потому что тут, на расчистке, родила своего единственного сына. Шастала, шастала возле него, оттаскивала в сторону сучья, потом вдруг уползла в кусты, к ручью, а вышла оттуда уже с ребенком на руках. Белая-белая, как береза…

И вот все напрасно. Напрасно надрывался сам, напрасно жену в три погибели гнул, сына малолетнего мучил напрасно – снова кусты. По всей пожне кусты. Как сорок лет назад. И комары. Даже сейчас, в конце августа, вой стоял от них в воздухе…

Степан Андреянович вяло обмахивался березовой веткой, смотрел на буйно разросшийся кустарник за ручьем, и жизнь, прожитая им, представлялась вот такой же запущенной и задичавшей расчисткой. Да и вообще он давно уже не понимал, что происходит вокруг. Люди в колхозе годами считай что работают задаром – почему? А почему добрая половина пекашинцев не имеет коровы? Каждый год трава уходит под снег, а мужик не смей косить – под суд…

Все-таки Степан Андреянович нашел чистую травяную полянку и даже помахал немного косой.

Лиза помогла. Вспомнил про нее, свое солнышко, подумал, сколько у нее радости будет, ежели он поставит воз-другой сена, и пошла коса, заходили руки…

Да, да, удивлялся Степан Андреянович: вот как обернулась жизнь. Родной внук отвернулся, под самое сердце саданул, а эта, чужая кровь, родней родной стала. "Да что ты, татя, куда я от тебя? Как жили вместях, так и дальше жить будем…"

Он плакал. Плакал ночью, перед выходом на Синельгу, плакал сейчас, помахивая косой. За всю жизнь не слыхивал слов радостнее этих…

Степан Андреянович выкосил полянку, нарезал бересты для коробки и шаркунка для Васи – как было забыть про наказ Лизаветы! – а на обратном пути, когда он уже вошел в сенцы избушки, с ним и случилась беда.

– Степа, Степа! – услышал он зовущий голос Макаровны.

Он обернулся – как тут очутилась жена, которая давно умерла? – и вдруг яростный гром грохнул над головой, задрожала, закачалась земля под ногами – и он упал…

3

Речь к Степану Андреяновичу вернулась на третий день, и первое, что попросил он, было: властей позовите.

– Что? Что? Властей? – Михаил, ничего не понимая, посмотрел на сестру, на мать. – Зачем тебе власти-то? Тебе не о властях думать надо, а как бы на ноги встать.

– Властей… Быстрее…

Не посчитаться с больным человеком нельзя, и пришлось посылать за председателем мать, которая вскоре вернулась с Анфисой Петровной: Лукашин с утра уехал в район.

В избу вошла Анфиса Петровна уверенно, не по-бабьи. Есть практика. В войну все похоронки на себя принимала, первой являлась в дом, куда смерть приходила.

– Ну что, сват? Какую кашу с властями варить надумал?

– Бумагу… хочу… дом…

– Ну, насчет дома не беспокойся. Егорша у тебя есть, никакой бумаги не надо…

Степан Андреянович помолчал, видно набираясь сил, и вдруг четко выговорил:

– Лизавета – хозяйка… Лизавете дом…

– Чего? Чего? Лизавете дом хочешь отписать?

– Да… Весь…

Среди старух, бог знает когда набравшихся в избу, пошли шепотки, пересуды: всем в удивленье было, почему старик решил отписать дом невестке. Разве у него родного внука нету?

Лиза, давясь слезами – она стояла в ногах, у старика, – протянула к нему руки:

– Татя, ты ведь неладно говоришь. Какой мне дом? Что ты… На веку не слыхано, чтобы невестке дом отписывали…

– Верно, верно, сват, – поддержала Анфиса. – У тебя внук родной есть и правнук есть. Лизавета тебе как родная, всяк знает, а только порядок есть порядок…

В том же духе говорили старику мать, Марфа Репишная, Петр Житов и особенно с жаром убеждал Михаил, потому что, отпиши старик дом Лизке, разговоров не оберешься: а-а, скажут, оболванили старика, вот он и твердит без памяти Лизавете…

Ничто не помогало. Степан Андреянович стоял на своем: весь дом и все постройки при доме – Лизавете. Одной Лизавете…

В конце концов что было делать? Села за стол колхозная счетоводша Олена Житова, и скоро все услышали: "Я, такой-то и такой-то, в полной памяти и здравом рассудке завещаю свой дом со всеми пристройками невестке моей Пряслиной Елизавете Ивановне, в чем собственноручно и подписуюсь…"

Степан Андреянович расписался сам, потребовал, чтобы приложили руку свидетели, и лишь после этого облегченно вздохнул и закрыл глаза.

Он завершил свои земные дела.

Часть вторая

Глава первая

1

Егорша, тягуче зевая, продрал глаза и аж подскочил: половина десятого! А потом увидел желтенькие, с детства памятные цветочки на старомодных ходиках с белым потрескавшимся циферблатом и, успокоенный, откинул голову на подушку: он дома.

Голова трещала: страсть сколько выпито было за вчерашний день. Первую бутылку за помин деда они раздавили еще на аэродроме с Пекой Черемным и Алексеем Тарасовым.

Пека Черемный, диспетчер районного аэродрома, – старый калымщик, и как минуешь его? Просто клещом вцепился, когда он, Егорша, вывалился из самолета. А вот Алексей Тарасов его удивил. Сам приехал. Специально. Это инструктор-то райкома! Правда, инструктор он особенный – за тот же самый овечий хлев когда-то бегал, что и он, Егорша, – ихние дома в Заозерье впритык друг к дружке, но все-таки, что ни говори, шишка.

И вот помянули деда – прямо в райкомовском «газике». А дальше известно: заехали к Алексею на квартиру чайку попить – помин, в Марьюше на председателя колхоза наскочили – помин, а под Шайволой райтопа встретили – как было не открыть бутылку?

В общем, набрались.

В Пекашино приехали – не знаешь, как и из машины вылезти. Правда, он-то, Егорша, сам, без посторонней помощи выкарабкался, а Алексея Тарасова, того, как архиерея, под руки вывели.

– Эй, кто дома?

Никто не отозвался на его голос. Ни в избе, ни в чулане.

Солнце начало припекать его светловолосую голову. Он повернулся на бок, лицом к медному пылающему рукомойнику в заднем углу и стал припоминать, как очутился тут, на полу, на жаркой, набитой оленьей шерстью перине, – в бриджах, в нательной рубахе, босиком.

Он все помнил, что было поначалу. Помнил, как подъехал к дедовскому дому народу жуть, вся деревня, похоже, собралась, – помнил, как, подхваченный Мишкой, шел по заулку под окошками и плакал даже, помнил, как Мишка на ходу разъяренно шептал ему на ухо: "Нажрался, гад! Не мог потерпеть". (Да, такими вот словами встретил его закадычный друг и приятель!)

Потом, конечно, запомнил встречу с дедом. Он просто упал, просто рухнул на колени, когда увидел деда в белом сосновом гробу – маленького, ссохшегося, какого-то ветошного против прежнего.

Да, деда он запомнил, на всю жизнь запомнил, а дальше, как говорится, пшенная каша в голове: красное, распухшее лицо Лизки, плач, рев, гнусавый старушечий "святый боже, святый крепкий", постоянные подталкивания Мишки сбоку: "Стой прямо!.."

Нет, еще ему припоминается, как, возвратись с кладбища, сели за поминальный стол. Анфиса Петровна – век бы не подумал – такую речь толкнула, до пяток прошибло: "Труженик… пример… никогда не забудем…"

А потом до вина дело дошло – что такое? Из наперстков за такого труженика? Подать стаканы! Ну, и он, Егорша, конечно, жахнул первый: не кого-нибудь деда родного похоронил…

Вот после этого стакана у него в голове и загуляли шестеренки в разные стороны…

Егорша поднялся с постели, прошел за занавеску, зачерпнул ковшом воды из запотелого ведра.

Водица была что надо – холодная, утреннего приноса, и у него немного поосело внутри. Потом он опохмелился: какая-то добрая душа на самое видное место выставила неполного малыша. Лизка?

Егорша глянул на ходики уже без всякого усилия: хорошо теперь работали шейные подшипники. Одиннадцатый час. Самое бы время ей возвращаться со своего коровьего предприятия…

Блаженно, до хруста в плечах, потягиваясь, он вышел на крыльцо, спустился на землю и рассмеялся: колется землица – вот что значит долго не ходить по ней босиком. А вообще-то у них, у Ставровых, не земля, а шелк – по всему заулку зеленый лужок. Это еще от бабки. Бабка Федосья любила травку-муравку под окошками.

Ничего не изменилось в заулке за его отсутствие, если не считать, конечно, дедовской деревянной кровати с матрасом, выставленной на солнце у изгороди. Та же мачта белая посреди заулка, которую он поставил перед уходом в армию, те же ушаты под потоками, то же тяжелое, высеченное из толстенного выворотня било, на котором гнут полозья, и даже роса в тени у изгороди возле нижней жерди та же.

Нет, новое в заулке было – охлупень. Огромное, стесанное с обоих боков бревно, уложенное на березовых слегах вдоль стены двора.

Сам охлупень уже потемнел, и, судя по всему, к нему дед не притрагивался с весны, а вот над конем трудился недавно: и затесы свежие, и щепа на земле белая.

Егорша все-таки дал течь. Не у охлупня, нет, – насчет этого охлупня он ясно писал деду: не надрывайся, ни к чему. И уж, конечно, не оттого, что увидел дедовскую кровать с матрасом: такой обычай – всегда все сушат да проветривают после покойника.

Разревелся он, как баба, когда напоследок заглянул в сарай да увидел, как шевелятся, шелестят белые стружки от гроба. А ему вдруг почудилось, что дед с ним разговаривает. Ну и брызнул. Обоими шлюзами брызнул. И только потом, когда вспомнил, что он солдат, сумел ликвидировать эту позорную аварию.

2

Солнце разгулялось вовсю. Даже в том городе, где стоит их энская часть, не всегда так припекает в данную пору. А ведь этот город с энской частью, в которой он три года служил верой и правдой родине, где, в каких краях? В тех самых, про которые поется в песне: "Зацветали яблони и груши…"

В общем, здорово! Хорошо подставить свою ряху пекашинскому солнышку. Просвечивает насквозь. Как рентгеном.

Его можно просвечивать. Бриджи под коленками в обтяжечку, из офицерского шевиота,

сапожки хромовые – смотрись заместо зеркала, подворотничок свеженький – белая каемочка, ну и соответственно ремешок со звездой. Блеск, одним словом. Офицер не каждый так ходит.

Ну, а вы чем, братья славяне, похвастаетесь? Какие у вас за три года достижения?

У Василисы, постной Пятницы, двор разломан наполовину, у Баевых на усадьбе тоже строительство – второй угол у боковой избы-зимницы кромсают на дрова. А что с теремом Кузьмы Павловича? В каких боях-сражениях инвалидность получил с двух сторон костылями подперся?

Да, вздохнул Егорша, хорошо тут заканчивают первую послевоенную пятилетку. Намного превзошли довоенный уровень…

Нет, он не Мишка, не сох по этим пекашинским развалюхам. В первый же час, в первую же минуту, как только переступил порог казармы, из головы вон выбросил. А как же иначе? За этим в армию призывают? В ихней роте и без него хватало мокрых тюфяков, у которых глаза выворачивались от тоски по дому. Жуть что делалось попервости! Какая-нибудь дубина-бревно под потолок, а сидит в уголку, как мышка, да точит слезу. По мамочке, видите ли, скучает. А одного у них лба даже к профессору водили, гипнозом лечили…

Первый день в армии, первые развороты-повороты по-военному… Разве забудешь когда-нибудь, как их первый раз в военном обмундировании выстроили?

Ух, видик! Командир роты старший лейтенант Терещенко идет вдоль строя качается, зубами скрипит: не солдаты, а чучела огородные. У того гимнастерка до колен, у того портки как бабья юбка, у третьего ремень обвис, как шлея на худой кобыле… И вдруг просиял – его увидел.

– Как фамилия?

Егорша отрапортовал по всем правилам – еще в войну с деревянной винтовкой начал проходить боевую подготовку. Вытянулся, щелкнул каблуками:

– Рядовой второго отделения третьего взвода первой роты Суханов-Ставров.

– Во как! Суханов, да еще и Ставров? Сразу две фамилии. Как у барона.

– Так точно, товарищ старший лейтенант.

– Образование?

– Семь классов. – Егорша всегда немножко округлял для краткости.

– Почерк хороший?

– Хороший, товарищ, старший лейтенант.

– Выйди из строя. Будешь писарем роты.

Вот так! Сразу, с первого утра, на командную должность – все только ахнули. А из-за чего? Почему? Грамотой всех шибче? Ничего подобного! После подсчитали: двадцать гавриков у них со средним образованием да еще три лба с высшим. А взяли его, с незаконченной семилеткой. Потому что у этой незаконченной семилетки чердак шурупит, обстановку учитывает.

Покамест его товарищи глаза друг на дружку лупили, да пол в казарме мерили, да письма домой строчили (это в первый-то день в армии!), он что сделал, когда три часа свободных дали?

Прежде всего разведал у вольнонаемного персонала, где тут поблизости можно бабу разыскать, которая иглой ковыряет. Потому что чего ждать, когда очередь до тебя дойдет в батальонной обшиваловке?

Разыскал. К бабе вошел, как и все, куль кулем, а от бабы вышел – шаровары на нужном месте, гимнастерка вподруб, подворотничок беленький… Солдат, одним словом.

Вот старший лейтенант Терещенко и заприметил его сразу. Понял, что этот парень не лаптем щи хлебает.

Но, понятно, воинская служба не коврижки-коржики с медом. Были, понятно, и у него эпизоды – шагом арш!

Раз к ним в ротную канцелярию – он, Егорша, только-только начал в курс входить – вкатывается командир батальона. Злой как черт – язва в брюхе и женка, говорят, на сторону копытом бьет. Вкатывается – то не так, это не так, а потом увидел его:

– Кем на гражданке работал?

– Шофером, товарищ капитан.

– Шофером? Старший лейтенант Терещенко, разве вы не знаете приказ – всех шоферов направлять в АХЧ? (Административно-хозяйственная часть.)

Направили. И вот тут он хлебнул солдатского лиха по самые ноздри. Четыре месяца возил уголь на старом грузовике. Утром вскакиваешь по подъему в пять тридцать, лезешь в грязные шаровары, гимнастерка тоже колом от грязи, на кухне чего-то плеснули – шрапнели (каши, значит) в железную миску кинули: за руль, ребята!

Жуть! Войну добром вспомнишь. За день этим угольком так прокочегаришься черти в аду и те тебя чище. Самая последняя лахудра рожу от тебя воротит. Но больше всего Егорша страдал из-за алюминиевой ложки. Другие – как так и надо. Скидал в рот, что тебе сунули, – и за голенище сапога до следующей заправки. А он никак не мог привыкнуть к этому.

Кто знает, сколько бы он в этой АХЧ мытарил. Может, все три года, до скончания службы, да, на его счастье, заболел шофер у командира дивизии. Ну, тут уж он крутанул своими шариками как следует, чтобы временную прописку в генеральском ЗИСе сделать постоянной…

…Пусто в Пекашине. За все время, что Егорша шел от своего дома до правления, ни одного пекашинца не встретил – ни малого, ни старого: все, видать, на поле. В правлении его тоже не большое веселье ждало – замок в пробое.

Он пошел в магазин сельпо – как раз в это время продавщица начала греметь дверями, должно быть, с обеда возвратилась.

Продавщица по нынешним временам важная птица в деревне. Она да председатель колхоза, можно сказать, жизнь в своих руках держат, и Егорша чертом влетел в магазин: самое это главное в мужском деле – с ходу взять бабу, ошарашить.

Но кого он вздумал ошарашивать? На кого порох тратил? На Ульку Яковлеву она, оказывается,

была продавщицей. А Улька Яковлева еще до войны трясла головой, как старая кобыла, – так разве ей на солнце глядеть?

А потом, было бы ради чего выворачиваться. На хлебных полках шаром покати, сахаром-конфетами тоже не пахнет, а в мясной отдел и заглядывать нечего. Там как до войны: наглядное пособие – схема, как разделывать коровью тушу. Все расчерчено-разлиновано. От зада до переда. По научному. Только мяса нет.

От магазина Егорша двинул на задворки – на колхозные объекты. Может, там больше повезет?

Ни черта не больше. Старый коровник заперт (где только Лизка? Неужели задворками домой уперлась?), а на новом скотном дворе тоже, похоже, безлюдье.

Лизка ему в каждом письме про эту пекашинскую новостройку докладывала, так что он знал, как говорится, всю автобиографию коровника, но все-таки не поленился: обошел коровник кругом и даже внутрь заглянул. Надо! А вдруг где-нибудь на командных высотах зайдет разговор – глазами прикажете хлопать?

Работенка неплохая, углы сшиты – хоть воду лей (сразу узнаешь почерк Петра Житова), но когда же он думает сдать в эксплуатацию свой объект? Окна окосячены наполовину, дверей нет, потолок не набран… А потом, ведь нужны стойла, перегородки, всякая другая хреновина.

Егорша поднял с земли толстый обрубок от гладко выстроганной потолочины, размашисто написал плотничьим карандашом – тут, среди инструмента, нашел: "Солдатский привет ударникам великой стройки коммунизма!!!"

Обрубок поставил на чурку (прямо наглядная агитация получилась), потом подумал-подумал и на обрубок насыпал горку «беломорин» – весь портсигар вытряхнул, только одну для себя оставил.

3

К тещиному дому Егорша подошел с тыла, то есть с задворок.

Сперва надулся: что это такое – жена не показывается все утро? Домой он приехал или куда? А потом за воротца скрипучие перешагнул, да шарахнуло по ноздрям свежим коровьим навозом из открытого настежь двора, да зажужжали, завыли вокруг мухи – и начало, и начало травить.

Все вспомнилось. Война вспомнилась, ихняя дружба с Мишкой вспомнилась, первый выезд в лес в сорок втором году вот в это же самое время… И даже Звездоня, покойница, вспомнилась. Мишка уже тогда разорялся насчет кормежки для нее. В первый же день, как только они приехали на Ручьи, потащил его на болото траву смотреть…

Старенькое, кособокое, основательно изрубленное ребятишками крыльцо проскрипело шатучими ступеньками: здравствуй!

– Здравствуй, – улыбнулся Егорша.

А вообще-то не мешало бы перебрать крыльцо, или у Мишки всегда, до самой смерти так будет: в колхозе мнем до беспамятья, а дома дядя сделай?

В сенцах у Пряслиных не лучше – всю жизнь в слепака играют. Руки отпадут два-три раза топором хлопнуть да какой-нибудь осколок стекла в дыру воткнуть?

Наконец Егорша, шаря рукой по двери, еще с незапамятных времен обитой для тепла рваной-перерваной мешковиной, нащупал железную скобу, постучал.

Стук вышел дай боже: дятлом рассыпался сухой, как кость, сосновый косяк, но разве тут понимают по-культурному?

Закипая злостью, Егорша изо всей силы рванул на себя дверь, перешагнул за порог да так и застыл: сын… Его сын…

Сколько он тут, на пекашинской земле? Сутки без мала. Туда, сюда сходил, то, это посмотрел, а про своего гвардейца и не вспомнил. А он – вот он: как штык стоит посередке избы. Вернее, не штык, а ухват сухановский – у них в отцовском роду у всех смалу ноги кренделем, и у него самого, сказывала мать, такие же были.

Егорша присел на корточки, протянул руки:

– Ну, шлепай ко мне. Не узнаешь?

Вася нахмурился – с характером мужик! – а потом вдруг улыбнулся и тяп-тяп, к нему, к отцу…

И тут бог знает что сделалось с ним. В горле пересохло, в коленках дрожь, а когда он сграбастал обеими руками сына да прижал к груди, то тут и вообще ерунда началась…

К счастью, в избу в это время вошла теща.

Глава вторая

1

Старый коровник, поставленный еще в первые дни колхозной жизни, разваливался на глазах. Стены у него изнутри выгнили, проросли белыми погаными грибами, в скособоченных окошках торчали соломенные и травяные затычки, а крыша местами так провалилась, что, того и гляди, кого-нибудь задавит.

Страх всем внушал и племенной бык Борька. Борька нынешней весной размял в поскотине молодую коровенку, и с тех пор его на волю не выпускали. И вот днем, когда рядом с ним не было ни коров, ни доярок, бык просто из себя выходил: ревел, гремел цепями, каждую минуту мог вылететь на улицу.

Сегодня, к великому удивлению Александры Баевой, Борька молчал.

Кто-то из наших там, подумала Александра. Но кто же?

Две дурехи есть у них на скотном дворе, которые готовы день и ночь убиваться из-за колхозных буренок, – она, Александра, да Лизка. Но Лизку она сама давеча, уезжая за травой на луг, отправила домой: та, видите ли, после дойки вздумала чистоту в стойлах наводить, это на другой-то день после возвращения мужа из армии!

– Иди, иди, глупая! – сказала она ей. – Да ни о чем не думай: ни о коровах, ни о подкормке. Все сделаю.

Наскоро привязав лошадь, Александра вбежала в коровник, заглянула в избу, прошлась между стойлами – никого.

И все-таки не зря у нее сердце сжималось: был человек в коровнике. И человек этот – Лизка. В самый темный угол забралась – в отсек с травой, так что если бы не белый платок, то она бы и не заметила ее.

– Лиза, Лиза, что с тобой? – закричала Александра, обмирая от страха.

Лизка, слава Богу, была жива. Она лежала, уткнувшись лицом в пахучую траву, и навзрыд рыдала.

– Господи, да что ты тут делаешь? Разве слезы тебе точить сегодня? Муж приехал – скакать надо от радости… Вставай, вставай!

Александра подняла давящуюся от слез подругу, крепко прижала к себе, села рядом.

– Ну, чего стряслось? Чего не поделили?

– Ни-че-го…

– Как ничего!.. Из-за ничего-то не убегают от молодого мужа в такой день.

– Да не я убегала… Он от меня…

– Что, что? – неподдельно удивилась Александра. – Егорша от тебя убежал? Ну уж, нет, не поверю. В жизнь не поверю!

– Чего не верить-то? Не я ему писала: меня домой не жди, на сверхсрочной останусь…

– Домой не жди? Да когда он это писал?

Александра еще долго так пытала зареванную Лизу, и та наконец толком рассказала о своей беде.

– Ничего, ничего, начала успокаивать ее Алексадра, – не страшно. А я уж думала, бог знает что у вас вышло…

– Да разве не вышло? Я ждала, ждала его – не то что дни, часы высчитывала, а он и не думал обо мне… – И Лиза снова зарыдала.

Александра молча подняла ее на ноги, отвела в избу, умыла под рукомойником, причесала.

– А теперь иди.

– Куда? – Страх, растерянность и робкая надежда мелькнули в мокрых зеленых глазах Лизы.

– Домой иди. К счастью своему иди. Глупая, разве нашему брату капризить теперь, когда кругом одни юбки? Да и было бы из-за чего хвост поднимать. Из-за какого-то письма, из-за того, что Егорша чего-то не так написал… Ох, девка, девка… Меня, бывало, муженек-покойничек редкий божий день не бивал. Как разминку себе делал. Все не так, все не эдак… Даже в том я виновата, что у меня здоровья воз. А сказали бы мне сейчас – у тебя Матвей жив, да Господи, до Москвы бы до самой на коленцах сползала… – Тут Александра сама коротко всплакнула, потом притянула к себе Лизу, обняла. – Иди, иди! Бери свое счастье. Нынче вперед заглядывать не приходится – днем живем…

2

Лиза выскочила из старого темного коровника и подивилась сияющей красоте дня. Солнышко, небо синее – без единого пятнышка. И ее будто на крыльях подняло – такая вдруг небесная, ликующая радость хлынула ей в душу.

Домой, домой!

Самой короткой дорогой – мимо кузницы, мимо старой закоптелой пивоварни, у которой еще года четыре назад Егорша своим трактором своротил угол, к колхозному складу напротив ихнего дома…

Сердце у нее билось у самого горла, щеки пылали полымем: что сейчас ее ждет? Как встретит Егорша?

Вечор, по правде сказать, она его и не разглядела как следует. Да и не хотелось, если честно говорить, и разглядывать. Она в эти дни распухла, угорела от слез и рева, Михаил ходил как в воду опущенный, а он, внук родной, единственный, пьяный приехал, лыка не вяжет. Да не один, а с Олегой Тарасовым.

Олега из Заозерья, сосед, может, родственник еще дальний, Олега – власть, в райкоме сидит, но кому не ведомо, что он пьяница зарезной?

Ну и скандал. Старушонки перед выносом гроба затеплили ладан, запели "Святый Боже, Святый Крепкий…", а он на всю избу: "Цыц, старые вороны! Нету Бога. С Богом у нас еще в семнадцатом году покончено".

Что было бы дальше, даже и подумать страшно. Может, он, дьявол бессовестный, и похороны все разогнал бы, да спасибо мужикам – не сробели: вытащили вон. А там в машину, дверцы на запор – уматывай.

Надо остановиться, надо прибрать волосы – куда же растрепой на деревню, на люди?

А ноги бегут, ноги не хотят останавливаться… Потому что глупые. Потому что головы не слушаются…

Все-таки у воротец перед заулком она остановилась – забрала власть над ногами. И даже сердце немного утихомирила.

По заулку, мимо окошек, пошла шагом, лицо нахмурила – не дам потешаться над собой, но разве рассчитаешь все заранее? Из-за угла неожиданно брызнул Васин смех, и вот уж она про все свои запреты, которые только что сама на себя наложила, позабыла – козой взвилась.

Самую желанную, самую радостную картину увидела она: сын и отец. И оба за работой. Вася, довольнехонький, слюнки радужным пузырем на губах, крутит руками маленькую меленку, или самолет, как теперь называют, а рядом отец – еще одну меленку мастерит, побольше.

Лиза, конечно, сразу заметила непорядок: на лучшее красное одеяло расселись, прямо на голой земле разостлали, но ей и в голову сейчас не пришло попрекать за это своих растяп – таким счастьем, такой радостью вдруг дохнуло на нее с этого красного одеяла.

– А-а, гудела наша пришла! Ну что, сынок, постегаем немножко ремешком маму – для вразумления?

Лиза все про себя отметила – и «маму», и «сынка», и то, как смотрел на нее Егорша, – но все-

таки огрызнулась хоть для видимости:

– Хорошему сынка учишь – маму стегать. Мама-то не на плясах была – на работе.

– Разговорчики! А ну марш к шестку – мужики проголодались!

Лиза побежала в избу. В шутку, конечно, подавал команды Егорша, но правда-то на его стороне. Куда это годится – человека до такой поры голодом морить! Да, правду сказать, она и сама теперь хотела есть.

3

Самовар шумит, стол накрыт, перина, на которой валялся Егорша, вынесена в сени. Еще чего?

Она то и дело воровато из глубины избы посматривала на заулок. Сидят. Все сидят. И о чем-то, кажется, разговаривают – Егорша даже палец большой поднял. Наверно, что-то внушает сыну, как положено отцу.

Вася ее удивлял немало. Нелюдимый ребенок. Кроме матери да Татьянки, никого не хочет признавать. Даже к дяде Мише, даром что тот его хлебом магазинным да сладостями постоянно подкармливает, и к тому с ревом иной раз идет. А вот с отцом дружба с первого взгляда. Кровь родная сказывается? Или уж такой у них отец – кого угодно околдует с первого взгляда, стоит ему только свой синий глаз с подмигом навести?

Солнце рылось в Егоршином золоте на голове. Золота в армии заметно поубавилось – не налезают больше волосы на глаза, плечи раздались, а в остальном, ей казалось, Егорша и не изменился: та же тонкая, чисто выстриженная на затылке мальчишеская шея, тот же чуть заметный наклон головы набок и та же привычка ходить дома босиком, в нижней нательной рубахе.

Смятение охватило Лизу.

Она подняла глаза к божнице в красном углу, вслух сказала:

– Татя, что же мне делать-то? Надо бы спросить его сразу, как он жить думает, а я и спросить чего-то боюсь…

Дробью застучала дресва по стеклам в раме – Егорша бросил: поторапливайся, дескать.

– Сичас, сичас! – И Лиза кинулась в чулан переодеваться: не дело это – в том же самом платьишке, в котором коров обряжает, дома ходить.

Платьями она, слава Богу, не обижена. Степан Андреянович на другой же день после свадьбы повел ее в амбар и всю женскую одежду, какая осталась от Макаровны и Егоршиной матери, сарафаны, кофты, шубы, платки, шали – передал ей: перешивай, дескать, и носи на здоровье.

И Лиза не стеснялась: и себе шила, да и Татьянку с матерью не забывала где им взять, когда в лавке для колхозника ничего нет?

Солнце из чулана уже ушло, но пестрая копна платьев, развешанных в заднем углу, напротив печки-голландки, все еще хранила тепло, и от нее волнующе пахло летними травами.

Она выбрала кашемировое платье бордового цвета – и не яркое (как забыть, что только что схоронили деда!), и в то же время не старушечье.

– А-а, вот ты где!..

Лиза быстро обернулась: Егорша…

– Уйди, уйди! Бога ради, уйди… Я сичас…

Она испуганно прижала к голым грудям кашемировое платье, попятилась в угол.

Егорша захохотал. Его синие припухшие глаза вытянулись в колючие хищные щелки.

– Не подходи, не подходи… – Лиза лихорадочно обеими руками грабастала на себя платья, юбки.

Егорша улыбался. А потом подошел к ней и с шумом, с треском начал срывать с нее платья. Одно за другим. Как листки с настенного календаря.

И она ничего не могла поделать. Стояла, тискала на груди кашемировое платье и не дыша, словно завороженная, смотрела в слегка побледневшее, налитое веселой злостью Егоршино лицо.

Глава третья

1

У Ставровых началась великая строительная лихорадка, с утра до позднего вечера Егорша гремел топором.

Работал он легко, весело, как бы играючи, так что не только ребятишки, бабы постоянно вертелись возле ставровского дома.

Первым делом Егорша занялся крыльцом у передка. Старые, подгнившие ступеньки заменил новыми, вбил железную подкову на счастье, а потом разошелся – раз-раз стамеской по боковинам, и вот уж крыльцо в кружевах.

Точно так же он омолодил баню, жердяную изгородь, воротца в заулке.

Но, конечно, больше всего охов да ахов у пекашинцев вызвал охлупень с конем, который Егорша поднял на дом.

Лиза, когда вернулась с коровника да увидела – в синем вечернем небе белый конь скачет, – просто расплакалась:

– Дед-то, дед-то наш был бы доволен! Все Михаила перед смертью просил: "Ты уж, Миша, коня моего подыми на дом, всю жизнь хотел дом с конем"… А тут и не Миша, внук родной поднял…

– Но, но! – басовито, по-хозяйски оборвал жену Егорша. – Разговорчики!

Ему нравилось быть семейным человеком. Он с радостью, с удовольствием возился с сыном, его не на шутку увлекала новая, почти незнакомая до этого роль мужа.

Сколько через его руки всякого бабья прошло! И ничего себе штучки были не заскучаешь. А все же такого, как с Лизкой, у него еще ни с кем не было это надо правду сказать. Утром проснешься, уставилась на тебя своими зелеными, улыбается: "Я не знаю, с ума, наверно, сошла… Все глежу и глежу на тебя и нагледеться не могу…" А с коровника своего

возвращается – ух ты! Вся раскраснелась, застыдилась – как, скажи, на первое свидание с тобой пришла…

Заскучал Егорша на седьмой день.

В этот день у него с утра заболел зуб, ну и как лечить зуб в деревне? Вином. А потом – вино не помогло – взял аршинный ключ от амбара, пошел в амбар – там у бабки, бывало, целое лукошко стояло со всякими зельями и травами.

И вот только он открыл, гремя ключом, дверь – увидел свою тальянку на сусеке. Вся в пыли, в муке, как, скажи, сирота неприкаянная.

Он взял ее, как своего ребенка, на руки, смахнул пыль рукавом рубахи, а потом уселся на порожек – ну-ко, голубушка, вспомним былые денечки! В общем, хотел заглушить боль в зубе – рванул на всю катушку, просто вывернул розовые мехи, а получился скандал. Получилось черт знает что!

– Ты с ума, что ли, сошел? Что люди-то о нас подумают? Скажут, вот как они веселятся – рады, что старика схоронили…

Егорша на самой высокой ноте осадил гармонь, резко сдвинул мехи. А потом глянул на приближавшуюся к нему по тропке Лизу, и у него впервые при виде возвращающейся со скотного двора жены зевотой свело рот.

2

Зубы заговорила Марина-стрелеха. Зачерпнула ковшом воды из ушата, пошептала что-то над ним, дала отпить, и полегчало вроде. Во всяком случае, Егорша вышел от нее, уже не держась за щеку.

Была середина дня. За рекой на молодых озимях шумно горланили журавли – не иначе как проводили общее собрание по случаю скорого отлета в теплые края…

Куда пойти?

Домой ему не хотелось. От дома пора взять выходной – это он хорошо понял сегодня. К теще податься? Так и так, мол, угощайте зятя. Что это за безобразие – вот уж неделя, как он дома, а у тещи еще и за столом как следует не сиживал.

Егорша пошагал в колхозную контору: вспомнил – председатель на днях с Лизкой наказывал зайти.

Лукашин был в правлении один – сидел за своим председательским столом и играл на костяшках.

– Все дебеты и кредиты сводим? – нашел нужные слова Егорша.

– Да, приходится.

– Ну и как?

– Подходяще! – Лукашин сказал это бодрым голосом, но распространяться не стал, полез за папиросами. Очень удобная штука эти папиросы для начальства: всегда есть предлог оборвать нежелательный разговор.

Егорша, слегка развалясь на старом деревянном диванчике, памятном ему еще с войны, с любопытством присматривался к этому человеку. Он всегда вызывал у него интерес. Ведь это же надо – добровольно, по своей охоте к ним на Пинегу пришлепать. В бабьи сказки насчет любви и всего такого Егорша никогда не верил. Анфиса, конечно, баба видная, но уж не такая она ягодка, чтобы ради нее на край света ехать. Из-за карьеры?

Признаться, попервости он, Егорша, так и думал: в такой глухомани, как ихняя, умный человек быстрее выдвинется. Но сколько лет прошло с тех пор, как у них Лукашин? Четыре-пять? А воз, как говорится, и поныне там. Как потел в колхозных санках, так и теперь потеет.

– Так, так, Суханов, сказал Лукашин, закуривая, – отломал, говоришь, три годика, выполнил свой патриотический долг…

– Примерно. На месяц раньше демобилизовали. По причине семейных обстоятельств.

– Да, старик мог бы еще пожить. Рано отчалил к тем берегам. Зимой нас крепко выручал – всю упряжь чинил…

Егорша со скорбным видом принял соболезнования, даже папиросу вдавил в пепельницу (все та же щербатая тарелка, как три года назад), вздохнул.

– Ну, а какие планы? Как жизнь устраивать думаешь?

– Покамест недоработки стариковы по дому ликвидировал, а вообще-то надо подумать.

– А по-моему, и думать нечего, сказал Лукашин и начал загибать пальцы: Жена у тебя в колхозе – раз, дом – вон какой, с конем! Прямая дорога к нам. Видел, какой мы дворец для наших буренок отгрохали?

– Видел.

– Ну тогда чего же тебя агитировать! Подключайся к Житову. Веселый народ не заскучаешь.

– Так, – сказал Егорша. – Насчет веселья вопросов не имею. А как насчет энтого самого? – Он на пальцах показал, что имеет в виду.

– Насчет энтого самого… – Тут Лукашин прямо-таки дымовую завесу поставил между собой и им. Не иначе как для того, чтобы собраться с мыслями.

В конце концов, кашляя и чихая, признался, что трудодень у них нежирен. С голоду, дескать, не помираем, но и закрома от излишков не рвет.

– Понятно, – усмехнулся Егорша. – В общем, раскладка не та.

Лукашин вопросительно посмотрел на него.

– Это в части у нас повар был, Иван Иванович. Толстый, такой жирный боров – как баба беременная. Но мастер – во! Генералу с начальством готовил. И вот этот Иван Иванович, как только, бывало, выедем за город на пикник, – Егорша старательно выговорил последнее слово и посмотрел на Лукашина: знает ли?…начнет вздыхать да охать: ах, в деревню хочу, ах, на природу-кустики желаю… Ладно. Демобилизовался. Уехал в деревню. А ровно через полгода возвращается обратно. Худющий, как, скажи, чахоткой заболел. Без паспорта и не узнать. Ну, все-таки до генерала допустили – такие повара на улице не валяются. "Так и так, товарищ

генерал-майор, желал бы снова вернуться во вверенную вам часть". – "А как же с деревней, с природой, Иван Иванович? спрашивает генерал. – Не понравилось?" – "Понравилось, товарищ генерал. И даже очень понравилось. Только раскладка не та…"

– Ну, и взял генерал этого повара обратно? – спросил Лукашин и как-то невесело, скорее для приличия, улыбнулся.

– А то как! Такого повара да не взять.

– Зря, сказал Лукашин. – А кто же будет деревню поднимать?

Вопрос уже был обращен к нему, Егорше, и он подумал, что, пожалуй, перегнул немного насчет этой раскладки. Но с другой стороны – что это такое? Ничего не спросил: где, как, кем служил, – полезай на угол. Маши топором. Даже грузовик колхозный не предложил. И вообще, разозлился вдруг Егорша, чего он свой руль задирает? Дворец этот самый, которым он тут хвастался, когда готов будет? Когда буренки от холода околеют? Так? А другие колхозные показатели? Что-то он, Егорша, не помнит, чтобы Лизка и Мишка взахлеб писали ему по поводу этих самых показателей. Да он и сам не слепой. Не с одного КП просмотрел Пекашино за эту неделю…

Однако Егорша и виду не подал, какой закрут у него внутри. На кой хрен ему ссориться с головкой своей деревни!

И кончил миролюбиво, по-свойски, с улыбкой:

– Погоди маленько с работой, товарищ Лукашин. Дай человеку прийти в себя. У меня ведь как-никак дед родной неделю назад помер. А кроме того, отпуск. Согласно закона о демобилизации…

Лукашин вздохнул, но ничего не сказал.

3

Сперва полверсты отшагал вдоль болота, потом пересек болото, а точнее, проплясал его по вертлявым замшелым жердинам и бревнышкам, потом продирался мокрым кустарником – плакали хромовые сапожки и гимнастерка шерстью обросла, пришлось даже с себя снимать, чтобы отчистить, потом еще сколько-то поблуждал-покрутился на пустошах и только тогда увидел главного колхозника.

Нет, товарищ Лукашин, сказал мысленно Егорша, подождем немного. Суханов-Ставров не прочь помочь своим землякам – когда бежал от трудностей? Но и ишачить за вас – нет, извините, дураков нема. За три года, что он служил в армии, куда страна в целом шагнула? А в Пекашине что? У вас какой оборот по части прогресса?

Три года назад этой самой пустоши, на которой он сейчас стоит, на пекашинской карте не было – он точно это помнит, потому что как раз перед самым отъездом в армию они с дедом в этом квадрате рубили дрова и дед еще, когда проходили мимо поля, очень разорялся насчет ржи. Дескать, плохая рожь ноне на поле, землю навозом не удобряют, а вот у него в старые времена рожь была такая, что хоть топором руби…

Мишка напоминал Егорше глухаря на току. Глухарь, когда весной свою любовную песню заведет, ни черта не слышит и не видит, охотник под самую сосну подходит, чуть ли не колом сшибает. Вот так и Мишка. Егорша вышел на обочину поля, как верстовой столб встал. А

Мишка рядом, в двух шагах, проехал – не заметил. Сидит себе, качается в своей железной люльке и, похоже, совсем очумел от треска и хлопанья граблей – с открытыми глазами слепой.

Да, усмехнулся Егорша, хорошо, что он все это увидел в голой натуре. А то ведь он размяк, разнежился на домашних пуховиках – о чем стал подумывать в последние дни? А о том, чтобы пополнить собой колхозные кадры, тут, в Пекашине, на постоянный причал встать…

Егоршу обнаружил Тузик.

Тузик плелся сзади жатки, без всякой радости, просто так, по собачьей обязанности путался в ржаных валках. А тут увидел незнакомого человека загремел на все поле, а потом еще того чище – на него бросился.

Вот тогда-то Мишка и соизволил поднять свои карие.

Сели на солнышке, на скос старой, давно высохшей канавы, густо заросшей брусничником.

Таких канав великое множество в пекашинских навинах – точь-в-точь как старые, отслужившие свое окопы, в которых веками, из поколения в поколение, велись сражения с лесом да с болотом. Иной мужик вроде его деда треть жизни своей выстоял в этих самых канавах-окопах. Вот каким трудом добыта каждая пядь пахотной земли на Севере! А теперь что?

Мишка все же уважил гостя: сам сел на ягодник, а ему, Егорше, бросил ватник.

– Что-то не вижу у тебя бабсилы, сказал Егорша, окидывая своим цепким глазом ржаное, наполовину выжатое поле.

Мишка, конечно, не понял с первого слова, что такое бабсила, – пришлось растолковывать, на какой тяге едет ихний колхоз.

– В лес женки укатили, – буркнул Михаил. – Вишь, какое тепло стоит. Хотят последние грибы взять…

– Ясно, – подвел политическую подкладку Егорша, – частный сектор наступает на пятки общественному.

Мишка – всегдашняя опора и любимец пекашинских баб – завелся сразу:

– Частный сектор, частный сектор!.. А этот частный сектор должен чего-нибудь жрать, нет? В прошлом году по триста грамм на трудодень отвалили, а в этом году сколько?

Егорша скорехонько вытащил из брюк белоголовку, две луковицы с зелеными перьями, потому что Мишкины разговоры по этой части он знает с сорок второго года, и, ежели его вовремя не остановить, будет кипеть и яриться часами.

– Стакана у Ульки-продавщицы не привелось, а домой не заходил, сказал Егорша, – так что придется вспоминать счастливое детство…

Однако тут не сплошал уже Мишка: быстро выхватил из ножен свой клинок, срезал с молодой березы ленту тонкой бересты с золотистой изнанкой, загнул два угольника – чем не посуда?

– Ну, рассказывай, как у тебя на петушином фронте, сказал Егорша, когда выпили.

– На петушином? – удивился Мишка (совсем мозга не работает!). – Это еще что?

– А это такой фронт, на который все с полным удовольствием… Без погоняла… Солдатик один у нас в отпуск ездил. Домой к себе, в колхоз. Ну, съездил как положено. Без чепе. В срок явился, доложил. А через девять месяцев семь заявлений: просим с такого-то Сидорова-Петрова взыскать алименты. Ну, насчет алиментов – сам знаешь: какие с солдата капиталы? Главное политико-воспитательная работа минус. Майор, замкомандира по политчасти, вызывает Сидорова-Петрова: что ты наделал, такой-разэдакий? "Виноват, товарищ майор, а только никак иначе нельзя было". – "Почему?" – "А потому, что когда кур полный курятник, а петух один – что петуху делать?"

– Да, – рассмеялся Михаил, – а ведь действительно петушиный фронт.

– Вот я и спрашиваю, как у тебя дела на петушином фронте. Перешагнул за поцелуйные отношения с Раечкой?

– Раечка – девка.

– Все когда-то были девками.

Мишка махнул рукой – всегда на этом месте буксует. Подумаешь, секреты государственные у него выспрашивают! Пробурчал:

– У нас чего – известно. Ты лучше про городских. Как они?

– Да все так же. Существенных расхождений не наблюдается. Ни в рельефе местности, ни в натуре. Первым делом хомут на тебя стараются надеть. – Егорша помолчал немного и блаженно улыбнулся. – У меня хохлушечка одна была, пухленькая такая курвочка, черные очи… Ну, умаялся. Я так, я эдак – из себя выхожу. Всё мимо, всё за молоком. А ей, видишь, по-хорошему хочется. Чтобы на семейную колею, значит… Ладно, хрен с тобой – получай обещание – поженимся. Ну и понятно, первый угар прошел – она счет: женись. Э-э, нет, говорю, коханочка (это у них навроде нашей дролечки), ежели ты, говорю, хотела, чтобы я женился на тебе, надо было подол покрепче в зубах держать. "А как же, говорит, честное слово ты давал?" Ну, говорю, ты еще с быка, когда он корову увидел, честное слово возьми. Солдат, говорю, одной присяге верен, понятно тебе, а всякие там слова и обещания для него не в счет…

Михаил сказал:

– А говорят, теперь служить против прежнего тяжельше, никуда из казармы не выпускают.

– Ну правильно! – живо согласился Егорша. – Только много ли я в этой самой казарме кантовался? А потом – у генерала стал шоферить – знаешь, какой у меня горизонт был? Сегодня мотаешь в один полк, завтра в другой, послезавтра в округ, в субботу – "подать машину в девятнадцать ноль-ноль. На рыбалку едем. С пикником". – Последнее слово Егорша выговорил с особым старанием, но, как он и предполагал, Мишке это слово ничего не говорило.

– Пикник, – начал разъяснять Егорша, – это та же рыбалка на свежем лоне, только с бабами и с большой выпивкой. Понимаешь, у начальства в летний период заведено так: в выходной день за город. А то и в субботу иной раз шпарят, прямо на ночь… Н-да, была у меня одна история на этом самом пикнике…

– Какая?

– Да такая, что только здесь и рассказывать, за две тысячи от места происшествия.

Егорша выждал, пока Мишка закручивал себя в нужном направлении (это перво-наперво – передох, ежели хочешь по черепу ударить), и спокойно, даже как бы с ленцой объявил:

– С генеральшей маленько в жмурки поиграл.

– С женой генерала? Ври-ко!

– А чего врать-то? Правды не пересказать. Ты думаешь, раз генерал – по всем делам генерал? Естество и природность как у всех протчих. После пятидесяти в долгосрочный отпуск. Весной дело было. Крепко подвыпили – первый пикник на лоне был. Меня это подзывает к себе генерал. Стакан коньяку полнехонький. И вот такую балясину мяса жареного на железном шомполе шашлыком называется, только что повар Иван Иванович с огня снял. "Выпей, Суханов, и чтобы через пять часов как стеклышко. Понял?.." – "Так точно, товарищ генерал-майор. Есть через пять часов как стеклышко". Ну, выпил я, залез в свой ЗИС, прямо на заднюю подушку – вот как хорошо! Знаешь, у ЗИСа целый диван на заду. Ладно, спит солдат – идет служба. А через энное время стук в дверцу: жена генерала. Замерзла. Ну я, конечно, моменталом: пилотку в руки и пожалуйста – свободно помещение. А она как толкнет меня обратно…

– Жена генерала?

– А кто же еще? Свидетелев в таком деле не бывает…

У Мишки веревкой вдруг сошлись выгоревшие за лето брови над переносьем, а желваки на щеках как собаки – так и забегали, так и забегали взад-вперед, только что не лают. В чем дело? Сидели-сидели два друга-приятеля на теплом солнышке, под кустиком, обменивались мирно опытом под водочку с берестяным душком – и вдруг трам-тарарам и гроза на ясном небе. Позавидовал? Генеральша эта самая в печенки въелась?

– Объясни свое поведение, – потребовал Егорша. – У нас старшина Жупайло, знаешь, как в этом разе делал?

Мишка вскочил на ноги, морду в землю – прямо дугой выгнулась косматая, давно не стриженная шея – и наутек. Не в обход по тропинке, а напрямик, через кусты, – только треск пошел.

Яростно залаял Тузик.

Егорша схватил недопитую бутылку, шарнул, как гранату, в сторону собачонки – задавись, сволочь! – а потом встал, отряхнул гимнастерку и бриджи, затянул ремень на последнюю дырочку, так что ящиком расперло грудь, и пошел, не оглядываясь, на дорогу, по которой только что верхом проехал Лукашин.

Глава четвертая

1

Туман, туман над Пекашином…

Как будто белые облака спустились на землю, как будто реки молочные разлились под окошками…

Редко, очень редко на пекашинскую гору забираются туманы, все больше вокруг деревни ходят. Низом, по подгорью, по болоту. Но уж когда заберутся прощай белый свет: в собственном заулке ничего не увидишь.

Да, подумал Михаил, стоя на крыльце и поеживаясь от сырости, сегодня до обеда нечего делать в поле.

Он бросил недокуренную папиросу, с криком влетел в избу:

– Федька! Татьяна! Живо за грибами!

Федька заворочался на своих полатях только тогда, когда Михаил проехался кулаком по лопатинам, а Татьяна, та и вовсе голоса не подала из своего девочешника. И как тут было не вспомнить Петьку да Гришку! Те, бывало, команды не ждут, сами все уши прожужжат: "Миша, за грибами ехать надо… Миша, заморозки скоро начнутся…" – а уж утром-то в день выезда на бор только пошевелишься чуть-чуть – как штыки вскочат.

Вчера наконец от Петьки и Гришки получили письмо. Дурачье – двадцать копеек на марку пожалели, с Гриней-карбасом из Водян послали, а Гриня в районе накачался – замертво, как бревно лежачее, мимо Пекашина провезли. И вот только вечор, через десять дней, занес – Михаил как раз с поля приехал, когда Гриня в заулок ввалился: "Мишка, ставь полбанки – письмо от брательников". Вести были что надо: учатся! Сошел с рук Тузик, и, хоть в доме не было ни копейки, Гриню угостили: под дрова четвертак у Семеновны заняли.

Михаил вышел из дому один. Татьяне и Федьке, оказывается, в школу сегодня идти, а матери и подавно нельзя: корова, печь, Вася…

В тумане он прошел заулок, задворье и вдруг подумал про Лизку, про Егоршу: а им-то грибы надо?

2

К Ставровым Михаил подкатил на телеге.

По привычке он гулко забухал сапогами на крыльце боковой избы – подъем, подъем! – и только наткнувшись на мокрый кол в воротах, вспомнил, что Егорша и Лизка на днях переселились в передние избы.

Открыла ему сестра.

– Чего такую рань? Мы ведь еще дрыхнем… – И, стыдливо потупив глаза, отступила в сторону.

Зато Егорша – ни-ни, одеяла на голое брюхо не натянул. И вообще, зубы стиснуты, глаза в потолок – пошел ко всем дьяволам!

Понятно, понятно, сказал себе Михаил. Не понравилось, как я вчера на поле вскипел. А кто бы не вскипел на его месте, когда перед тобой петушиные подвиги расписывают, сестру твою родную предают да в грязь топчут?

Однако он сейчас и виду не подал, что накануне между ними черная кошка пробежала.

– Давай, давай! Мигом! Солдат еще называется! Он схватил Егоршу за ноги, стащил с постели, вольготно раскинутой посреди избы, – совсем как в былые времена! – кивнул на белые, наглухо

затканные туманом окна:

– Грибы наказывали, чтобы мы в гости приехали. Заждались, говорят.

– А ведь это мысля! – сразу воспрянул Егорша.

– Мысля! Молчи уж лучше – не трави душу. Умные люди с вечера о грибах думают.

– Да в чем дело? – спросил Михаил у насупленной сестры.

– Со стиркой я вечор разобралась. Оля выходной дала – дай, думаю, приберусь немного…

– Ерунда! – успокоил сестру Михаил. – Стирка и до вечера подождет.

Все решила команда Егорши. Тот, нисколько не думая про спящего сына, заорал как в казарме:

– Разговорчики! Пять минут на сборы. Понятно?

Собирались весело, со смехом, с шутками. Егорша – дурь в голову ударила начал притворно выговаривать Михаилу, зачем он не подождал, сон ихний оборвал на самом интересном месте – нарочно, чтобы вогнать в краску Лизку, и та, конечно, не выдержала – выскочила из избы.

– Ты бы все-таки эту жеребятину оставлял за порогом, когда в свою избу входишь, – с мягким укором посоветовал Михаил.

– А между протчим, – Егорша по-прежнему в этом слове старательно нажимал на «т», насчет этой жеребятины самой, знаешь, какое мненье у кобыл?

Последовал похабнейший анекдот, и Михаил первым затрясся от смеха.

Лиза не возвращалась. Умылся и оделся Егорша, Вася успел проснуться, а ее все не было.

Наконец забрякало железное кольцо в воротах.

Михаил по-свойски закричал было на переступившую порог сестру и прикусил язык: Лизка была не одна. Вслед за Лизкой в избу входила Раечка.

Егорша от радости подпрыгнул чуть ли не до потолка – любил компанейскую жизнь:

– По коням!

А Михаил только посмотрел на свою сестру, на ее сияющие зеленые глаза и все понял. Нет, ей мало быть счастливой самой. Она хотела, чтобы и брат был счастлив.

3

В Пекашине, если не считать заречья, самые грибные места за навинами и в Красноборье.

Занавинье грибом богаче, особенно солехами, да и ягоды там всякой больше, но Михаил решил ехать в Красноборье. Во-первых, надо Васю к матери забросить, а это как раз по дороге, а во-вторых, в занавинье сегодня сыро – до последней нитки перемокнешь.

Егорша, как только сели на телегу, начал травить анекдоты – на всякий случай у него притча да присказка. К примеру, Лизка спросила у Михаила, не забыл ли он свой нож, надо бы

дырочку у коробки провертеть, ручка разболталась – пожалуйста, анекдот о дырочках…

Конь бежал ходко. За разговорами да за смехом и не заметили, как проскочили мызы, выехали к Копанцу.

Там кто-то уже был – в сторонке от дороги, под елью, горбилась лошадь. А пока они ставили своего коня да разбирали коробья, объявились и грибники Лукашин и Анфиса Петровна, оба с полнехонькими корзинами желтой сыроеги.

– Покурим? – предложил Лукашин.

Михаил промолчал, вроде как не слышал, а из женщин – из тех и подавно никто не поддержал председателя: раз приехали в лес, какое куренье?

Но Егорша, конечно, зацепился.

– Шлепайте! – крикнул он. – Догоню.

Рассыпались вдоль ручья. Места хорошие: холмики, гривки, веретейки. Всего тут бывает толсто – и гриба, и ягод.

Лизка, глупая, сразу же отскочила в сторону, якобы для того, чтобы пошире ходить, а на самом-то деле дурак не догадается, что у нее на уме. Хочет оставить их вдвоем с Раечкой, создать, так сказать, соответствующую обстановку.

Раечка кружила у Михаила под носом, он постоянно натыкался на ее широко распахнутые голубые глаза – они, как фары, высвечивали из тумана, звали, манили к себе, хотя тотчас же и пропадали. Но Михаил и шагу не сделал в сторону Раечки. Что-то удерживало, останавливало его. Только раз он, пожалуй, был самим собой с Раечкой – недели две назад, когда вечером столкнулся с ней возле школы. Да и то, наверно, потому, что навеселе был. А во все остальные встречи он будто узду чувствовал на себе.

Все-таки в одном месте они оказались впритык друг к другу. Это у муравейника, где спугнули глухарку.

Глухарка взлетела с треском, с громом, так что не только Раечка насмерть перепугалась – он, Михаил, от неожиданности вздрогнул. Потом он поднял с муравейника рябое, с рыжим отливом перо, оброненное птицей, понюхал:

– Чем, думаешь, пахнет?

Тут их догнал Егорша. Все было тихо, спокойно, и вдруг свист, гуканье, верещанье – по-собачьи, по-кошачьи, по-всякому, а потом и прибаутка на каком-то нездешнем мягком говоре:

" – Мамка, а мамка? У грибов глазы есть?

– Не, дочка.

– Врешь, мамка. Когда их едять, они глядять".

– Ты лучше, чем зубанить-то, покажи, что набрал, – спросила, улыбаясь, подоспевшая к ним Лиза.

В берестяной коробке у Егорши перекатывалась горстка мокрых, запорошенных старой рыжей

хвоей козляток, каких они, Пряслины, вообще не берут. У Раечки тоже было негусто, зато у Лизки – полкороба. И какие грибы! Желтые маленькие сыроежки (самые лучшие грибы для соленья), масляные грузди, рыжики… А меж них красная и синяя строчка из брусники и черники пущена. Это уж специально для красоты.

Впрочем, Лизкин короб никого не удивил. В Пекашине – это всем известно нет ягодницы и грибницы, равной ей. Сама Лизка этот свой дар объясняла просто – тем, что ее Бог наградил зелеными глазами, которые сродни всякой лесовине. "Вот они, грибы-то да ягоды, – говорила она в шутку, – и выбегают ко мне по знакомству, когда я иду по лесу, только подбирай".

Довольная, широко скаля свой крепкий белозубый рот, Лиза переложила половину своих грибов в коробку Егорши, шлепнула игриво по спине – носи, мол, раз лень самому собирать – и только ее и видели: умотала.

Первые коробья наполнили довольно быстро – к телеге подошли, еще туман ходил по лесу.

От мокрой Раечки шел пар – вот как она бегала, чтобы не подкачать. Потому что, как там ни пой, а неудобно девушке, да еще невесте, с пустым коробом к телеге выходить.

На этот раз Михаил покурил сидя, без особой спешки – имеет право! – затем вынес на обсуждение вопрос, что делать дальше. В запасе у них часа полтора куда двинем? В сторону поскотины, чтобы пособирать на луговинах волнух и рыжиков, или побродим в сосняке на речной стороне, то есть в том лесу, который, собственно, и принято называть Красноборьем?

– В сосняке! В сосняке!

Другого ответа он и не ожидал. Так у пекашинцев испокон веку: уж если довелось тебе забраться в Красный бор, то хоть немного, а покружи в приречном лесу. Грибов да ягод тут, может, много и не наберешь, а на свет белый глянешь повеселее. В любую погоду в Красному бору сухо. И светло. От сосен светло. И от самой земли светло, потому что земля тут беломошником выстлана.

4

Обратно шли пешком – телега в два этажа была заставлена коробьями с грибами.

Лиза была довольнехонька: быстро обернулись. Когда подъехали к Синельге, туман еще был под горой.

Конь легко взял пекашинский косик и мог бы без передыха дотащиться до дому, но Егорша крикнул: "Перекур!" – и конь послушно стал.

Лиза и Раечка, как водится у женщин, начали прихорашиваться, перевязывать на голове все еще сырые платки, Егорша занялся сапогами – в деревню въезжаем, – и только Михаил ни рукой, ни ногой не пошевелил. Потом – как-то совсем машинально – он повел глазами по Варвариным, веселым от солнца окошкам и вдруг вздрогнул всем телом: ему показалось, что из глубины избы поверх белой занавески на него смотрят знакомые темные глаза.

Он, как ошпаренный кипятком, повернул голову к Егорше – тот, к счастью, не глядел на него, вицей огрел коня.

Взглянуть второй раз в окошко у него не хватило духу.

Глава пятая

1

На Севере сенокос обычно начинают с дальних глухих речек, так как траву там только тогда и высушишь, когда солнце жарит. В таком же примерно порядке убирают и с полей: сперва на лесные навины наваливаются, а потом уж зачищают все остальное.

У Михаила в бригаде из дальних полей недожатой оставалась Трохина навина тот самый участок, на котором вчера соизволил навестить его Егорша. Но сегодня после такого тумана нечего и думать было о Трохиной навине – низкое место. Поэтому, чтобы не терять даром времени, он после обеда перегнал жатку на Костыли – так называются поля за верхней молотилкой.

Работа на этих Костылях – все проклянешь на свете: холмина, горбыли, скаты. За день и сам начисто вымотаешься, и с лошадей не один пот сойдет.

Но весело.

Деревня за болотом как на ладони. Кто по дороге ни прошел, ни проехал всех видно. Обед по сигналу. Как только взовьется белый плат над крышей своего дома, так и знай: Татьяна и Федька из школы пришли.

Но самое главное веселье, конечно, молотилка у болота, к которой вплотную подходят поля. К бабам на зубы попадешь – изгрызут, измочалят, как сноп, а чуть маленько зазевался – чох из ведра водой, а то и с жатки стащат. Навалится со всех сторон горластая хохочущая орда – что с ними сделаешь?

Сегодня Михаил с удивлением посматривал в черную грохочущую пасть ворот, в которых столбом крутилась хлебная пыль. Он уже три раза проехал мимо, и хоть бы одна бабенка выскочила к нему из гумна.

Ага, вот в чем дело, догадался наконец, Железные Зубы тут (он узнал Ганичева по черному кителю, жестяно отливающему на солнце возле конного привода).

Районных уполномоченных стали приставлять к молотилкам с осени прошлого года. И будто бы такая мода заведена не только у них на Пинеге, но и в других районах области. Для того, чтобы колхоз быстрее выполнил первую заповедь. И для того, чтобы поменьше зерна попадало бабам за голенища. Так, по крайней мере, говорят, в шутку сказал Подрезов на каком-то районном совещании.

Поднявшись в угор, Михаил слез с жатки, выломал на промежке, возле дороги, черемуховую вицу: лошади сегодня ни черта не тянут, особенно Серко, на котором за грибами ездили.

Над черемуховым кустом лопотали осины, уже прошитые желтыми прядями. Серебряные паутинки плавали в голубом воздухе…

Михаил вспомнил, как из этого самого осинника он когда-то воровски поглядывал на Варварину поветь, и невольно посмотрел на ее дом.

У него глаза на лоб полезли: ворота на Варвариной повети были открыты. Те самые ворота, через которые он когда-то залезал по углу.

Он сел на промежек, чтобы прийти в себя. Значит, давеча ему не показалось – Варварины глаза были в окошке…

Мысли у него прыгали и скакали в разные стороны, как лягушата. Голова взмокла – не от солнца, нет. Сердце гремело, как колокол. Все, все было точь-в-точь как раньше, когда он был мальчишкой.

Что придумать? Что? Дождаться вечера? Темноты?

Он глянул на солнце – целая вечность пройдет, покуда дождешься вечера.

Так ничего и не придумав, он сел наконец на свое железное сиденье, погнал лошадей вниз, к молотилке.

Ворота на Варвариной повети все так же зазывно были открыты…

У молотилки остановил лошадей (те только этого и ждали), с бесшабашным видом пошел к бабам.

– Пить нету?

Глупее этого, наверно, ничего нельзя было придумать, потому что бабы с нескрываемым изумлением переглянулись меж собой: дескать, какое тебе питье надо – болото с ручьем под боком.

Нюрка Яковлева первая повернула разговор на «божественное»:

– С кем целовался? Какая милаха так жарила, что осенью высох?

– Ха-ха-ха-ха!

– О-хо-хо-хо-хо!

Подошедший на смех Ганичев строго заметил:

– График срываешь, Пряслин. Барабан загрохотал.

– Ну ладно! – беззаботно махнул рукой Михаил. И громко, чтобы все слышали: – Пойду к Лобановым. Я еще не привык с лошадями из одной колоды пить.

2

Раньше, пять лет назад, когда он белой ночью, как вор, крался с задов к Варвариному дому, самым трудным для него было проскочить от амбара в поле до повети – три окошка у Лобановых нацелены на тебя. И сколько же топтался и трясся он возле этого амбара, прежде чем решиться на последний бросок!

Сегодня Михаил прошел по меже мимо амбара не останавливаясь, а на лобановскую избу даже и не взглянул.

Закачало его, когда он подошел к воротцам да увидел в заулке свежепримятую траву: Варвара своими ногами топтала.

У него не хватило духу поставить свой сапог на ее след, и он начал мять траву рядом.

Руки сами по старой привычке нащупали в воротах железное кольцо с увесистой серьгой в виде восьмигранника. Сноп яркого света ворвался в нежилую темень сеней, вызолотил массивную боковину лесенки, по которой он столько раз поднимался на поветь…

Но он задавил в себе нахлынувшие воспоминания, взялся за скобу.

Варвара мыла пол. Нижняя подоткнутая юбка белой пеной билась в ее смуглых полных ногах, красная сережка-ягодка горела в маленьком разалевшемся ухе…

– Ну, чего в дверях выстал? Так и будешь стоять?

Михаил перешагнул через порог. Дунярка разогнулась.

Да, это была она, Дунярка, хотя и не так-то легко было признать в этой сытой, раздобревшей женщине с румяным лицом его мальчишескую любовь.

Впрочем, Дунярка и сама не скрывала происшедших с нею перемен.

– Крепко развезло? На дистрофика не похожа? Ничего, Сережка у меня не возражает. Его на сухоребриц не тянет.

Сполоснув руки под медным, уже начищенным рукомойником, она поздоровалась с ним за руку, подала стул, села сама напротив.

– А я тебя давеча тоже не сразу узнала. Вон ведь ты какой лешак стал, баб-то всех с ума, наверно, свел. Я в районе у тетки два дня жила – не видала такого дяди.

Дунярка говорила запросто, по-свойски, как бы приноравливаясь к нему, но именно это-то и не нравилось Михаилу. Как будто он уж такой лопух – языка нормального не поймет. А потом – за каким дьяволом постоянно вертеть глазами? В Пекашине и так всем известно, что в ихнем роду глаза у баб исправны.

За занавеской заплакал ребенок. Михаил вопросительно глянул на вскочившую Дунярку.

– А это Светлана Сергеевна проснулась. Ты думаешь, так бы меня Сережка и отпустил одну? Как бы не так. К каждому пню ревнует.

Дунярка не могла не похвастаться своим сокровищем и, прежде чем начать кормить девочку, вынесла показать ему.

– Вот какая у нас есть невеста, не видал? И два жениха еще растут. А чего теряться-то? Хлебы себе под старость растим. А ты все еще на прикол не стал? Не хочешь на одной пожне пастись? Хитер парниша! – И Дунярка опять покрутила глазами.

– А ежели тебе завидно, жила бы в девках, – сказал Михаил, на что Дунярка – уже из-за занавески – громко расхохоталась.

В избе, как показалось Михаилу, сладко запахло парным молоком.

– А я ведь пить зашел, сказал он, и ему и в самом деле захотелось пить. А кроме того, пора было сматываться. Поздоровался, пять минут посидел для приличия, а еще что тут делать?

Он встал, взял ковш со стола и увидел на стене знакомую фотографию Варвары. Карточка была давняя, довоенная, из-за отсвечивающего стекла лица не видно, но он так и влип в нее

глазами…

– Скажу, скажу тетке, как ты на нее смотрел, – раздался вдруг сзади смех. – Вот уж не думала, что у вас такая любовь. А я ведь, когда мне рассказывали, не верила…

У Михаила огнем запылало лицо. Он бешеным взглядом полоснул Дунярку и смутился, увидев у нее на груди, на белом, туго натянутом полотне, два темных пятнышка от молока.

Стиснув зубы, он пошел на выход. Дунярка схватила его за рукав.

– Вот кипяток-то еще! Слова сказать нельзя. Нет, нет, насухо ты от меня не уйдешь! Не выйдет!

Она силой усадила его к столу, вынесла из задосок начатую бутылку, из которой, по ее словам, уже отпил шофер, который вез ее из района, налила стакан с краями.

– Давай! За нашу встречу… – И простодушно, даже как-то застенчиво улыбнулась.

– А ты?

– А мне нельзя. У меня, видал, какая невеста-то? Или уж выпить? А, выпью! – вдруг с подкупающей решительностью сказала Дунярка и лихо, со звоном поставила на стол стопку.

Водка шальным огнем заиграла в ее черных и плутоватых, как у Варвары, глазах. И что особенно поразило Михаила – у Дунярки была та же самая привычка покусывать губы.

– А ты очень тогда на меня рассердился? – спросила она.

– Когда – тогда? В городе?

– Ага.

– Будем еще вспоминать, как ребятишками без штанов бегали!

Шутка Дунярке понравилась. Она залилась веселым смехом. Потом долгим, как бы изучающим взглядом посмотрела на него.

– Чего ты?

– А ты не рассердишься?

– Ну?

– Нет, ты скажи: не рассердишься?

– Да ладно тебе…

Дунярка заглянула ему в самые глаза.

– А ты скажи: сюда бежал – думал, тетка приехала, да?

Михаил махнул рукой (вот далась ей эта тетка) и встал. Дунярка тоже встала, проводила его до дверей:

– Приходи вечером, – вдруг почему-то шепотом заговорила она. – Придешь?

– Можно, – сказал не сразу Михаил и ринулся на улицу.

Он ругал себя ругательски. У него есть невеста – чем худа Райка? Разве не стоит этой вертихвостки? А его только хвостом поманили – поплыл. За что же тогда мочалить Егоршу?

"Нет, с этим надо кончать, кончать..." – говорил себе Михаил, спускаясь с Варвариного крылечка.

Говорил и в то же время знал, что никакие заклинания теперь не помогут. Он пойдет к Дунярке. Пойдет, хотя бы все пекашинские собаки вцепились в него...

3

Лизка глазами захлопала, Егорша шею вытянул. Даже Вася, показалось ему, своими голубыми глазенками разглядывал его праздничный пиджак, который он напялил на себя в этот будничный вечер.

Михаил не стал тянуть канитель. Рубанул сплеча:

– Сестра, я жениться надумал.

– Ну и ладно, ну и хорошо, – живехонько согласилась Лиза и прослезилась.

Она не спрашивала – на ком. И Егорша не спрашивал: давешняя поездка за грибами расставила все точки.

Но Егорша сразу же придал сватовству деловой характер: даешь бутылку!

– Сиди! – рассердилась Лиза. – Надо все обговорить, все обдумать, а он: даешь бутылку...

– Насчет бутылки я капут, – признался Михаил. – Может, завтра с утра сколько у председателя раздобуду, а на данное число у меня ни копья.

Бутылка, к великой радости Егорши, нашлась у Лизы – та еще в девках насчет всяких заначек была мастерица.

Выпили. Причем выпила и Лиза: как же по такому случаю не выпить!

– А мама-то хоть знает? Маме-то ты сказал? – спросила она.

Михаил круто махнул рукой: с чего же будет знать мама, когда он и сам до последней минуты не знал! Сидел, брился дома (ну, что-то из ихней встречи с Дуняркои выйдет?), а потом вышел на вечернюю дорогу из своего заулка, посмотрел в верхний конец деревни и вдруг повернул на все сто восемьдесят градусов.

– Нет, как хошь, – рассудила Лиза, – а маме надо сказать. Что ты! Кто так делает? Сын женится, а матерь сидит дома и не знает. Ладно, идите вы вдвоем, а я побегу к своим.

Лиза быстро оделась и вдруг пригорюнилась:

– Мы ведь с ума, мужики, посходили. Кто это женится, когда из дому только что покойника вынесли?..

– Это ты насчет дедка? – уточнил Егорша. – Ерунда на постном масле. Дедко ему родня на

девятом киселе. Подумаешь – сват! А потом, дедка я знаю. Дедко обеими руками за. Я помню, как он обрадовался, когда я преподнес ему тебя на золотом блюдечке.

Лиза в конце концов сдалась: она ведь сама хотела этой свадьбы. И, может быть, даже больше, чем жених.

На улице Егорша предупредил Михаила:

– Все переговоры с родителями и все протчее под мою персональную ответственность. А твое дело телячье. Ты в энтом деле голоса не имеешь. Понял?

Вечер был теплый и тихий. Запах печеной картошки доносился откуда-то из-под горы. Михаил, водя головой, поискал в темноте ребячий костер.

Костра он не увидел. Вместо костра он увидел огни на реке.

– Да ведь это пароход идет!

А чего же больше? Новый леспромхоз на Сотюге – знаешь, сколько надо забросить всяких грузов?

– Значит, это буксир, сказал Михаил. – Выгрузка будет.

Егорша хлопнул его по плечу:

– Брось! Нам, дай бог, со своей выгрузкой управиться. Думаешь, так вот с ходу: тяп-ляп – и вывернул карманы у Федора Капитоновича?

Михаил как-то обмяк за последнее время, забыл про Райкиного отца. А сейчас, когда заговорил о нем Егорша, у него так все и заходило внутри.

Пожалуй, никого в жизни не ненавидел он так, как ненавидел Федора Капитоновича. Ненавидел за житейскую хитрость, за изворотливость, за то, что тот, как клоп, всю жизнь сосет колхоз. И мало того что сосет – еще в почете ходит. До войны кто на колхозных овощах домину себе отгрохал? Федор Капитонович. А ведь в газетах расписали: колхозник-мичуринец, южные культуры на Север продвигает. То же самое во время войны с самосадом. Развел на колхозном огороде, у всех карманы вывернул, сколько-то на оборону бросил патриот, северный Голованов. На всю область прогремел. Ну, а после войны и того чище – заслуженный колхозник на покое. Пенсия, налоги вполовину, личный покос для коровы и председатель ревизионной комиссии…

Да, такой вот был человек Федор Капитонович. И этого-то человека судьба подкидывала Михаилу в тести!

Надо, однако, отдать должное старику: принял их с почетом. И не на кухне, а в передней комнате.

– Проходите, проходите, гости дорогие.

Как будто он только и ждал. А потом подал какой-то знак хозяйке – мигом раскрылась скатерть самобранка: рыба – треска жареная, солехи с луком, огурцы свежие (Михаил так и побагровел при виде их) и, конечно, бутылка «Московской».

Егорша ликовал. Он наступал на ноги Михаилу под столом, подмигивал: смотри, мол, в какой ты рай залетел!

Михаилу интересно было оглянуться вокруг – он первый раз был в передней комнате у Федора Капитоновича, но шея у него как-то не ворочалась, и он только и видел, что было перед его глазами: пышный зеленый куст во весь угол да высокую белую кровать с лакированной картиной на стене – полуголая красотка в обнимку с лебедем.

Егорша по поводу этой картины шепнул ему на ухо:

– Для возбуждения аппетита.

Речь свою повел Егорша, когда выпили.

– Как говорится, молодым у нас дорога, старикам везде у нас почет. Так говорю, Федор Капитонович? Не переврал песню?

Федор Капитонович пожал плечами и искоса поверх очков посмотрел на Михаила.

– Я в песнях не горазд, особенно когда про нонешнюю молодежь…

– Вот и напрасно! – воскликнул Егорша. – Ну да это дело поправимо. Где Райка? Сейчас мы эту песню споем.

Раечки дома не оказалось, она ушла полоскать белье на реку, но Егоршу это нисколько не смутило.

– На данном этапе это несущественно, – важно, со знанием дела сказал он. Суду и так все ясно: у нас, как говорится, купец, у вас товар – и хватит бочку взад и вперед перекатывать: пиво варить надо.

Федор Капитонович, как положено родителю, поблагодарил сватов за честь, которую оказали ему, а потом и запетлял и запетлял: дескать, не очень хорошее время выбрали, лучше бы повременить, поскольку еще в прискорбии ходите, и все в таком духе. В общем, выставил то же самое, о чем их предупреждала Лиза, смерть Степана Андреяновича.

Егорша на это авторитетно возразил:

– Касаемо свата ты брось. Ни в одной анкете у нас такая родня не указывается. А мы с вами, я думаю, не в Америке живем. В Сэсэрэ.

– В Сэсэрэ-то в Сэсэрэ, – вздохнул Федор Капитонович, – да в каком Сэсэрэ? В пекашинском. Вас-то, может, народ и не осудит, а мне-то по улице не ходить. Каждый будет пальцем указывать.

Смерть Степана Андреяновича для Федора Капитоновича была только предлогом для того, чтобы отказать им, – это Михаилу было ясно. А с другой стороны, нельзя было и не призадуматься над его словами: рановато им затевать свадьбу. И анкетой Егоршиной рот пекашинцам не заткнешь.

Тут в самый разгар переговоров в комнату влетела Раечка – в ватнике, в пестром платке. В первую секунду она удивилась, увидев таких гостей за столом, а потом все поняла, и жаром занялось ее лицо.

– Вот, доченька, сваты, сказал Федор Капитонович. – А я говорю, не время, подождать надо…

Егорша – закосел, сукин сын! – с ухмылкой оборвал его:

– Подождать можно, почему не подождать, да только чтобы посуда не лопнула. – И кивнул на Раечкин живот.

Конфуз вышел страшный. Федор Капитонович просто посерел в лице – каково отцу такое услышать! – и мать, как раз в это время заглянувшая с кухни, чуть не упала, а у самой Раечки на глазах навернулись слезы.

Михаил четко сказал:

– Ничего худого про свою дочерь не думайте. Райка у вас честная. А ты думай, что говоришь!

– А что я такого сказал? – огрызнулся Егорша. – Не все равно, когда обручи с бочки сбивают…

– А мы таких речей про свою дочь не желаем слышать, сказала ему в ответ Матрена, Райкина мать.

Мир за столом мало-помалу восстановился. Федор Капитонович пошел даже на попятный: они с матерью, дескать, не будут заедать жизнь своей дочери. Раз она согласна, то и они согласны. Но согласны только при одном условии: молодым жить у них, в ихнем доме.

– Ну, это само собой! – воскликнул Егорша. – Дворец у жениха известен…

– Нет, не само собой! – оборвал его Михаил. – Я со своего дома уходить не собираюсь.

– А чего? – удивился Егорша.

– А то! Мне, может, еще скажут, чтобы я и семью бросил, да?

– Райка, ты чего молчишь? – крикнул Егорша. Раечка – она сидела с матерью на кухне – показалась в дверях.

– Ну, доченька, – сказал Федор Капитонович, – закапывай отца с матерью заживо в могилу…

– Да к чему такой поворот? – возмутился Михаил. – Кто вас закапывает?

– А одних немощных стариков бросить? Ни воды, ни дров не занести.

– Ну, чего ты стоишь истуканом? – подтолкнула сзади Раечку мать. – Худо тебя отец родной поил-кормил? Разута, раздета ты у него ходила?

Раечка испуганно переводила взгляд с отца на Михаила, кусала губы, а потом сзади запричитала мать ("Что ты, что ты, доченька, делаешь? Без ножа родителей режешь…"), запричитала и она.

Михаил ничего подобного не ожидал. Ведь все же ясно как божий день. Райка его любит, он любит Райку – какого еще дьявола надо? А тут слезы, стоны, плач – как будто их режут… И добро бы только старуха заливалась, а то ведь и сама Райка ревет.

– Ну, вот что, сказал Михаил и встал из-за стола, – я еще никого за глотку не брал. Так что посидели – и хватит. Спасибо за угощенье.

– Нет, нет, – кинулась к отцу Раечка. – Я пойду за него, папа. Я люблю его…

И опять во весь голос завелась Матрена: дескать, его-то ты, доченька, любишь, а нас-то на тот

свет отправишь…

Михаил выбежал из дому.

Выскочивший вслед за ним Егорша схватил его за рукав:

– Чего ты делаешь? Все на мази. Райка согласна! Да я бы такую девку зубами вырвал! Слезы тебя расквасили, да? Папочку с мамочкой жалко стало? Идиот несчастный! Да по мне хоть все деревня меня на коленях умоляй, от своего бы не отступился!

Когда они отошли немного от дома Федора Капитоновича, Егорша опять закричал, ругаясь:

– А-а, к такой тебя матери! Иди. Дома ему жить надо… Как же! Чтобы навоз в свою кучу падал. Катай! Вон видишь, пароход у берега стоит, грузчиков ждет? Топай! Буханку заработаешь…

– Ну и потопаю! – взъярился Михаил. – Да, за буханкой потопаю. Думаешь, валяются у нас буханки-то на дороге? Тебе вон паек дали за то, что ты в отпуске, а мне чего дают?

– И правильно делают! Не будь ослом. Сколько я тебе говорил: уматывай из Пекашина! Не послушался. Ну дак и не вякай. Тащи хомут. Эх, да ну вас к дьяволу! Семь дней живу в вашем Пекашине, а только и слышу: буханки, корова, налог… Кроты несчастные! Хоть бы раз увидели, как люди по-человечески живут!

Егорша, не попрощавшись, вильнул в сторону.

Михаил прислушался к летучим шагам в темноте, посмотрел в сторону поля, туда, где у леспромхозовского склада яркими огнями сверкал пароход, и – дьявол со всей свадьбой – побежал к реке.

Глава шестая

1

Утром, лежа в постели, Егорка подводил итоги своего недельного пребывания в Пекашине: деда схоронил, семейное дело наладил, коня на крышу водрузил, винца, само собой, попил…

Хватит! Пора подумать насчет работенки, а то, чего доброго, найдутся любители в свои оглобли тебя загнать. К примеру, тот же самый Лукашин. Живо захомутает, ежели ворон считать. А захомутает – кому пожалуешься? Комсомолец. Внеси вклад в подъем сельского хозяйства.

Сказано – сделано.

Быстрый, по-военному, завтрак – большая, чуть да не литровая крынка утреннего молока с холода, – затем беглая разведка насчет транспорта, и вот он уже мчится в район на колхозной машине. С Чугаретти, которого Лукашин послал в райпотребсоюз за стеклом, навесными петлями и прочим железом для нового коровника.

В районе остановились напротив райпотребсоюза, в виду райкома.

Егорша сразу же, еще сидя в кабине, объявил себе боевую тревогу: быстро прошелся по запылившимся сапогам рыжей бархоткой, которую всегда носил в кармане завернутую в газетку (сапоги – это самое главное в солдатском деле), затянулся ремнем на последнюю

дырочку, оправил гимнастерку, посадил, как положено по уставу, пилотку на голове (два пальца над глазами) и с острым, бодрым холодком в груди выскочил на деревянные мостки. Нельзя ударить в грязь лицом перед райцентром, а особенно перед Подрезовым. Подрезов любит, заложив руки за спину, обозревать райцентр со своего КП. И кто его знает, может, он и сейчас стоит у окна.

Подрезова, однако, на месте не оказалось (он был в отпуске), и в первое мгновенье Егорша чуть не брызнул слезой – такая досада его взяла. Ведь мало того что с Подрезовым были связаны все его расчеты. Хотелось еще предстать перед первым во всем своем параде. Посмотри, дескать, на своего бывшего шофера. Не подкачал? Оправдал высокое доверие?

– А когда же первый из отпуска вернется? – спросил Егорша у помощника.

– Думаю, не раньше чем через месяц. Потому как у Евдокима Поликарповича две недели еще за прошлый год не использованы.

– Понятно, – сказал Егорша.

Он уже овладел собою, тем более что Василий Иванович, помощник Подрезова, предложил ему присесть на большой черный диван, а на этот диван Василий Иванович садит не каждого – это Егорша хорошо знал по прошлому. Да и вообще, Василий Иванович, часто мигая своими темными ласковыми глазами, с нескрываемым любопытством присматривался к нему: не часто такие солдаты заходят в райком.

Егорша, держа в руках свежую газету – для солидности, – начал выспрашивать про обстановку в районе. И в первую очередь про то, как район справляется с лесозаготовками, поскольку лес – это золотая валюта и основа нашего богатства.

– А похвастаться, пожалуй, нечем, – осторожно отвечал Василий Иванович. За этот квартал план на пятьдесят три процента выполнили.

– Причины? – Егорша придал своему лицу должную государственную суровость и озабоченность.

– Причины – реорганизация. Лесок поблизости от рек выбрали, и теперь с лошадкой ничего не сделаешь. Надо на механическую тягу переходить, узкоколейки строить, лежневки…

Тут из кабинета Подрезова вышел Фокин, третий секретарь райкома, который сейчас, в отсутствие Подрезова, командовал всем районом.

Егорша мигом вскочил на ноги, встал по стойке «смирно», отрапортовал:

– Товарищ первый секретарь райкома ВКП(б)! Младший сержант Суханов-Ставров закончил действительную службу в Советской Армии и прибыл в вверенный вам район для прохождения дальнейшего мирного и патриотического труда на благо партии и народу…

Рапорт этот, обдуманный и обкатанный Егоршей со всех сторон еще по дороге в район, предназначался для Подрезова, но все равно получилось здорово: заулыбался Фокин, показал, какие у него зубы, а то ведь вышел из кабинета с замком на губах. Строгостью да важностью самому Подрезову, пожалуй, не уступит.

– Это что же, из Пекашина Ставров?

Егорша уж помалкивал, виду не подал, что Фокин знает его как облупленного. В войну комсомолом в районе заправлял – на сплаве за один багор бревно таскали. Хрен с ним, раз надо инкогнито навести, наводи.

Отчеканил:

– Так точно, товарищ секретарь, из Пекашина. А лучше сказать, из Заозерья, поскольку Заозерье место рождения.

– Из Заозерья? А ну-ко, зайди, зайди.

Когда они оказались вдвоем в кабинете, Фокин, глубоко сунув руки в карманы галифе, спросил:

– Ты чего ж это, Суханов, райком компрометируешь, а?

Егорша вздрогнул: политика!

– Был у тебя на похоронах Тарасов?

– Был.

– В каком состоянии был?

– Да вроде так… нельзя чтобы сказать…

– Нельзя сказать… А ты скажи! Чему тебя три года в армии учили? В дымину, без задних ног был Тарасов. А ты что сделал? На народ распьянющего работника райкома выставил? Вот, мол, полюбуйтесь… Так?

– Виноват, товарищ секретарь, – упавшим голосом сказал Егорша. (Чего говорить – сухой, коли в куче дерьма сидишь.)

– То-то! – погрозил пальцем Фокин и подошел к зазвонившему телефону. Зарудный? Здравствуй, товарищ Зарудный. Ну, чем порадуешь?.. (Егорша сразу догадался: директор Сотюжского леспромхоза звонит.) Так, так, закончили прокладку дороги до Росох? На пять дней раньше? Это хорошо… Хорошо, говорю. А где лес?.. Лес, спрашиваю, где? Кубики… Ты мне брось на всякие причины ссылаться. Стране лес нужен, а не причины. Понял?

Ничего нового в самом разговоре для Егорши не было. Сколько он живет на белом свете, столько и разговоры про лес слышит. Поразил его Фокин. Лет восемь назад, когда он, Егорша, начинал свою трудовую жизнь, кто бы всерьез принял Митьку Фокина! Приедет к ним на Ручьи, только у него и дела, что зубы тебе заговаривать да клянчить насчет повышенного обязательства. Просто как бес вьется вокруг тебя в делянке. А теперь наоборот: ты вокруг него вьешься. А он горло поставил – не хуже Подрезова погромыхивает.

Когда Фокин повесил трубку и сел за подрезовский стол, Егорша с видом человека, очень хорошо понимающего главные заботы районного руководства, спросил:

– Чего-то не пойму, товарищ секретарь райкома… Все в части леса жалобы… Недооценка момента…

– Лес действительно поблизости вырублен, – сказал хмуро Фокин.

– Есть лес, товарищ секретарь. Мы на днях грибную вылазку делали – хорошую древесину

видели. Первый сорт.

– Где такая?

– В Красноборье. Под самым боком у Сотюги.

Фокин вздохнул:

– Красноборье – лес колхозный…

– Но, как говорится, государственные интересы у нас превыше всего… Когда колхозы не шли навстречу Родине?..

Черный фокинский глаз, как-то вразброд гулявший до этого по залитому солнцем кабинету, прилип к Егоршиному лицу. Ему сразу стало жарко: неужели ляпнул что-нибудь не то?

– Какие у тебя планы насчет работы? Решил что-нибудь? – спросил Фокин.

– Нет еще. Но хочется, чтобы направили в разрезе профессии, поскольку в армии я был водителем машины у генерала…

– У генерала? – живо воскликнул Фокин. – То-то я смотрю на тебя да все ломаю голову: с каких это пор у нас такая форма у солдат? А ты вон какой важной птицей был! Самого генерала возил… Так, так… Ну а если все-таки мы тебя в другом направлении двинем? А? Что ты на это скажешь?

На лесозаготовки, с упавшим сердцем подумал Егорша и сказал:

– Оно, конечно, лесной фронт во главе угла… Но ввиду семейных обстоятельств желательно, чтобы при доме, на широкой трассе, поскольку я только что похоронил деда…

– Значит, в колхозе решил? – сказал Фокин. – А если мы, скажем, в районе покрутиться предложим? Коммунальный отдел райисполкома знаешь? Дома, бани, пекарни, учреждения… Большое хозяйство. А скоро будет еще больше – растет у нас район. Очень важный участок. А он у нас оголен… Вот такие коврижки-коржики, – вдруг совсем весело и просто сказал Фокин. – Я думаю, хватит у тебя энергии, чтобы вытащить нашу районную коммунию. Ну а мы, райком, поможем…

Егорша взмок от всех этих слов. Он готов был пойти в пляс, вприсядку, скакать до потолка, а то и со второго этажа прыгнуть – скажи только Фокин слово.

Самое большое, на что он рассчитывал, это снова сесть за баранку райкомовского «газика», а тут вон как – на руководящую, да и на руководящую-то какую! На отдел райисполкома, в номенклатуру райкома! Было от чего закружиться голове. Правда, иной раз приходили ему мыслишки, что и он бы мог быть каким-нибудь начальником – сколько их, олухов, развелось, – но дальше завхоза или начальника снабжения мечты его не шли, потому как понимал: с его семью классами, да и то незаконченными, по нынешним временам высоко не прыгнешь.

Фокин встал, по-подрезовски заложил руки за спину, вышел из-за стола, и Егорша, стоя навытяжку, так и начал крутиться вслед за ним. Как подсолнух за солнцем. А за кем же ему крутиться? Кто когда возносил его на такие высоты?

– Значит, так, Суханов, – сказал Фокин, – дней через десять заглянешь. Попробуешь… Сперва,

конечно, врио, а там уж от тебя все будет зависеть. Как поворачиваться начнешь… Ясно?

– Ясно, товарищ секретарь, Суханов-Ставров не подведет.

2

Из райкома Егорша вылетел как застоявшийся жеребец – сила распирала его. И, честное слово, не будь это райцентр, дал бы строчку на километр, на два. А райцентр – ша, замри! Зануздай и захомутай себя.

Он любил дисциплинку, любил, чтобы было кому доложить и отрапортовать. И чтобы тебе сказали: правильно, Суханов! Молодец, Суханов! В разрезе линии шагаешь! А то бы и рыкнули при случае, ежели ногу сбил.

Раньше таким человеком для него в районе был Подрезов – вот чье одобрение и похвалу хотелось всегда заслужить. А сейчас оказалось, что и Фокин ничего умеет команды подавать. Хорошо взял его попервости в работу, неплохой расчес дал.

Как раз в то время, когда Егорша выскочил из калитки райкомовского палисадника, на деревянном настиле у райпотребсоюза замаячил кумачово-закатный берет Чугаретти.

– Чугаев, – крикнул Егорша, – приставь ногу!

Чугаретти, направлявшийся к своей машине, которая стояла в заулке райпотребсоюза напротив базара, где сейчас не было ни единой души, остановился. Он был ужасно мрачен, и от него несло сивухой.

– По случаю победы рванул?

– Не, с горя, – ответил Чугаретти и обиженно, по-детски ширнул своим широким негритянским носом.

– А конкретно, в расшифрованном виде?

– Чего – конкретно? Тот, Кондраха, уперся – никаких гвоздей. Слушать не хочет.

– Кондраха – это кто? Телицын, председатель райпотребсоюза?

– Ну.

Острое, до зуда в ладонях желание борьбы охватило Егоршу. Он посмотрел на плавящееся от солнца широкое итальянское окно на втором этаже, за которым сейчас сидел Фокин.

– Где у тебя документы?

– Какие документы?

– Наряды и все протчее.

– Нема бумаг. Иван Дмитриевич по телефону вчерась договаривался.

– Айда за мной!

Кондратия Телицына по его наружности давно бы надо поставить на конюшню: чистый мерин.

Лицо длинное, пухлое, желтое от оспы, нос горбылем и плешь с головы до пят. Как Невский проспект в Ленинграде, где Егорше довелось-таки раз побывать. Правда, в торговом деле Телицын дока. С дореволюционным стажем. Еще у купцов Володиных выучку прошел.

Егорша к нему в кабинет без стука и с ходу на басы:

– Это что за фокусы, товарищ Телицын? Я выхожу из райкома, а колхозный труженик, понимаешь, несолоно хлебавши от тебя… Не пойдет!

– С кем имею честь говорить? – спокойно, чуть ли не с позевотой спросил Телицын.

– Насчет чести покамест помолчим, товарищ Телицын. В данный момент твоя честь не очень чтобы очень… В подрыв колхозному строю!

– Точно, – подал откуда-то сзади голос Чугаретти. – У нас, понимаешь, снопы на молотилку не вожены, а машина где…

Егорша, не оглядываясь, махнул рукой: заткнись, тебя не спрашивают! Потом взял из пачки, лежавшей на столе у председателя, «беломорину», не спеша размял ее, остукал о стол, не спеша закурил и, мало того, сел на стол сбоку – генерал у них всегда так делал, любил почесать красную генеральскую лампасину о стол подчиненного.

Что тут поделалось с Телицыным, этого и сказать нельзя. Желтое лошадиное лицо вытянулось чуть ли не до стола, плешь пошла багровыми пятнами… Но вот что значит смелость! Стерпел, подтянул нижнюю губу и даже как-то весь подобрался.

– Не мудри, не мудри, старик, сказал Егорша и запросто, но в то же время и по-начальнически похлопал председателя по рыхлому загривку. – Кончай с этими старыми прижимами! – Намек на не очень революционное прошлое Телицына: на его службу у купцов Володиных. – Важную политическую кампанию срываешь. В показательные "Новую жизнь" выводим, а ты как помогаешь? Палки в колеса?

– Но я не могу отменять распоряжения райкома…

– Какие это распоряжения райкома? Я что-то не слыхал…

– Башкин сегодня звонил…

– Башкин?

Егорша на какую-то долю секунды замешкался. Кто такой Башкин? Новый человек в райкоме? Инструктор? Завотделом? Одно ему было ясно: не секретарь. А раз не секретарь, можно немножко этого Башкина и осадить. Да и что ему делать? Поздно было отступать.

– Ох, опять мудрит этот Башкин… – озабоченно вздохнул Егорша.

– Башкин сказал, – как по газете начал читать Телицын, – чтобы все стекло, имеющееся в наличии на складах райпотребсоюза, передать Сотюжскому леспромхозу… ввиду того, что этот объект в настоящее время является ударной стройкой…

– Ну, правильно! – живо воскликнул Егорша. Об этом же самом сейчас обсуждали у Фокина… Лес – это основа, товарищ Телицын, золотой фонд… А у нас картина в данный момент один минус. Худо работаем. На пятьдесят три процента план третьего квартала выполнили…

Телицын, медленно ворочая своей лысой головой, делал вид, что внимательно, с пониманием слушает этого необычного посетителя, а на самом-то деле – Егорша был уверен в этом – только и делал, что ломал свою лошадиную голову над тем, кто он, Егорша. Где служит? Старый, опытный волк – боялся сделать промашку: а вдруг да этот человек, так нахально развалившийся у него на столе под самым носом, какая-нибудь важная шишка!

Егоршу это забавляло. Но в конце концов он сжалился над стариком.

– Не верти впустую подшипниками. Новый зав коммунальным отделом райисполкома. – Егорша назвал свою фамилию, пожал руку председателю и сразу заговорил как равный с равным, как товарищ по работе:

– А в части стекла соображать надо, товарищ Телицын. Башкин ему сказал… А кто, Башкин будет отвечать за срыв коровника в Пекашине? Завершающий этап колхозного строительства на данную пятилетку… Башкину будет расчесывать кудри Подрезов?

Непонятно, как это раньше ему не пришло на ум имя Подрезова, зато сейчас ничего больше разъяснять Телицыну не нужно было. Все понял в один миг. Вот какой пароль это имя. Все двери открывает.

В общем, девять ящиков стекла Егорша вырвал. Ну а насчет личного провианта вопрос решился без всяких прений. Два килограмма сахара, три восьминки чая, три буханки черного хлеба, две буханки белого – это Телицын отвалил сразу.

На улице Чугаретти, с восторгом глядя на Егоршу, воскликнул:

– Ну, товарищ Суханов, ты и мастер же по части заправлять арапа…

– Шлепай, шлепай, – снисходительно сказал Егорша. В магазине народу не было – хлеб по спискам выдают с утра, – и продавщица, довольно смазливенькая чернушка, быстро отоварила его.

– Еще дымку подбрось, дорогуша, хоть пачечки две, – попросил Егорша.

– А дымку вам не положено, – ответила продавщица.

Действительно, про дымок Телицын забыл – Егорша обнаружил это уже тогда, когда вышел на улицу. Но возвращаться ему не хотелось. Да и самолюбие не позволяло. Какой же он, к хрену, завотделом райисполкома, ежели сельповский прилавок не сумел самостоятельно взять?

– Давай, давай, милуша, не разоришься, – зачастил Егорша, а главное, нажал на свой синий глаз с подмигом.

И глаз сработал: продавщица, улыбаясь, выбросила из-за прилавка две пачки «Звездочки».

Точно так же Егорша поупражнял свой глаз и на другой продавщице из соседнего мясного и рыбного отдела, хотя на морду та была и не шибко съедобна. Он запомнил слова старшины Жупайло, который в минуты отдохновения любил поучать своих питомцев: "Сколько раз увидишь бабу, столько раз и выворачивайся чертом, а иначе в нужный момент можешь дать осечку".

3

– Все в порядке, Иван Дмитриевич! Привез, девять ящиков – как в аптеке… Ну, жмот этот Кондраха! Гад буду, всю договоренность вашу похерил. Райком, райком – и никаких гвоздиков. Трясись обратно… Ставров помог! Как начал, начал Кондрахе массаж на лысину наводить, тот и копыта кверху – хоть все склады выворачивай.

– Ладно, Чугаев. Иди. До завтрашнего дня свободен.

Чугаретти угрюмо сверкнул своими беляшами, подождал, не скажет ли еще что хозяин, и вышел.

Загремела, застонала лестница под сапожищами, пушечным выстрелом бабахнули ворота на крыльце, а затем Лукашин услышал яростный визг и скрежет железа под окошком – Чугаретти заводил грузовик.

Анатолий Чугаев, при всей своей разбойной наружности, был как малый ребенок. Набезобразил, напортачил – выругай, хоть выпори – не обидится. Но уж если он сделал хорошее дело – приголубь, не пожалей хороших слов, а иначе он и не работник на другой день.

Лукашин хорошо знал эти причуды своего шофера, но разве ему сейчас до этого было? Разве человек, у которого пожар в доме, улыбается? А у него было пожар – плотники опять удрали на выгрузку. И когда! Среди бела дня, чуть ли не у него, председателя, на глазах.

Первой мыслью его было кинуться к реке: сволочи! Что делаете? Неужели не понимаете, что ежели коровник к холодам не будет готов, вся скотина померзнет?

Но он взнуздал себя – пошел в контору. Он ходил уже раз на берег, разговаривал с пьяными мужиками, а что вышло? Кричал, разорялся, грозился стожки отнять, а сегодня чем грозить?

На задворках, за амбарами, там, где новый коровник, догорало усталое, натрудившееся за день солнце. Красные лучи его насквозь прошивали колхозную контору, скользили по худому, небритому лицу Лукашина, который затравленно, как волк, бегал из угла в угол.

Что делать? Как совладать с этими мужиками?

Была, была одна закрутка – дать выставку из своей деревни. Решением общего собрания колхозников. За невыработку минимума трудодней и нарушение колхозной дисциплины. Кое-где подтягивали так подпруги в сорок восьмом – сорок девятом годах. Но, во-первых, плотники у него все сплошь инвалиды – какой с них спрос? Благодари бога, что вообще что-то делают. А во-вторых, даже если бы и удалось кого-нибудь закатать – разве это выход?..

Долго, до темноты раздумывал Лукашин, прикидывал так и этак. И ничего не решил – все с той же сумятицей в голове вышел из конторы.

Глава седьмая

1

Пекашино гуляло.

И добро бы только мужики завелись – без этого ни одна выгрузка не обходится, – но сегодня, похоже, и баб, и девок закружило.

У миленочка одиннадцать,

Двенадцатая я.
Он по очереди любит,
Скоро очередь моя.
Задушевная подруга,
Супостаток сорок семь.
Я на это не обижусь,
Погулять охота всем.
Горе нам, горе нам,
Горе нашим матерям.
Выдай, маменька, меня
Не будет горя у тебя.

Девкам Лукашин не удивлялся. Молодость. Самой природой положена любовь в эти годы. И что же им делать, когда на весь колхоз один стоящий парень Михаил Пряслин? Топчи свой девичий стыд, хватай крохи с чужого стола, а то так и засохнешь на корню, как засохли твои старшие подруги, юность которых пала на войну.

Но бабы, бабы… вдовы солдатские… У них-то откуда берется сила?

Разуты, раздеты, жрать нечего – старухи беззубые, какая им любовь? А ну-ко послушай – кто это врезался своим хрипловатым, простуженным голосом в звонкие девичьи переборы?

Да, жизнь брала свое. И всходили всходы, первые послевоенные всходы хилые, худосочные, не знающие ни мужского догляда, ни ласки. Дички, имя которым безотцовщина…

Долго, до тех пор, пока Лукашин не вошел в дом Житовых, рвали его слух то тут, то там вспыхивающие в осенней темени задорные частушки.

На кухне у Житовых была одна хозяйка. Выгнув полную белую шею, она сидела за кроснами – массивным ткацким станком – и при свете лампы ткала холст.

Кросна из жизни деревни ушли еще перед войной, но сейчас многие из тех, у кого они уцелели, годами пылясь по темным углам повети и клетей, снова запрягли их в работу.

Труд допотопный, на износ: ведь надо коноплю и лен посеять, убрать с поля, вымочить в яме, высушить, превратить в волокно, потом волокно это спрясть, выбелить, навести основу… – каждый аршин холста выходил золотым. Но что делать? Голым ходить не будешь – приходится идти и на этот труд.

– Где хозяин? – спросил Лукашин.

– В клубе своем, наверно.

– В каком клубе?

– В бане. Так они, пьяницы, зовут нынче нашу баню. Раньше, в те годы, все тут, на кухне, табак жгли, а зимой я с кроснами разобралась – выгнала. Вот они и обосновались в бане.

Лукашин вышел на крыльцо. Из кромешной осенней темени на задах действительно лучился свет.

Как же он раньше-то не догадался об этом? Ведь сколько раз видел этот свет по вечерам! И еще удивлялся: ну какие чистюли эти Житовы – чуть ли не каждый день в бане моются…

2

Лукашину не раз приходилось бывать в бане Житовых, которая для хозяина одновременно служила столяркой. Поэтому, выкурив на крыльце папиросу, он довольно уверенно двинулся по тропинке на свет на задах огорода.

Крепкий мужичий хохот докатывался оттуда. Взрывами, залпами. Как будто там то и дело метали жар на раскаленную каменку.

Когда он наконец, изрядно вымочив в картофельной ботве брюки на коленях, вышел к бане, к нему из темноты прыгнула ласковая мохнатая собачонка, и он понял, что тут в числе прочих есть и Филя-петух.

Собак в Пекашине сейчас было три: Найда, злая, свирепая сука, заведенная объездчиком Яковлевым на смену Векше, которую года три назад переехало грузовиком, голосистый щенок Пряслиных и вот эта самая малорослая шавка, которую нынешней весной всучил Филе какой-то приятель с лесопункта за старые долга.

Верка, жена Фили, поначалу выходила из себя: в доме самим жрать нечего до собаки ли? Но Филя, по его же собственным словам, раза два сделал Верке внушение – крепкие, увесистые у него кулаки, хоть сам и маленький, – и собачонка осталась.

Лаская рукой игриво прыгающую вокруг него Сильву – такое имя было у собачонки, – Лукашин тихонько вошел в сенцы, ощупью отыскал скобу на дверке и вдруг услышал свою фамилию:

– Лукашин-то прищучит? – Да клал я на него с прицепом. Чего он мне сделает? Поразоряется, поразоряется да сам же и поклонится…

Игнатий Баев ораторствовал – его блудливый голос разливался за дверкой.

– Не скажи, – возразил ему Петр Житов.

Но тут с треском, с грохотом начали припечатывать костяшками – в бане забивали "козла", – и какое-то время только и слышалось оттуда про азики, про рыбу, про мыло. Потом, когда игра понемногу выровнялась и страсти поулеглись, Игнатий Баев опять принялся трясти его, Лукашина. Дескать, какого хрена перед ним на задних лапах ходить? В случае чего ведь можно и выставку дать – колхоз у нас, а не частная лавочка.

– Полегче на поворотах, – раздался предостерегающий голос Петра Житова. Советую.

– А что?

– А то. В Водянах один все глотку надрывал, знаешь, теперь где?

– Это Васька-то беспалый?

– Хотя бы.

– За Ваську не беспокойтесь, – живо вмешался Аркашка Яковлев. – На днях письмо было. Ничего, говорит, края сибирские, – жить можно. Без коклет да без компоту за стол не садимся – на золотых приисках вкалывает. И бабе своей тысчонку да посылку сварганил.

– Ну вот видишь? – торжествующе воскликнул Игнатий. – А мы с тобой много этих самых коклет да компоту едали? И потом, вот что я тебе скажу. Он хоть и чужак-чужак, а понимает:

без нашего брата ему никуды…

– Кто чужак? – вскричал Чугаретти. – Иван Дмитриевич? Не согласен!

Тут в бане поднялся страшный шум и галдеж. Игнатий Баев, Аркашка Яковлев, Филя-петух – все трепали и рвали Чугаретти, учили уму-разуму: дескать, не вылезай из общей упряжки, не холуйничай, не сучься.

Чугаретти попервости огрызался, тому, другому сдачи давал, но под конец и он запросил пощады:

– Да что вы, понимаешь, все под дыхало да под дыхало! Когда Чугаретти сукой был? Чугаретти, понимашь, всю жизнь по честности…

Лукашин решил воспользоваться шумихой в бане и дать задний ход – все равно теперь никакого разговора с мужиками не будет, а ежели и будет, то один крик, – но тут на дороге у Житовых взыграли частушки, и вскоре в огороде зашаркали сапоги.

Неужели какая-нибудь баба шлепает сюда, чтобы выманить на улицу мужиков?

Нет, девки и бабы скорее всего гнались за Михаилом Пряслиным – его упрямый, с поперечной бороздкой подбородок, освещенный малиновой цигаркой, качнулся в темноте у порога.

Прижавшегося к шероховатой, пропахшей дымом стене Лукашина больно ударило дверкой по ногам, желтая полоска света наискось разрубила темные сенцы.

В бане взвыли от радости:

– Мишка, ты?

– Давай, давай сюда!

– Хочешь за меня постучать?

– Я тоже могу уступить.

– Не, играйте, – сказал Михаил и с треском опустился не то на скамеечку, не то на какой-то ящик.

Тем временем бабы и девки на дороге опять начали подавать свои позывные, и Аркашка Яковлев рассмеялся:

– Какая ему игра сегодня? Вишь ведь, какой спрос на него…

– Ну как, Пряслин, крепко угостил зятек? – полюбопытствовал Петр Житов. Говорят, из района приехал – воз всякой продукции навез.

– Тащил бы его сюды – может, и нам чего откололось.

– Ну уж нет! – сказал Аркашка. – Ежели с кого и приходится сегодня калым, дак с самого Мишки.

– С меня? Это за что же?

– За что? А хотя бы за то, что из холостяков выписываешься.

– Мишка, правда?

– Неуж к нашему берегу надумал?

– Ух и девка же эта Райка! М-да-а-а…

– А я бы, мужики, век с холостяжной жизнью не расставался, сказал Филя-петух.

Все так и грохнули.

У Фили-петуха в тридцать два года только в одном Пекашине насчитывалась дюжина ребятишек (пятеро в своей семье да семеро россыпью по всей деревне). А кроме того, был еще немалый приплод на лесопункте, где он каждую зиму отбывал трудповинность. Черт его знает, что за человек! Сам маленький, щупленький, бельмо на одном глазу, а юбочник – каких свет не видал.

Игнатий Баев – хлебом не корми, а дай поточить зубы – сказал:

– Ты хоть бы, Филипп, раскрыл нам свои секреты, поделился опытом передовика на данном фронте.

– Чего, скажи, мне делиться-то, – ответил за Филю Аркашка (тоже ерник не последний). – Надо, скажи, патриотом быть, сознательность иметь. Верно, Филя?

– Да, я, мужики, это дело уважаю. Моему здоровью оно не вредит…

Простодушный ответ Фили вызвал новый взрыв смеха, затем Аркашка, явно желая продолжить удовольствие, подбросил еще одно полено в огонь.

– Ну, чего я говорил! – воскликнул Аркашка на полном серьезе. – Он в бабку свою Дуню, да, Филя? Ту, бывало, у нас дедко до самой смерти хвалил. За эту самую сознательность. К другой, говорит, идти надо – тетеру или еще какой провиант прихватить, а Дунюшка, говорит, ничего не спрашивает – только чтобы сам в исправности был…

Положение у Лукашина было самое идиотское. Ведь если его накроют мужики за подслушиванием – скандал на всю деревню. Да и не только на деревню. На весь район. А с другой стороны – что делать? Кто-то из мужиков, как назло, толкнул в сенцы дверку – наверняка чтобы дым табачный выпустить, – и он в углу за этой дверкой оказался как в капкане: не то что двинуться к выходу – пошевелиться нельзя.

Между тем в бане перестали стучать костями, и по всем признакам было ясно, что мужики вот-вот начнут расходиться: шумно, с потягом зевали, слова из себя выжимали нехотя, подолгу молчали. И вдруг, когда Лукашин уже решил было поднять в сенцах шум и грохот, а затем с беззаботным видом ввалиться в баню надо же было как-то выбираться отсюда! – за дверкой опять разгорелся спор. И какой спор! Как будто специально по его, Лукашина, заказу – о том, что делать завтра. Можно ли взять с утра азимут на берег, к орсовскому складу? (Игнатий Баев так выразился – разведчиком на войне был.)

Четверо – Аркашка Яковлев, Филя-петух, сам Игнатий и тугодумный молчун Вася Иняхин (первый раз открыл рот за весь вечер) – без колебаний высказались за. Чугаретти, как шофер, был не в счет. Петра Житова, наверно, не спрашивали из уважения к его положению.

Оставался еще Михаил Пряслин – его ответа ждали.

Наконец Михаил сказал:

– Я поближе к вечеру подойду.

Тут баня заходила ходуном. Кто яростно наседал на Михаила (дескать, друзей, товарищество подрываешь), кто, наоборот, с такой же горячностью защищал его (у Пряслина нет в кармане белого билета – можно и застучать), кто вдруг ни с того ни с сего начал восхвалять Худякова. За то, что у Худякова завсегда люди с хлебом…

На это Чугаретти сказал:

– А чего дивья? Потайные поля у него… Чугаретти, как всегда, не поверили, его начали уличать во лжи, в завиральности. До тех пор, пока свое веское слово не произнес Петр Житов:

– Насчет потайных хлебов не скажу, может, и брехня. А то, что у Худякова голова шурупит, это факт. И про нашего брата думу имеет – тоже факт.

После некоторого молчания – это, между прочим, всегда так бывает, когда Петр Житов высказывается, – Игнашка Баев раздумчиво сказал:

– Некак приспособиться – вот в чем вся закавыка. Никакой щели не осталось – все запечатали. У меня зять Николай пишет, на Украине живет: все яблони, говорит, у себя похерил.

– Как это похерил?

– Порубал. Каждую яблоню налогом обложили.

– А у нас покамест сосны да ели еще обложить не догадались.

Тут опять в разговор вмешался Петр Житов: заткнись, мол, не на те басы нажимаешь.

– Пошто не на те? Я по жизни говорю!

– А я говорю, включи тормозную систему. Спокойнее спать будешь по ночам. Понял?

Лукашин не мог больше оставаться в своем закутке – все вот-вот попрут на выход мужики, – и он, уже не заботясь о тишине, с шумом, грохотом ринулся в ночной огород.

3

Ну и сволочи! Ну и сволочи… Нет, какие сволочи! Лукашин – чужак, Лукашин жить им не дает…

Да, за эти полчаса-час, что он стоял, затаясь, в сенцах, он узнал пекашинцев, пожалуй, больше, чем за все пять лет своей председательской работы. Да и председательствовал ли он? Был ли хозяином в Пекашине? Не Петр ли Житов со своей компанией вершил всеми делами? Ведь что, по существу, было сейчас в бане у Житовых? А заседание мужичьего правления. Да, да, да! Нечего тень на плетень наводить. Все обсудили, все порешили: как быть с выгрузкой, кому можно идти, кому остаться на колхозной работе…

Лукашин шагал в кромешной темноте осеннего вечера, думал о том, что приоткрылось ему только что в житовской бане, а девки и бабы по-прежнему трезвонили свое.

У клуба его опознали, и вслед ему полетели знакомые припевки:
Это что за председатель,
Это что за сельсовет?
Сколько раз я заявляла:
У меня миленка нет!
Девок много, девок много,
Девок некуда девать.
Из Москвы пришла записка
Девок в сани запрягать.
У кого миленка нет,
Заявляйте в сельсовет.
В сельсовете разберут,
Всем по дролечке дадут.

В правлении горел свет. По сравнению с чахлыми коптилками в домах колхозников он походил на маяк – вот что значит лампа со стеклом.

Но кто же там сейчас? Ганичев?

Ганичев, уполномоченный райкома по хлебозаготовкам, каждый вечер приходил в контору и сидел тут долго, до часу ночи. На случай, если позвонит районное начальство. Времени, однако, он зря не терял: оседлав железными очками свой сухой, костлявый нос, штудировал "Краткий курс", который, впрочем, и так знал чуть ли не наизусть, либо читал другую политическую литературу.

– Ну, как дела в Водянах? – спросил Лукашин.

Ганичев почти неделю пропадал у соседей, где он тоже шуровал по хлебным делам.

– Порядок. Мы там ценную инициативу проявили – круглосуточные посты дежурства на молотилках организовали. У вас это тоже надо сделать.

– У нас не то что посты – хлеб некому убирать.

– Это другой вопрос – организация труда, сказал Ганичев. – А я в данный момент на бдительности и охране зерна заостряю.

– А сам-то ты как? Ел сегодня? – чисто по-человечески поинтересовался Лукашин.

– Давеча немного в Водянах подзаправился.

– А чего же к нам не зашел? Жена бы накормила.

Ганичев что-то невнятно пробормотал себе под нос и опустил глаза.

Лукашин про себя обиженно хмыкнул: тоже мне невинная девица! Как будто ему в новинку подкармливаться в ихнем доме. Да не бывало дня, чтобы, приехав в Пекашино, Ганичев не пил и не ел у них. А когда Лукашин ехал в район, Анфиса специально совала ему шаньги да ватрушки – гостинцы для вечно голодных ребятишек Ганичева.

Пройдя к своему председательскому столу, Лукашин полез в ящик: страсть как хотелось курить. Последнюю папиросу он выкурил еще на крыльце у Житовых.

Ничего! Даже самого завалящего окурка не было. Ну а Ганичева насчет курева и спрашивать нечего. Ганичев курил. И курил жадно, взасос, но только тогда, когда его угощали, а своего табака не имел. Не мог тратиться – дай Бог дома концы с концами свести.

Лукашин снова начал рыться в столе, даже бумаги из ящика начал выкладывать, и вдруг рука его в глубине ящика наткнулась на какой-то острый, колючий камень.

Он вынул его, положил на стол.

Странный какой-то камень – серый, очень легкий и с вмятинами.

– Чего там нашел? – спросил Ганичев.

Лукашин взял камень в руки – пальцы влипли во вмятины. Плотно. Емко. Настоящий кастет! Только слишком легкий…

И вдруг вспомнил, что это такое. Хлеб. Хлеб, которым его угостила когда-то Марья Нетесова. В тот день, когда они с Ганичевым подписывали Нетесовых на заем. Он сунул тогда этот страшный мокрый кусок, похожий не то на черное мыло, не то на глину, в карман шинели и всю дорогу до самого правления сжимал его в кулаке. Вот откуда эти глубокие вмятины, в которые так плотно вошли его пальцы.

Ганичев что-то говорил ему, спрашивал, но что – Лукашин не мог понять. Он только видел его железные зубы. Крепкие железные зубы на худом голодном лице.

Так ничего и не сказав ему, он вышел на улицу, сжимая в кулаке проклятый сухарь.

…Никто не думал, что умрет Марья. Когда хоронили Валю, все боялись за Илью. Потому что все знали, как он любил дочку. А Марья – что же? О Марье и речи не было. Да и на похоронах она держалась не в пример своему мужу. Того прощаться с Валей (перед тем как заколотить гроб) привели под руки, а Марья нет. Марья сама отпела дочку, сама курила над ней ладаном, а на кладбище даже лопату в руки взяла, чтобы помочь ему, Лукашину, поскорее зарыть могилу, никого из мужиков, кроме него, не было в деревне, все были в лесу на месячнике.

И вот не прошло после похорон Вали и полугода, как вдруг однажды утром, хватаясь за косяки дверей, вваливается в избу Анфиса – за водой ходила:

– Илья Нетесов еще одну покойницу привез… Марью…

– Марью? Жену?

– Да. С тоски, говорят, по Вале померла…

На этих похоронах Лукашин не был: его в тот день вызвали на бюро райкома с отчетом о строительстве скотного двора. И – чего скрывать – он был рад этому вызову. Потому что он боялся встречи с мертвой Марьей. Потому что, как ни крути, ни верти, а есть, есть его вина в смерти обеих – и дочери, и матери.

Сухарь, зажатый в кулаке, начал покрываться слизью, и на какое-то мгновение Лукашину показалось, что вовсе и не было этих долгих трех лет, что все по-старому, все так, как было в тот день, когда они с Ганичевым возвращались от Нетесовых…

Сверху, из непроглядного мрака ночи, на разгоряченное лицо упало несколько прохладных

капель. Неужели дождь будет? – подумал Лукашин. Ну тогда хоть живым в землю ложись. Мужики с утра удерут на выгрузку, и никакими веревками их оттуда не вытянешь: законно! Сам Бог за них…

Зашуршало, залопотало над головой (вот куда его в темноте занесло – к маслозаводу, где стоял один-единственный тополь в Пекашине) – припустил дождик. У клуба кто-то жалобно, словно нарочно бередя ему сердце, пропел:
Конь вороной,
Белые копыта.
Когда кончится война,
Поедим досыта.

Лукашину вспомнился мужичий разговор про потайные поля у Худякова. Да, вот с кем ему хотелось бы сейчас поговорить – с Худяковым.

Давай, Худяков, раскрой свои секреты. Расскажи, как ты ухитряешься накормить своих колхозников. А у меня ни хрена не получается. Бьюсь, бьюсь как рыба об лед, а толку никакого. Все один результат: весной сею, а осенью выгребаю…

Дождик кончился внезапно – тучка, наверно, какая-то проходная брызнула.

Надо действовать! Надо во что бы то ни стало, любой ценой удержать мужиков на коровнике. А иначе – гроб. Гроб всем – и коровам, и колхозу…

4

– Кто там?

– Я, Олена Северьяновна. К хозяину.

На какой-то миг за воротами наступила мертвая тишина (Олена, видно, раздумывала, как ей быть: открывать или не открывать), и Лукашин отчетливо услышал шаги в ночной темноте на дороге. И даже чуть ли не разочарованный вздох. Это Нюрка Яковлева отвалила.

Нюрку встретил он напротив дома Фили-петуха и, хотя была кромешная темень, сразу узнал ее по накалу серых неспокойных глаз.

– Что, Нюра, на осеннюю тропу вышла?

И вот столько и надо было Нюре. Живехонько пристроилась сбоку, пошла, похохатывая и скаля в темноте зубы…

Глухо, как отдаленный гром, прогремела железная щеколда. Лукашин вошел в знакомые сени и, шагая вслед за Оленой, от которой волнующе пахло теплой постелью, переступил порог кухни.

В кухне горела коптилка. Белым ручьем вытекал холст из сумрака красного угла.

– Вставай! – услышал Лукашин сердитый голос из-за приоткрытых дверей. Председатель пришел.

– Какой председатель?

– Какой, какой! Какой у нас председатель?

– Я, между прочим, не звал никакого председателя.

– Не выколупывай, дьявол, а вставай. Начитается всяких книжек и почнет выколупывать. Слова в простоте не скажет.

В избяной тишине жалобно охнула пружина, потом что-то стукнуло о пол ("Костыль берет", – подумал Лукашин), и вскоре из передней комнаты вышел Петр Житов. Хмурый, недовольный, в одном белье.

– Ты уж, Петр Фомич, извини, что в такое время беспокою…

– Лишний звук! К делу.

Опираясь на крепкий березовый костыль своей работы, Петр Житов проковылял к столу, сел на свое хозяйское место и гостю кивнул на табуретку возле стола.

Лукашин присел.

– Ты знаешь, зачем я пришел, Петр Фомич. Так что давай выкладывай.

– А чего мне выкладывать? За других не скажу, а завтра к реке иду.

– На выгрузку?

– Вроде.

– Так, – медленно сказал Лукашин. – А как с коровником?

– А у коровника хочу отпуск взять. По инвалидности, – добавил Житов, чтобы сразу же исключить всякие недомолвки.

– Ясно. Работать на коровнике не можем – инвалидность мешает, а таскать мешки – это мы пожалуйста…

Петр Житов покачал головой.

– Я думал, у тебя, товарищ Лукашин, пониманье есть, сердце… А ты… Эх ты! Чем вздумал попрекать Петра Житова? Выгрузкой? А ты не видал, нет, как Петр Житов идет на эту самую выгрузку? Полдороги пехом да полдороги ребята под руки ведут… Понял? Вот как Петр Житов на выгрузку идет. Дак как думаешь есть от такого грузчика польза? Выгодно со мной мужикам?

Темная, лопатой лежавшая посреди стола волосатая ручища судорожно сжалась. Короткий всхлип вырвался из груди Житова.

– Да ежели хочешь знать, мне каждая буханка, каждый кусок с берега поперек горла. У мужиков ворую. Понял?

Да, Лукашин знал, что это за каторжный труд – выгрузка. Бывал весной. До дому кое-как от реки доберешься, а чтобы поесть, попить чаю – нет: замертво валишься. Так ведь то его, здорового мужика, так выматывает, а что же сказать о Петре Житове с его деревягой?

Темная тяжелая рука лежит на столе перед Лукашиным. Указательный палец торчит обрубком, большой палец раздавлен – в прошлом году под бревном на скотном дворе

прищемило, – мизинец скрючен… А сколько на ней, на этой руке, белых рубцов – порезов и порубов!

Нелегкая, неласковая рука. Но все, все, что делалось в ихнем колхозе за последние пять лет, делалось этой рукой. Аркашка Яковлев, Игнатий Баев, а тем более Василий Иняхин и Филя-петух – ну какие они сами по себе мужики? Топора и пилы не наставить, самая что ни есть нероботь…

Да как же я раньше-то этого не понимал? Всю жизнь считал Петра Житова за своего врага, думал: он мутит воду, он палки в колеса ставит. А что бы я делал без этого врага?

Лукашин достал из грудного кармана пиджака растрепанный блокнот, вырвал листок и быстро написал записку.

– Вот. По пятнадцать килограмм ржи на плотника. Можете завтра с утра на складе получить, да только, пожалуйста, потише. Незачем, чтобы вас все видели…

Петр Житов надел очки, внимательно прочитал записку. Положил, подумал.

– С огнем играешь.

– Ладно, – махнул рукой Лукашин. Не все ли равно, из-за чего пропадать: из-за разбазаривания хлеба в период хлебозаготовок или из-за массового падежа скотины, который начнется с наступлением холодов.

Петр Житов закурил. Лукашин тоже наконец прополоскал свои легкие махорочным дымком.

Эх, если бы еще он догадался захватить бутылку! Вот бы и посидели, вот бы и поговорили по душам. А то что это такое? Пять лет он живет в Пекашине, а все как-то сбоку, все в одиночку.

– А все-таки зря ты разоряешься из-за этого коровника.

– Зря? – Лукашина будто обухом по голове хватили. Ведь он-то думал: поняли они наконец друг друга. – Почему зря?

– Да потому… Чего он даст нам, этот коровник?

– Я думаю, ясно чего: молоко. Раз земледелие в наших условиях разорительно, какой же выход?

– Ерунда, – насупился Петр Житов. – Нас, ежели хочешь знать, и так коровы съели… Молоко… Ну-ко прикинь, чего нам стоит литр молока. Рубля два с половиной. А сколько нам за литр платят? Одиннадцать копеек…

Лукаши молчал. Ему нечего было возразить. Каждый мало-мальски умный человек понимал это. И разве они с Подрезовым не об этом же самом говорили на Сотюге? Но что делать? Не может же он сказать Петру Житову: правильно! Махнем рукой на коровник.

За приоткрытой дверью тяжело ворочалась во сне на кровати полнотелая Олена. На улице под окошком что-то хрустнуло – неужели кто-то там стоял?

Лукашин разудало и беззаботно тряхнул головой:

– Так, значит, договорились? Завтра с утра на коровник? – И, быстро сунув руку хозяину,

выскочил на улицу.

Ночное небо прояснилось – хороший день будет завтра.

Эх, подумал с горечью Лукашин, глядя на мерцающую звездную россыпь над головой, и у них на небосводе с Петром Житовым проступила было ясность. Да только ненадолго, всего на несколько минут. А теперь, похоже, опять все затянет облажником…

Глава восьмая

1

В ту самую минуту, когда по сосновой крышке гроба застучали первые горсти земли, Лиза, задыхаясь от слез, дала себе слово: каждый день хоть на минутку, на две забегать на могилу к свекру.

И не сдержала слова. Ни на другой день, ни на третий, ни на четвертый…

Бегала, моталась мимо кладбища туда-сюда – то на коровник, то с коровника – сколько раз на дню? А ничего не замечала, ничего не видела: ни нового столбика, белеющего в соснах за дорогой, ни самих сосен – те-то уж просто за подол цеплялись. Одна думушка владела ею: когда увижу Егоршу?

И даже вчера, в девятый день, не выбралась к дорогому покойнику.

Вчера с Егоршей они уговорились: днем, как только он вернется из района, всей семьей, всей родней сходить на могилу, а затем, как положено, справить поминки.

Но Егорша вернулся только поздно вечером и распьяным-пьянехоньким. Да мало того: стал куражиться, похваляться какой-то большой должностью, которую ему в районе дали, а потом, когда она, Лиза, начала выговаривать ему все, что у нее накипело на сердце за день, просто взбесился: не тебе, навознице, меня учить!.. Скажи спасибо, что тебя на свет вывели…

А тут, как на грех, в избу вошел Михаил и все, все высказал Егорше: дескать, ты довел дедка до могилы! Своим письмом довел… Из-за тебя старик на Синельгу побрел…

Оба кричали, оба орали – только что кулаки в ход не пускали. И это в девятый-то день!

Тихо, с покаянно опущенной головой подходила Лиза к могиле.

Холмик у Макаровны колосился высоким, тучным ячменем – Лиза весной его посеяла, – а могила Степана Андреяновича была голая, по-сиротски неуютная, с двумя неокоренными сосновыми жердинками, вдавленными сверху в желтый песок. Черные угольки валялись по обе стороны заметно осевшего бугра – остатки от кадильницы с ладаном, которым Марфа Репишная окуривала могилу…

Лиза опустилась на колени.

– Ты уж, татя, прости меня, окаянную. С ума я сошла… Начисто потеряла и стыд, и совесть… Вчера-то уж я знала, что ты меня ждешь… Да я… Ох, татя, татя… Хватит, порасстраивала я тебя немало и живого, а что – таить не буду… Опять у нас все вкривь да вкось пошло… Я уж, кажись, все делала, все как лучше хотела, веником и метелкой вокруг него бегала, а ему – не знаю чего и надо… Ох, да что тебе сказывать, ты ведь и сам все видишь.

Тут Лиза, сложив руки на груди, подняла кверху заплаканное лицо да так и застыла.

Ну не диво ли? Не чудо ли на глазах сотворилось? Из дому вышла – туман, коров провожала – туман и сюда шла – тоже туман, чуть не руками разгребала. А вот сейчас солнце и радуга во все небо…

Это татя, татя меня успокаивает, он бога упросил солнце выкатить, растроганно подумала Лиза.

Спустил ее на грешную землю Игнатий Баев, который вдруг, как медведь, вылез сбоку, треща сухими сучьями. Да не порожняком, а с мешком за плечами вот что больше всего поразило Лизу.

Да откуда же это он? Что у него в мешке? – подумала она, провожая глазами нескладную, долговязую фигуру, и тут же устыдилась своей суетности: Господи, в кои-то поры выбралась к свекру на могилу, так нет того чтобы хоть полчасика мыслями и сердцем побыть с ним, – начала по сторонам глазеть.

Однако сколько ни стыдила и ни совестила себя она, Игнат Баев не выходил у нее из головы, а тут вскоре, к ее великому удивлению, и еще один мешочник на кладбище объявился – Филя-петух.

– Филипп, откуда вы это с мешками? Чего тащите?

Филя три года проходу ей не давал. Где ни встретит, когда на глаза ни попадешься, начнет хихикать да своим кривым глазом подмигивать: когда, мол, дролиться начнем? Страсть какой охотник до баб! А тут она сама окликнула – не только не остановился, стал удирать от нее. Как сорока-белобока зашнырял в сосняке, так что она с трудом и догнала его.

– Откуда это ты, Филипп? Что за моду взяли – по кладбищу с мешками разгуливать? Дороги для вас нету?

– Да я это, вишь, так… Вишь, свернул маленько, – заблеял Филя и уж так старательно начал осматриваться кругом, как будто тут не беломошник растет, а золото рассыпано.

Лиза пощупала рукой в мешке. Зерно.

– Ох, прохвосты, жулики! Дак это вы с молотилки жито воруете!

– Да ты что – спятила? – ахнул Филя.

– Не спятила! Откуда еще хлеб можно взять? Вон как! Люди – в чем душа держится, а мы дорожку к молотилке проторили. Через кладбище. Никто не увидит, не догадается…

Филя божился, заклинал ее: нет и нет, близко у молотилки не был, – и под конец, когда она, распалившись, уже перешла на крик, признался: на складе получил.

– На складе? – страшно удивилась Лиза. – Да когда об эту пору колхозникам на складе давали? Заповедь не выполнена…

– Председатель немножко выписал. Для плотников… Только ты не сказывай никому. Нельзя это… Чтобы тихо все…

– А Михаил-то наш тоже получил?

– Не знаю, девка. Я вроде как его там не видел.

– Как не видел? На складе не видел или в ведомости?

– На складе.

Лиза наконец отпустила Филю – чего зря воду в ступе толочь – и, вздохнув, пошла к могиле.

Нет, тут что-то не то, подумала она. Михаила не видел… А почему? Иголка Михаил-то?

Она посмотрела вокруг, покачала сокрушенно головой и побежала к своим.

2

Слух о том, что в колхозе дают хлеб, с быстротой ветра облетел утреннее Пекашино. Жнеи, доярки, молотильщицы, подвозчицы кормов – все кинулись к хлебному складу на задворках у Федора Капитоновича.

Василий Павлович, колхозный кладовщик, не растерялся – вовремя успел выкатить к дверям какую-то старую телегу, бог весть почему оказавшуюся в хлебном складе, и это больше всего выводило из себя разъяренных баб.

– Вот как! Мы не люди? Нам не то что хлеба – ходу на склад нету!

– Да это с кем ты придумал?

– Бабы, чего на него смотреть? Нажимай!

Телега затрещала, сдвинулась с места, но Василий Павлович уперся своими толстыми коротышками и откатил назад.

Тогда тихая, набожная Василиса решила пронять его жалобным словом:

– Ты, Васильюшко, неладно так делаешь. Раз уж одним дал, дак и других не обижай. Мы в войну из хомута не вылезали и тепереча на печи не лежим. А поисть-то хлебца, Васенька, всем охота…

– Дура! – завопили со всех сторон на Василису. – Нашла кого уговаривать да совестить.

– Ему что! Он, боров, рожу наел – разве поймет нашего брата?

Тут в кладовщика через головы баб полетели камни и палки – это уж Федька Пряслин со своей бандой вступил в работу. Никто из ребят в это утро не дошел до школы, все завязли в заулке у склада. Орали, толкались, колотили матерей по спинам, по тощим задам, готовы были зубами прогрызть себе лаз в склад: теплым зерном несло оттуда.

Один камень угодил кладовщику в плечо, и Василий Павлович заорал благим матом:

– Да вы что – с ума посходили? Я, что ли, председатель? Мое дело выдать, когда бумага есть. А где у вас бумага?

– А и верно, бумаги-то у нас нету, – спохватился кто-то в толпе.

– К председателю надо!

– Да где он, председатель-то? Еще даве чуть свет в поскотину укатил.

– Неужели?

– Дак это они сговорились, сволочи!

– Знамо дело – не без того же.

– Ну и паразиты! Ну и прохвосты!

– Кто паразиты? Кто прохвосты? Кому нужна подмога Советской Армии?

Егорша подходил к складу – его беззаботный и ликующий голос взмыл над орущей толпой.

Нюрка Яковлева схватилась за платок, Манька Иняхина, коротыга, привстала на цыпочки, да и другие бабы, которые помоложе, не отвернулись. Не часто, не каждый день такое увидишь: руки в брюки, хромовые сапожки горят на ноге, и улыбка во всю ряху – своя, нашенская, от души.

– Ну, из-за чего разоряемся? – спросил Егорша, игриво щуря свой синий глаз. – Почему шуму много, а драки нет?

– Да в том-то и беда, что драка, – отозвался из склада Василий Павлович.

– Какая драка? Штаны с тебя снимают, а ты упираешься? – Егорша опять по-свойски подмигнул, адресуя свою улыбку сразу всем бабам.

– Хлеб требуют. Хлеб приступом хотят взять.

– Хлеб? Какой хлеб? – Егорша перестал улыбаться.

– Какой, какой! Известно какой. У людей перво-наперво как бы с государством рассчитатья, заповедь выполнить, а у нас первая забота – как бы брюхо свое набить…

– Врешь, ирод! Мужикам-то небось давал…

– Тихо! – вдруг грозно, по-командирски рыкнул Егорша. Затем, не дав опомниться растерявшимся бабам, быстро разгреб их по сторонам, занял позицию у телеги, перегораживающей вход в склад. – А ну назад! Сдай, говорю, назад. Живо! Яковлева! – окликнул он по фамилии Нюрку. – Бери подол в зубы и чеши, покамест не поздно. А ты чего, Иняхина? Советской власти у нас нету?

Дрогнул бабий залом у дверей склада. Одна за другой, как бревна, извлекаемые опытным багром, завыскакивали из толчеи.

В общем, быстро навел порядок Егорша, всем дал нужное направление: и бабам ("На работу! На работу!"), и школьникам – прямо в руки молоденькой учительницы передал, которая за ними прибежала.

Но тут в заулок влетел Михаил Пряслин верхом на храпящем, на взмыленном коне, и все закружилось сызнова.

– Михаил! Миша! – в один голос возопили бабы. – Да что же это такое? Кому в рот, кому в рыло? Разве мы не люди?

Соскочившего с коня Михаила обступили со всех сторон. К Михаилу тянулись черными суковатыми руками. На Михаила смотрели как на своего спасителя: уж он-то им поможет, уж он-то наведет справедливость, их всегдашняя опора и заступа.

Михаил, сцепив зубы, двинулся к дверям. Его и так то трясло от бешенства (все продали: и председатель, и дружки!), а тут еще это бабье голошенье…

– Покажи ведомость. Кому выписан хлеб?

– Осади, Пряслин! – ответил за кладовщика Егорша. – Колхоз первую заповедь не выполнил, а ты насчет фуража…

– Чего? – У Михаила надо лбом встала черная бровь. Он, конечно, сразу заметил Егоршу в дверях. Как же не заметишь! Приметный! Но он думал, тот просто так перед бабами выдрючивается, а он, оказывается, в начальника играет.

– А ну проваливай! Без тебя разберемся.

– Пряслин, осади, говорят! Последний раз предупреждаю! – громко, на весь заулок крикнул Егорша и, бледный, решительный, с воинственно выкинутыми вперед кулаками, шагнул ему навстречу.

Михаил не размахнулся, не врезал как следует, хотя и не мешало бы: не забывайся! Но проучить этого нахалюгу надо. Потому что он и раньше был из породы тех, кого пока бьешь, до тех пор он и человек. И вдруг, когда Михаил начал поднимать руку, страшная боль опалила его, и он упал на колени.

– А-а-а! – взметнулся над оцепеневшей толпой истошный крик Лизы. Она как раз в это время с Анфисой Петровной подбежала к складу.

Меж тем Михаил поднялся на ноги. Его шатало. Из разбитого рта и носа ручьем хлестала кровь.

– Ах, сволочь! Ах, сволота!.. Дак ты меня боксой… Боксой… Научился!..

Он неторопливо вытер ладонью рот, посмотрел на ярко горевшую на солнце алую кровь и вдруг, как разъяренный бык, ринулся на Егоршу.

Они не успели на этот раз добраться друг до друга. На Егорше с двух сторон повисли Лиза и Федька, а Михаила облапила сзади Анфиса.

– Миша, Миша… Опомнись! Бабы, а вы чего рот-то разинули? Уходите, бога ради, домой. Уходите! Разве не понимаете, чем это пахнет…

Михаил хрипел, страшно ругался, таскал по земле растрепанную Анфису, пытаясь стряхнуть ее со своей шеи. Егорша тоже выходил из себя – только голос выдавал его ликование.

– Нет, фига! Нет, дудки с купоросом! – выкрикивал он звонко. – Кабы ты рубаху мою, к примеру, взял – ладно, пользуйся, слова не скажу. А то куда ты лапы потянул? К священной основе!.. Тут от Суханова-Ставрова не жди пощады. Всегда на страже!..

Анфиса заплакала.

К складу подходила сама беда. И у той беды железные зубы. Целую неделю Ганичев не

показывался в Пекашине, а вот вечор заявился. Как будто нарочно выжидал этой заварухи у склада.

3

Весь день бабы на скотном дворе вздыхали да охали: что будет? С кого спросят власти? Удержится ли ихний председатель? А она, Лиза, думала еще о том, как пойдет теперь у них жизнь, удастся ли ей примирить брата с мужем.

Егоршу она не видела с утра, с той самой минуты, как с доярками ушла от склада на коровник. И брата не видела, хотя днем три раза бегала и домой, и к матери.

Самые неотложные дела взывали к ней в ее немудреном хозяйстве: дрова и вода, белье неприбранное – целый ворох лежал на столе, – овцы, некормленые и непоеные, горланили в хлеву… А она вошла в избу, села на прилавок, да так и сидела в потемках не шевелясь.

И на уме у нее было все то же: Егорша, Михаил… Где-то они сейчас? Не сцепились ли опять друг с другом? И еще почему-то сердце сжималось от страха за Васю, как будто ему грозила какая-то беда…

Когда в избе стало совсем темно, Лиза решила еще раз сходить к своим.

И вот только она поднялась – Егорша. Пьянехонький: на весь дом пролаяло железное кольцо в воротах.

– Чего огня нету? Или, думаешь, раз у тебя кошачьи глаза, дак и другие в темноте видят?

Егорша покачался в проеме дверей, перешагнул за порог.

– Ну, кого спрашиваю?

Лиза вспылила:

– Чего глазами-то корить? Я не сама их выбирала…

– Всё вы не сами! У вас, у Пряслиных, завсегда дядя виноват. Может, и давеча, на складе, ты не сама кинулась на меня? Сука! Жена называется!.. Вцепилась, как падла, в своего мужа… Небось не в братца, а?

– Да ведь ты братца-то насмерть убивал.

– И убил бы! – Егорша горделиво вскинул свою светлую голову. – А чего? Прошли те времена, когда он командовал парадом. Ха-ха-ха! Разлетелся: я, я… Как бык слепой. А того не соображает, балда, что быка всю жизнь бьют обухом по черепу!

В голосе Егорши было нескрываемое торжество и ликование. Он бегал по избе, потрясал кулаками, и Лиза с ужасом всматривалась в его бледное, облитое лунным светом лицо: да неужели это Егорша, ее муж? Или он, как всегда, разыгрывает ее?

– Ты думаешь, нет, чего говоришь-то? – сказала она задыхающимся от возмущения шепотом. – Ведь Михаил-то тебе кто?.. Шурин… Заместо брата…

Егорша захохотал, затем круто обернулся к Лизе.

– Он контра подлючая – вот кто твой брат. Поняла? А как ты думаешь середь бела дня колхозный склад выворачивать? Это что? Евонный подарок матери-родине? – Егорша звонко и смачно впечатал кулак в свою распахнутую в вороте грудь. – Ну нет, не тому учен Суханов! Стоял три года на боевом посту у родины и всегда будет стоять. И тут для меня нету ни братьев, ни сватьев. Запомни это! Всех к ногтю! И твоему братцу это так не пройдет. Подожди, кое-кто им еще займется.

– А чего им заниматься-то? Что он сделал?

Егорша отчеканил чуть ли не по слогам:

– Хлеб колхозный в период хлебозаготовительной кампании хотел украсть у государства!

– Да хлеб-то этот он сам и сеял и сам убирал. Хоть какой килограмм и достался бы, дак не беда. На-ко! – возмутилась Лиза. – Всем плотникам хлеб выписан, а самому первому работнику нету…

– Первому, первому!.. Ты долго еще будешь тыкать мне в нос этим своим первым работником? Вот бы и выходила взамуж за своего первого работника.

– Да ты сдурел вовсе! Чего мелешь-то? За брата взамуж выходи…

– Ничего не мелю! – вконец разошелся Егорша. – Все вы сволочи! Михаил, Михаил… Первый работник… А что вы сделали с этим первым работником, покамест я в армии был? А-а, замолчала? Прикусила язык? Ну дак я скажу. Ну-ко расскажи, как тебе дом старик отписал… А-а, молчишь? Глаза закатываешь? Думаешь, все шито-крыто? Не узнает Егорша?

Пушечным выстрелом бабахнула запухшая дверь, со звоном, с грохотом ударились о стену ворота, затем Лиза услышала знакомый летучий скрип хромовых сапожек – и все, жизнь ушла из дому.

Часть третья

Глава первая

1

Подрезов вскочил на пароход в самую последнюю минуту. А пока он забросил в каюту чемодан да вылетел на палубу, огромный белогрудый красавец еще старинной выделки уже развернулся.

Разбежавшимся глазом он прежде всего наткнулся в толпе провожающих, по-деревенски махавших белыми платочками, на своего зятя. Приметный! На голову выше всех. Просто как пугало огородное торчит, сверкая круглыми очками из-под какой-то дурацкой клетчатой кепки. Но Ольги рядом с ним не было.

Евдоким Поликарпович глянул в одну сторону, глянул в другую и вдруг увидел дочь на высоком крутом берегу, пониже пристани.

Слезы вскипели у него на глазах.

Ольга и всегда-то, с самого детства, походила на свою мать – легкой походкой, характером, светлыми пушистыми волосами, а сейчас, в эту минуту, в ней и вовсе, казалось, воскресла

покойная Елена. Та, бывало, вот так же, провожая его, выбегала вперед от людей все равно где – в поле, в деревне или у реки – и долго стояла там одиноко и неподвижно, словно для того, чтобы он получше запомнил ее…

С дочерью Евдоким Поликарпович не виделся пять лет, с тех пор как Ольга, не спросясь отца, вдруг вышла замуж и бросила институт.

– Ладно, сказал он жене, когда та однажды осторожно сообщила ему эту новость, – баба с возу – кобыле легче.

И – все. Больше ни слова. Вычеркнул из своего сердца. Не мог простить такой обиды: не за пеленками виделось ему будущее дочери.

Круглая отличница, каждый год похвальные грамоты, из института даже присылали ему благодарности – да ей ли не учиться? Ей ли не закончить институт? По крайней мере, хоть один человек в роду Подрезовых был бы с высшим образованием. А то ведь и дальше могла махнуть. У Михайлова, первого секретаря Плесецкого райкома, дочь в аспирантуре учится, на ученого – тот об этом при каждой встрече хвастается, – а почему бы не могла учиться в этой самой аспирантуре его Ольга?

Одним словом, удар для него был страшный. Он даже запил было, да хорошо, у первого секретаря дел всегда невпроворот, в делах забылся. Три года Евдоким Поликарпович выдерживал карантин. Три года не читал от дочери писем. Вплоть до прошлогодней весны, когда у Ольги родился сын.

Нет, нет, он не заулюлюкал, не пошел вприсядку оттого, что стал дедом и что на свете появился еще один Евдоким. Наоборот, он самыми последними словами изругал дочь. Потому что кто же в наше время дает такое имя ребенку? Овдя, Овдюха, Овдейко… Да внук не только отца с матерью – деда будет проклинать всю жизнь! А потом вдруг что-то сдвинулось у него в груди, и он все чаще и чаще стал ловить себя на том, что думает о маленьком Овде…

В прошлом году ему не удалось выбраться к дочери: год был тяжелый, «перестроечный», он даже на курортном леченье не был, а нынче твердо решил: к внуку. Непременно к внуку!

И вот когда ему в конце августа дали отпуск, он первым делом и подался на Вычу – лесную глушь по Северной Двине, где учительствовали дочь и зять.

Встретили его цветами, шампанским. Будто к ним какой-то столичный артист приехал.

Ладно, против красоты возражений нет. Красоту принимаем. А что же это у вас с ребенком-то делается? Почему ребенок весь в чирьях?

– Врачи предполагают, что нарушен, по-видимому, обмен веществ, диатез, может быть. Скоро будем знать точно – еще на той неделе сдали кровь на анализ.

Так ему по-ученому ответили молодые родители. А то, что у них ребенок насквозь простужен, это им и в голову не приходит. А он, Евдоким Поликарпович, сразу все понял, как только легли спать, – без всякой медицины поставил диагноз. Из каждой щели дует, ветер по полу ходит – да как тут здоровым быть ребенку?

Он не стал много разговаривать с мамой и папой. Дочь у него всегда была слабаком по практической части, с детства не знала никакой работы по дому, все делала за нее сердобольная мачеха, ну а ее ненаглядный Зиночка, или, как он сам представился ему по-

первости, Зиновий Зиновьевич, и вовсе оказался без рук. Гвоздя в стену не вбить, лучины не нащепать, а уж чтобы сколотить там какую-нибудь немудреную скамейку (на ящиках сидят!) – об этом и говорить нечего.

В общем, на другой день встал Евдоким Поликарпович, выпил стакан чаю и давай тепло в комнате наводить. Целый день конопатил углы и подгонял рамы. Это он-то, первый секретарь крупнейшего района в области, можно сказать, государства целого по своим размерам! А через два дня и того чище: топором начал махать. Да как махать! С раннего утра до позднего вечера. Как заправский плотник.

На реке ходили волны, тяжелые, размашистые, с белыми гребнями. Тоненькую фигурку Ольги, все еще стоявшей на крутояре, ниже пристани, выгибало, как прутик. И золотом, солнцем вспыхивали ее светлые раскосмаченные волосы.

А что делалось тут, на палубе? Выли и свистели провода над головой, тучи ползали по его плечам, и бух-бух волна снизу. До лица, до глаз долетали брызги. А он – ничего. Стоял. Стоял, один-единственный пассажир на всей палубе, и еще покрякивал, зубы скалил от удовольствия. Хорошо! По нему такая погодка!

И вообще он чувствовал себя сейчас так, будто молодость вернулась к нему, будто прежняя крутая сила бродит в нем. А главное, прошли красные пятна на теле, прошел проклятый зуд. Вот что было удивительно.

За эти годы что только он не делал, к кому только не обращался, чтобы избавиться от своей изнуряющей, изматывающей хвори! К врачам разным ходил – к своим, районным, к областным, раз даже у одной столичной знаменитости на приеме побывал, когда на курорт ездил, к старухам травницам обращался ничего! В лучшем случае, на какое-то время отпускало. А тут сам вылечился. И чем? Топором. Да, да самым обыкновенным мужицким топором.

А дело было так. Утеплил у дочери жилье, пошел в баню – смыть грязь. И боже ты мой – две версты по грязище, по пустырям, по вырубкам, да под дождем, под ветром.

В общем, он едва ноги приволок обратно, бутылку водки выдул, чтобы отогреться. Так ведь это его, здорового быка, так укачало, а что же сказать о годовалом ребенке? Ему-то как достается эта баня?

Евдоким Поликарпович глядел-глядел на внука, с ног до макушки осыпанного злыми, малиновыми чирьями, и – к дьяволу отпуск! Баню буду строить.

Построил. За две недели построил. Один. Без посторонней помощи…

Подрезов приподнял мокрое, раскаленное ветром и брызгами лицо, привстал на носки – где-то там, в той стороне, за мысом, за крутояром, на котором еще недавно стояла его дочь, осталась построенная им банька. Небольшая, неказистая – из ерунды собирал, ни одного бревна стоящего не было, но живая – с жаркой, трескучей каменкой, со сладким березовым душком. И теперь каждую субботу, где бы он, Евдоким Поликарпович, ни был, обязательно будет вспоминаться ему эта крохотная, стоящая у самого озерка банька. А вслед за банькой будет вспоминаться и вся его жизнь с топором в руках, да такая счастливая и полноводная, какая, возможно, только и была у него один раз – там, на родной Выре, когда он молодым, семнадцатилетним парнем строил школу. Для своей Елены…

Давно уже исчезла из виду Ольга, давно голые, безлесые берега сменились зверской, без единого просвета чащобой ельников, а он все стоял на верхней палубе, один, плотный,

несокрушимый, и веселел духом – от радостных воспоминаний, от ощущения собственной силы в обновленном теле, от всего этого раздолья и необузданного шабаша на реке.

2

Спать было еще рано, и Подрезов, спустившись с палубы, заглянул в ресторан – давно не баловался пивком.

Но в ресторане все столики были заняты, а о том, чтобы пробиться к стойке, нечего было и думать.

Ладно, решил Подрезов, зайду попозже, когда схлынет самая шумная и буйная людская пена. И вдруг, когда он уже повернул на выход, его окликнули:

– Евдоким Поликарпович, алё!

Оглянулся – Афанасий Брыкин. Сидит у окошечка, потягивает пивко. Розовый, прямо-таки малиновый от натуги, и улыбка во все рождество.

По его знаку словно из-под земли вырос раскосый жуликоватый официант в белой грязной куртке, напяленной поверх ватника – холодновато было в ресторане, – и будто метлой повымело из-за столика каких-то трех полупьяных работяг.

– Не знал, не знал за тобой таких талантов, Брыкин.

– Дак ведь это, чай, мое воеводство.

– Что ты говоришь! Как же я этого не сообразил? – И тут Подрезов признался, что почти две недели жил у него, у Брыкина, в районе.

Как и следовало ожидать, Брыкин начал пенять и выговаривать ему чуть ли не со слезами на глазах: дескать, почему не брякнул, не дал знать о себе? Уж он бы для кого, для кого, а для него-то, Евдокима Поликарповича, постарался, встретил бы как самого дорогого гостя.

Подрезов терпеть не мог этих бабьих причитаний в мужских штанах, как любил говаривать у него председатель колхоза Худяков, и спросил:

– Куда путь держишь? В область?

– Ага.

– А чего? Не опять ли за новым назначеньем? – пошутил Подрезов.

Брыкин с озабоченным видом пожал кожаными плечами, и Подрезов понял, что у него опять завал в районе. По завалам Брыкин был просто мастер. Куда, на какой район ни посадят, конец один: покатилась под гору телега. Зато кто проворнее, отзывчивее Афони? Надо, скажем, взять обязательство сверх плана по хлебозаготовкам, по молоку, по мясу – а ну-ка, Брыкин, покажи пример. И Брыкин показывает: "Дорогие товарищи! Наш район, подсчитав свои возможности, обязуется… Я призываю последовать нашему примеру…"

Ресторан начал пустеть: быстро выкачали православные бочку. В черное окошко, у которого сидел Подрезов, яростно, со всхлипами хлестал косой дождь.

Брыкин снова и снова подливал ему пива из эмалированного ведерка, которое недавно – уже

третий раз – наполнил официант, пил сам и с волнением, взахлеб рассказывал про своего необыкновенно умного сына, который в этом году поступил в торговый институт. Потом, видя, что собеседник не очень-то слушает его, опять заканючил-заныл насчет того, почему он, Подрезов, не заглянул к нему в хоромы, не отведал у него нынешних свежепросоленных рыжиков.

Рыжики у Брыкина замечательные – тут у него просто талант. Да еще какой талант! Он сам их собирал в лесу, сам солил, сам делал специальные бочоночки ладные такие еловые пузатики с тоненькими можжевеловыми обручами, литра на два, на два с половиной.

Отправляясь в область на совещание по вызову, Брыкин обычно прихватывал с собой парочку таких пузатиков и при случае кое-кому вручал эти дары природы, как он сам выражался. И Подрезов был уверен, что у него и сейчас в каюте наверняка найдется бочоночек с рыжиками, а то даже и не один.

Снова взбурлила жизнь в ресторане, когда подошли к большой пристани, ярко освещенной вечерними огнями.

Тут, помимо новой партии любителей пивка, появилось еще ихнее райкомовское – подкрепление. Сразу три секретаря: Павел Кондырев, Василий Сажин и Савва Поженский. Все с Северной Двины.

Савву Поженского, покажись тот в ресторане один, Подрезов, пожалуй, и не признал бы: в сером потрепанном макинтошике, в фуражке с мятым козырьком – что от первого хозяина района?

Зато Павел Кондырев и Василий Сажин – комиссары. В таких же хромовых, как он, Подрезов, регланах, туго затянутых в поясе и мокрых от дождя (только блеск пошел по ресторану), в полувоенных фуражках, горделиво посаженных на голову, ну и в соответственных сапожках – щелк-щелк. Правда, Василий Сажин не совсем лицом вышел – желтое, сплошь оспой изрыто, как, скажи, овец пасли на нем, и оскал рта неприятный, хищный какой-то, а Павел Кондырев – хоть в кино. Красавец мужчина! И недаром буфетчица, еще довольно молодая бабенка с ярко накрашенными губами, сразу же начала вытягивать шею в ихнюю сторону.

Встреча была шумной, радостной. Пять перваков скрестили свои дороги часто такое бывает?

Подрезова обнимали, тискали, лопатили по спине, и – что удивительно – даже старик Поженский не отставал от других. А уж он ли не отличался выдержкой, он ли не умел держать себя в узде! С тридцать третьего в райкомовской упряжке ну-ко, какой надо иметь ум и сноровку, какую житейскую академию пройти.

Павел Кондырев, как только разместились за двумя сдвинутыми столиками тут уж не было помех со стороны, все понимали, какая рыба заплыла в ресторан, – побежал к буфетчице насчет пива. Такой неписаный закон: чей район, тот и угощает (а они как раз ехали районом Павла Кондырева).

Пива у буфетчицы в заначке не оказалось – все, дура, распродала до литра, – но Павел Кондырев достал ведро – чуть ли не из запасов команды парохода.

Он же как хозяин и предложил первый тост:

– За Евдокима Поликарповича! За Подрезова, который всегда впереди!

Насчет всегда – это, пожалуй, крепковато сказано. Нынче Подрезов чуть ли не закрывает областную сводку по лесу. Но черт подери! С чего ему опускать голову? Разве всю войну и после войны не он шагал в передовиках? Ну-ко, сплюсуем все кубики, что дал его район за все эти годы, – кого можно поставить рядом с ним? Назвать миллионщиком?

За это уважали его в области. Ну, и за смелость, за удаль уважали.

Удивительная штука жизнь! Уж, казалось бы, среди них-то, хозяев районов, какая может быть смелость да лихость против начальства. Сами начальство. Да и начальство немалое. Первые люди области.

А вот поди ты: везде по одним законам живут. И у них меж собой первая честь и хвала тому, кто перед начальством шею не гнет. А он, Подрезов, не гнул. И не сидел, как мышь, в углу, не делал вид, что его ко сну клонит, когда за товарища надо вступиться или начальству правду в глаза сказать.

Нет, он, как говорится, и с места реплику подавал, так что последний глухой слышал, и на трибуну лез.

В сорок четвертом их, первых секретарей, вызвали на бюро обкома. Специально для того, чтобы дать накачку насчет экономного расходования хлебопродуктов.

С приморского секретаря райкома – это он, бедняга, стоял на ковре – просто пух летел: двести килограммов муки раздал районному активу. И когда? В какое время? В годину великой народной страды!

Секретари сидели – глаз поднять не смели, только бы грозой не задело их, потому что кто из них не делал то же самое у себя!

И вот Подрезов не выдержал:

– Разрешите задать вопрос Севастьянову. (Фамилия секретаря Приморского райкома.)

– Давай.

– Скажи, товарищ Севастьянов, сколько килограмм хлеба на районного активиста досталось из этих двухсот килограмм, розданных тобой?

– От пяти до семи.

– И за какой период эту надбавку ты выдал?

– За год.

– За год пять килограммов на нос?! Ну дак я вот что тебе скажу, товарищ Севастьянов: плохой ты секретарь! Я свой актив чаще подкармливаю. Килограмма-то с три каждый месяц подбрасываю.

Шум поднялся такой, что Подрезов думал – тут ему и конец. Сам Лоскутов, второй секретарь обкома, начал утюжить его – он главный разнос Севастьянову делал:

– Безобразие!.. Судить будем!.. Мы покажем подкормку!!

Но Подрезов – терять нечего – сам кинулся на амбразуру:

– А вы знаете, товарищ Лоскутов, сколько районный служащий хлеба получает? Шестьсот грамм в день. А у этого служащего семья, ребятишки, а ребятишкам этим как иждивенцам двести грамм. Так что этот служащий свои шестьсот грамм никогда и не съедает. А ведь на нем, на районном активе, весь район держится. Они наши руки. У меня один инструктор раз попал в колхоз. В командировку, Вперед-то добрался, все в порядке, а назад пошел вечером – всю ночь просидел под кустом на лугу. А из-за чего А из-за того, что у него куриная слепота, ничего не видит.

Севастьянов отделался тогда простым выговором, а их, секретарей райкомов, бюро обкома специальным решением обязало обратить самое серьезное внимание на бытовое обслуживание районного актива. То есть обязало регулярно подкармливать актив, правда, не выделив для этого никаких дополнительных лимитов.

Вот после этого случая фамилия Подрезова стала известна во всех районах области.

3

В двадцать три ноль-ноль из ресторана перешли в каюту к Афанасию Брыкину.

Во-первых, их стал упрашивать директор ресторана: дескать, к пристани большой подходим, пассажиры нахлынут – до утра не выжить, а во-вторых, из-за Тропникова, заместителя начальника лесотреста. Он песню испортил.

Вошел в пестром халате, как баба, на носу стекляшки с золотыми зажимами, и давай носом ворочать – неаппетитно, мол, не тем пахнет. А потом – мораль: какой пример подаете, хозяева районов?

Лично он, Подрезов, даже бровью не повел – с войны терпеть не мог этого зализанного и расфуфыренного ябедника, – но осторожный и благоразумный Савва Поженский, а вслед за ним и Афанасий Брыкин встали: большая шишка Тропников. И рука у него длинная…

А впрочем, нет худа без добра. Именно в каюте-то у Брыкина они и почувствовали себя человеками. Никаких ограничителей в горле, никаких досмотрщиков со стороны. Своя братва! И уж, конечно, никаких величаний по имени-отчеству. Все – ровня!

Сперва навалились на еду – волчий аппетит разыгрался от пива. Все подорожники – рыбники, шаньги, колобки, ватрушки – все, чем заботливые супруги набили сумки и чемоданы, вывалили на стол, а расчувствовавшийся Афоня сверх того выставил еще пузатик с малюсенькими, копеечными, рыжиками.

Савва Поженский да Иван Терехин (еще один первач, подсевший на последней пристани) попытались ихнему застолью придать деловой характер, что-то вроде производственного совещания устроить – оба так и вкогтились в Подрезова: дескать, как у тебя нынче с хлебом? как с помещениями для скота? что делаешь, чтобы удержать мужика в колхозе? Словом, для этих прежде всего дело. Серьезные мужики.

Но где там! Разве поговоришь о деле, когда Павел Кондырев в загуле!

Зыркнул своими цыганскими, топнул:

– К хренам дела! Завтра дела!

И как выдал-выдал дробь – всех на пляс потянуло. Подрезов топнул, Василий Сажин топнул,

Поженский сыпанул горох по столу каким-то хитроумным перебором пальцев.

А дальше – больше. Посыпались соленые шутки-прибаутки, анекдоты, всякие житейские истории, и, конечно, начали строить догадки насчет внезапно исчезнувшего Павла Кондырева.

– К той буфетчице, наверно, подбирается, – высказал предположение Василий Сажин.

– Да, может, уж подобрался. Долго ли умеючи? – живо, с озорным блеском в глазах воскликнул Поженский. Савва по этой части тоже старатель был не из последних – в десять душ семью имел. Потом уже без всякой игривости, с неподдельным беспокойством за товарища: – Ты бы, Евдоким Поликарпович, приструнил его маленько. А то как бы он того… из хомута опять не вылез.

Но тут Кондырев сам влетел в каюту. Глаза горят, лицо бледное, потное – не иначе как шах и мат Клавочке, то есть буфетчице.

Покачался-покачался у дверей – артист не из последних – и выпалил:

– Братцы! Цирк на пароходе!

– Да ну?!!

– А что – двинули?

Но Савва Поженский – не зря на плаву двадцать лет – сразу совладал с собой, хотя было какое-то мгновенье – и у него угарным огоньком загорелся старый глаз:

– Бросьте! Не для нас эти забавы.

– А чего? – запальчиво возразил Павел Кондырев. – Подумаешь, с артистками цирка посидеть! Да там и не одни девчонки – такие лбы сидят, ой-ой! Целая бригада из поездки по колхозам да леспромхозам возвращается.

– Эх, Паша, Паша! Мало тебя мылили, вот что. Забыл, как давеча Тропников носом вертел? Дак ведь то в ресторане мы сидели, без паров в голове, а как прореагируют, когда мы середка ночи к этим самым артисточкам закатимся?

Вот это все и решило – Тропников да расчетливая осторожность Саввы.

– Пойдем, Пашка! Ко всем дьяволам этого Тропникова!

А что, в самом деле? Не люди они? Почему должны плясать под дудку какого-то кляузника и ябедника? А потом, он, Подрезов, в отпуске. Неужели и во время отпуска спрашивать, как жить, у Тропникова?

Глава вторая

1

Подрезов любил первые минуты своего водворения в гостиницу.

Все чисто, все свежо в номере: белоснежная кровать, кафельная ванна, приветливо улыбающаяся горничная в белом переднике – как в праздник входишь. А потом, не успел еще раздеться, звонки. Один секретарь райкома – привет, другой секретарь – привет, третий…

Просто непонятно, как и углядели. По коридору шел – ни одна душа навстречу не попалась…

Сегодня звонков не было. Сегодня, едва он снял с себя кожанку да отпил холодняка из-под крана в ванной (июльская засуха стояла в горле), в номер к нему толпой вперлись перваки. И те, с которыми ехал на пароходе, и новые: Онега, Лешуконье, Приозерье, Няндома, Коноша… Народ все крепкий, краснорожий, обдутый и продубленный всеми ветрами Севера. Одним словом, опорные столбы, на которых жизнь всей области держится.

На Евдокима Поликарповича навалились сразу трое – дух перехватило. Правда, и он в долгу не остался: Саватеева из Приозерья так приголубил, что у того слезы из глаз брызнули.

Кто-то из новичков завел речь насчет вечернего сабантуя.

У Евдокима Поликарповича, откровенно говоря, это радости не вызвало: у него еще вчерашние пары из головы не выветрились, да и дел на вечер был воз.

Но, с другой стороны, когда Подрезов портил песню своим товарищам? Когда шел против коллектива? Ведь ежели хорошенько разобраться, то первый секретарь и узду-то с себя может скинуть, только когда из района вырвется. А в районе ты всегда начеку, всегда по команде первой готовности – иначе как же ты с других спрашивать будешь?

Да дело, в конце концов, вовсе и не в том, чтобы разрядку себе дать.

Поговорить сердце в сердце, выложиться как на духу друг перед дружкой, ума-разума поднабраться – вот чем дороги были эти ночные, никем не планируемые совещания.

– Ладно, сказал Подрезов (все выжидающе смотрели на него), – пейте кровь! Согласен.

– Братцы, братцы! – В номер вломился Павел Кондырев. – Последнее сообщение Совинформбюро… Павла Логиновича в Москву забрали.

– Первого? Да ты что?

Сивер загулял по номеру. Перемены в руководстве области могли коснуться каждого из них. Это обычно: пересаживаются в области, а стулья трещат под ними, районщиками.

Все как по боевой тревоге начали затягивать ремни на скрипучих кожанках, поправлять фуражки.

– А ты чего, Евдоким Поликарпович? – Василий Сажин первый разморозил свой голос. – Одевайся. Пойдем послушаем тронную речь Лоскутова.

И Подрезов уж взялся было за пальто, да вдруг махнул рукой:

– Ладно, ребята, катайте. Хватит и того, что вы похлопаете.

2

– Ну и ну! Вот это рванул дак рванул!

– Да, хватит и того, что вы похлопаете…

– Натура!

– Посмотрим, посмотрим! У Лоскутова тоже не хрящики вместо пальцев…

Все эти голоса, восхищенные реплики, которыми сейчас по дороге в обком наверняка обменивались меж собой его товарищи, Подрезов хорошо представлял себе. Но сам-то он трезво, очень трезво оценивал свой поступок. Во-первых, в отпуске – какие могут быть претензии? У человека на руках путевка, причем путевка горящая, с завтрашнего дня, – имеет он право кое-какие дела перед отъездом справить? А второе – и это самое главное – с чем идти на совещание?

Тронная речь будет. Распишет Лоскутов свою программу, расставит вехи. А ежели наоборот? А ежели с ходу: доложить обстановку в районах?

Нет, нет, он, Евдоким Поликарпович, не привык тык-мык – и язык присох к горлу. Он с подчиненных строго спрашивал, но и себе поблажки не давал: все цифры, все хозяйство района держал в голове. Хоть во сне спрашивай – без запинки выложит. А теперь, после двухнедельных разъездов, что он мог сказать по существу?

Ничего, ничего, успокаивал себя Подрезов, выхаживая по номеру, Фокин в грязь лицом не ударит. Язык подвешен, сообразит, где что прибавить, а где что поубавить. Только почему его нет в гостинице? У тещи остановился? Или район не на кого оставить?

И еще мутил ему сейчас голову Зарудный.

Две недели отдыхал от этого молодца, две недели, покуда жил на Выре, не думал о Сотюге, а вот только приехал в город – и завертелась старая карусель.

Перед отъездом в отпуск Подрезов загнал-таки наконец Зарудного в свои оглобли – обязал решением райкома (конечно, с согласия области) до минимума сократить жилищное строительство и высвободившуюся рабочую силу бросить в лес, на ликвидацию прорыва.

Но как выполняется это решение? Не отмочит ли сотюжский директор какую-нибудь новую штуковину? Ведь заявил же он на бюро райкома: "Я с этим решением категорически не согласен и со своей стороны сделаю все, чтобы доказать, что оно идет вразрез с интересами дела".

Ладно, чего заранее отпевать себя, решил Подрезов и взялся за телефонную трубку.

– Справочная? Дай-ко мне номер телефона ремесленного училища номер один… Ответили быстро.

– Товарищ директор? Секретарь райкома с Пинеги говорит, Подрезов. Тут у вас есть два моих подшефных. Близнецы. Пряслины фамилия. Так вот интересуюсь. Как они там?..

– Есть, есть такие, – ответил директор. – Очень хорошие ребята…

У Евдокима Поликарповича сразу посветлело на душе. Так уж, видно, он устроен: лучшее лекарство для него – дело. А пряслинские ребята его давний долг. Михаил просил насчет братьев чуть ли не месяц назад, когда они с Лукашиным заезжали к нему на Копанец. И он был очень доволен сейчас, что вдруг пали ему на ум эти ребятишки.

Труднее было звонить родному сыну.

Первенец от любимой жены, парень с образованием – техникум механический кончил – чего

еще надо? А вот, поди ты, не лежала у него душа к Игорю, и все. Встретятся – посидят за столом, попьют чайку, а говорить и не о чем. Разные люди. У него, Евдокима Поликарповича, голова кипит от забот о районе, он за всю страну думает, а Игорь, как крот, в нору свою носом уткнулся, и нет ему дела ни до чего. В двадцать три года у человека первая дума – как бы отдельную квартирку сварганить да Капе своей шубу котиковую завести.

Ох, эта Капа, Капа, провались она трижды сквозь землю! (У Евдокима Поликарповича при одной мысли о невестке в глазах темнело.) Худая, злющая, как оса, жадная. Вином уж не угостит, нет. Дескать, нельзя, дорогой папочка, для здоровья вашего вредно... И еще: на чистоте помешалась, стерва, – медсестрой работает.

То, что она сама всю зиму чесноком обвешана ходит, черт с ней, ее дело, и на хлорку ейную – у дверей в коридор насыпана – наплевать. Да она и ему-то всю плешь с этой чистотой переела. Только он переступит к ним за порог, еще поздороваться не успел, а она уж тут как тут со своими тапочками. "Сапожки, сапожки, дорогой папочка, снимем. Дайте отдых своим ножкам, Очень медицина рекомендует..."

Евдоким Поликарпович не раз говаривал сыну: уходи ты, к чертям, от этой паскуды! Она из тебя все соки выпьет и голову назад повернет. Но где там! Разве с его Игорем сговоришься? Ума большого Бог не дал, с первого класса выше троек не поднимался, а по части упрямства – рекорд поставит. По целым дням может не разговаривать.

Игоря на работе не было – в командировку уехал, – и Евдоким Поликарпович с превеликим облегчением вздохнул. Должен, обязан он повидать свою внучку – тут и разговоров быть не может, но раз сына дома нету, к невестке можно сейчас и не ходить. Да и внучка трехнедельная – чего поймешь? Чего разглядишь? А вот на обратном пути завернет, тогда картина уже прояснится. Тогда видно будет, в кого пошла – в ихний, подрезовский, корень или в материн.

3

В войну и после войны районщики работали на износ. Выходных не знали по месяцам. Спали по три-четыре часа в сутки, а так – либо по колхозам и лесопунктам мотаются, либо на посту в своем кабинете.

Подрезов с его богатырским здоровьем легко переносил этот режим, а уж если когда становилось невмоготу, сон начинал одолевать, ведро холодняка на себя (уборщица за этим строго следила) – и опять сидит себе за своим рабочим столом в одной синей трикотажной майке, весь красный, раскаленный, как самовар. И сразу за двумя делами: большое, по-охотничьи чуткое ухо телефонный звонок из области сторожит, а цепким ястребиным глазом в книжке – приходилось натаскивать себя, потому как с начальной академией сложный узел не развяжешь.

Но была, была и у Подрезова одна отдушина – баня. Раз в неделю обязательно ходил, всю усталь березовым веником выпаривал и из бани выходил как заново на свет рожденный, а в городе, в гостинице, всегда принимал ванну.

Горячую воду наливал – рука еле терпела. И лежал, лежал, весь распустившись и блаженно прикрыв глаза, а ежели удавалось выкроить свободный часок, то и приземлялся.

Сегодня Евдоким Поликарпович пять часов проспал после ванны.

Он живо, без малейшей раскачки вскочил на ноги, начал звонить одному секретарю, другому,

третьему.

Никто не отозвался.

Долгонько, долгонько их накачивает Лоскутов. В охотку работка – новая.

А в общем-то, он не удивился бы, если б ребята запаздывали и не из-за Лоскутова. Это ведь в районе своем секретарь – первый человек и гроза, а тут, в области, он и попрошайка, и плакальщик, и еще черт-те кто…

Да, да, да! Все надо протолкнуть и выбить секретарю: и грузовики, и тракторы для колхозов, и технику для леспромхозов, и хлебные лимиты, которые каждый месяц урезывают, отстоять. А пенсии? А учителя, которых из года в год не хватает в школах? Да ежели говорить откровенно, то это еще неизвестно, где у первого секретаря главная работа: в районе у себя или в области.

Во всяком случае, тут, в области, добывается смазка и горючее для машины, которая называется районом. Тут раскрываешь свои таланты сполна. Потому что от них, от этих твоих талантов, зависит судьба целого района, жизнь и благополучие десятков тысяч людей…

Подрезов беглым, наметанным глазом просмотрел областную газету (в ней еще ни слова не было о переменах в областном руководстве), подождал еще минут пять и пошел в ресторан: страшно хотелось есть. Утром на пароходе он выпил только стакан крепкого чая.

4

В ресторане играла музыка.

Маленький человечишко, уже немолодой, лысый, с жаркими южными глазами, лихо притопывая ногой, изо всех сил лупил деревянными скалками по барабану и медным тарелкам и был счастлив, как малый ребенок, когда тот доберется до любимой игрушки.

Подрезову он почему-то напомнил Ганичева, может быть, своим железным ртом, который как-то особенно дико было видеть на этом счастливом и улыбающемся лице.

Свободные места были чуть ли не за каждым столом, но он направился в дальний угол, где в полумраке и одиночестве восседал Покатов.

Очень приметная фигура этот Покатов – ни с кем не спутаешь. Сидит за столом, как барин, вразвалку, нога на ногу, белая крахмальная салфетка на груди (Подрезов в жизни своей ни разу не пользовался ею) и тонкая нервная рука с золотым кольцом. Ну, а голова у Покатова и вообще на всю область одна крупная, продолговатая, всегда гладко выбритая, так что сейчас, присматриваясь к ней, Евдоким Поликарпович неожиданно для себя сравнил ее с головой святого на иконах – такой же свет вокруг.

Чего только не знала эта голова! Как-то на семинаре их, первых секретарей, стали гонять по четвертой главе "Краткого курса". Гегель… Кант… Фейербах… Имена такие, что не сразу и выговоришь. А до Покатова очередь дошла – как семечки начал щелкать. Все знает, все ему нипочем.

В тридцатые годы Виталий Витальевич гремел на всю область, в больших мужиках ходил, одно время даже заместителем председателя исполкома был. А потом круто покатился вниз. Из-за дружбы с зеленым змием. И сейчас, увидев его в ресторане, Подрезов нисколько не удивился. Чего с него возьмешь? У кого поднимется рука отчитывать такого человека по каждому

пустяку?

– Здорово, Виталий Витальевич! – Подрезов пожал узкую, интеллигентную руку с золотым кольцом, которую Покатов, как-то брезгливо поморщившись, подал. Оказывается, не я один стороной топаю.

– То есть?

– Да чего то есть! Сознательные люди тронную речь сегодня слушают, а не по ресторанам сидят.

– Вы имеете в виду совещание в обкоме?

– А чего же больше.

– Вы ошибаетесь, – сказал Покатов. – Я был на совещании. А во-вторых, никакой тронной речи там не было.

– Вот как! А разве Павла Логиновича не переводят в Москву?

– Переводят. Но это еще не значит, что на его место сядет Лоскутов.

На минуту разговор у них оборвался – подошла официантка.

Подрезов заказал натуральный бифштекс, палтус и две бутылки пива и снова стал допытываться у Покатова: почему он думает, что Лоскутов не станет первым?

– Потому что не станет, – процедил сквозь зубы Виталий Витальевич. Позвоночник недостаточно развит…

Подрезов захохотал.

На них стали глядеть с соседних столиков, но Виталия Витальевича это нисколько не смущало. Он никогда не стеснялся в выражениях. Да его выражения не сразу и раскусишь. К примеру, как понимать вот это двусмысленное высказывание о Лоскутове? Как похвалу или как порицание?

– Ну, а что же там было, на этом совещании? – спросил Подрезов.

– Вас ругали.

– Меня? – Подрезов от смущения крякнул. – За что же? Тропникову, поди, не понравился?

С Тропниковым они не ладили давно, еще с той поры, как тот первый раз приезжал на Пинегу.

Со сплавом в том году было ужасно. Июнь месяц в разгаре, только что половодье отшумело, а река как летом после жары: весь лес по берегам.

И вот Тропников – он приехал в чине особого уполномоченного – рубанул: прекратить полевые работы в колхозах! Всех на сплав! До единого человека.

Подрезов и сам иногда прибегал к такой мере. Случалось, снимал людей с сева на день-два, но только в отдельных колхозах. А тут по всему району. В самый разгон полевых работ. Да это ведь все равно что заранее объявить голод в районе!

– Не прекращу, – сказал Подрезов.

– Как не прекратишь? Да я тебя под суд отдам!

– Хорошо, – решился Подрезов, – прекращу. Но только вы сперва дайте письменное распоряжение.

Письменного распоряжения Тропников, понятно, не дал, но с той поры и начал-начал мотать ему нервы. По каждому пустяку. И даже то, что на Сотюгу прислали директором мальчишку-сосунка, Подрезов не сомневался: его, Тропникова, работа. Специально постарался, чтобы своего недруга допечь, чтобы каждодневно и каждочасно отравлять ему жизнь. Ну а что касается сегодняшней стрижки на совещании, то иначе и быть не могло. Он сам дал козырь в руки Тропникову. Надо же было им с Кондыревым поднять пыль на пароходе!

Пашка Кондырев, как только попал к артистам цирка, сам начал всех смешить и забавлять, а потом разошелся – "Из-за острова на стрежень" рванул. Вот тут и вломился к ним Тропников в своем бабьем халате – оказывается, у него каюта рядом – и давай, и давай их отчитывать, как мальчишек. Это их-то, первых секретарей, при девчонках! Ну и Подрезов сразу вспылил, а когда Тропников снова, уже с капитаном парохода, заявился, просто выставил непрошеных гостей…

– А, дьявол с ним! – выругался Подрезов. – Чего себя раньше смерти отпевать!

Покатов неторопливо и тщательно вытер белой салфеткой бледные губы, взял из раскрытой пачки толстую, внушительную папиросину.

– Надо знать, где показывать свой норов. Устраивать дебош на пароходе…

Дальше должны были последовать наставления. Покатов, когда был в хорошем настроении, любил поучать молодежь (а он всех своих коллег, даже Савву Поженского, за молодежь считал), и Подрезов, совсем не склонный сейчас к серьезному разговору, с беззаботным видом махнул рукой.

– Перемелется, Виталий Витальевич! То ли еще видали!

– Не скажите. Когда о пьянке первого секретаря райкома говорят с такой трибуны на всю область, можешь поверить мне, хорошо не кончается. А кроме того… – Покатов замолчал, сосредоточенно выпуская табачный дым углом рта, а кроме того, тебя еще трясли за чепе.

– За чепе? Меня за чепе?

– Я полагаю, тебе лучше знать, что у тебя в районе делается.

– Да откуда? Я уж две недели как из района…

Покатов потер своей узкой и белой рукой наморщенный в гармошку лоб.

– Как же фамилия, дай Бог памяти? Лапшин… Есть у тебя такой председатель колхоза?

– Лукашин, может?

– Да, кажется, Лукашин… Арестован. За разбазаривание колхозного хлеба в период хлебозаготовок…

Все это Покатов сказал прежним спокойным голосом, со своим неизменным выражением какой-то брезгливости на лице, а Подрезову показалось – из пушки бабахнули по нему.

Но он не вскочил, не заорал как зарезанный, хотя такое ЧП хуже всякого ножа режет первого секретаря. Он заставил себя небрежно махнуть рукой (а, ладно, мол, ерунда все это, не то видали), заставил себя выпить бутылку пива и даже поковырять сколько-то вилкой палтус, потом расплатился с официанткой и протянул руку Покатову.

Виталий Витальевич крепче обычного пожал ему руку, и когда немало удивленный Подрезов глянул ему в лицо, он прочитал в его мудрых, все понимающих глазах сочувствие.

Глава третья

1

Был одиннадцатый час утра, когда Подрезов, раскрыв дверцу остановившегося перед райкомом «газика», поставил свою тяжелую ногу на землю.

Туча воробьев ошалело взмыла с черемухового куста, еще не просохшего от росы, в окнах забегали, замельтешили белые, перепуганные лица – всех врасплох застал нежданный приезд хозяина.

– Кто дал санкцию на арест? Ты?

Фокин улыбался. Улыбался, стоя за столом и стиснув зубы, одними краешками черных прищуренных глаз. Такая уж у него привычка: пока не соберется с мыслями, ни одного звука наружу. И раньше Подрезову нравилась эта железная выдержка у своего подчиненного. Но только не сейчас. Сейчас, увидев эту глубоко запрятанную деланную улыбку, он заклокотал, как раскаленная каменка, на которую подбросили жару.

– Я спрашиваю, кто дал санкцию? Кто?

– По-моему, это и так ясно, поскольку я оставался за вас…

– Идиот! Сопляк! С мальчишками тебе мяч гонять, а не районом командовать. Ты понимаешь, нет, что натворил?

Смуглое, всегда румяное лицо Фокина побагровело, желваки под скулами закатались, как пули. Но Подрезов и не подумал щадить его самолюбие. Потому что за такую дурость мало ругать. За такую дурость надо штаны спускать. Да, да! Одна такая глупость – и все. Годами не вылезешь из дерьма…

– Где у тебя голова? Сколько раз я тебе говорил: держи ворота на запоре, не давай каждой собаке совать нос в свою подворотню. А ты что? Караул на всю область?.. Помогите?..

– Я думал, раз такое чепе в районе, то надо прежде всего отсечь его от райкома. А кроме того, есть закон…

– Ты думал!.. Думал, да все дело – каким местом. Как ты отсечешь его, это самое чепе, от райкома, когда оно в твоем районе?

Подрезов махнул рукой устало: бесполезно, видно, толковать. Вот тебе и Милька Фокин, вот тебе и смена. А он-то думал всегда: этот все понимает. С собачьим нюхом родился парень.

Черта лысого! Деревянные мозги…

За окном разгоралось сентябрьское солнце. Медленно, с трудом, как костер из сырых дров.

Он подошел к окну, ткнулся горячим лбом в холодное запотелое стекло. Его поташнивало, хотя качки сегодня не было – большой самолет летел. Поташнивало всего скорее оттого, что с утра ничего не ел. Да и не спал. В час ночи приехал на аэродром на каком-то случайном катеришке и с тех пор ни на одну минуту не сомкнул глаз. До сна ли, когда у тебя ЧП в районе!

– Кто теперь в Пекашине?

– В смысле руководства? – уточнил вопрос Фокин.

– Да.

– Покамест Ганичев.

– Что? Ганичев? – Подрезов круто обернулся – в нем снова забурлил гнев.

– Там теперь, Евдоким Поликарпович, прежде всего нужна фигура политическая…

– Мужик там нужен с головой. Хозяйственник! Чтобы скотный двор достроить, а то зима начнется – весь скот околеет.

Подрезов сбросил с себя душивший его кожан, прошелся по кабинету.

– Сводки!

Фокин подал сперва сводку по хлебозаготовкам, но Подрезов даже не взглянул на нее. Лес, лес в первую очередь!

Три леспромхоза кое-как держались, а некоторые лесопункты – Туромский и Синь-гора – даже к заданию приближались. Но Сотюга!.. Что делать с Сотюгой? Тридцать семь процентов отвалили за последнюю декаду!

– А это что еще такое? – Подрезов тряхнул какую-то бумагу, подколотую к сводке.

– Докладная записка директора Сотюжского леспромхоза.

– Зарудного? – Подрезов просто зарычал на Фокина. – Мне не докладные записки от него нужны, а лес. Понял?

– Записка адресована министру лесной промышленности, а это копия…

– Кому копия?

– Копия райкому, поскольку Зарудный считает, что последнее решение бюро райкома по Сотюжскому леспромхозу в корне ошибочно…

Подрезов взял себя в руки, пробежал глазами записку.

Ничего нового для него в записке не было.

Промахи проектных организаций в определении сырьевой базы леспромхоза, недопустимая

халатность комиссии в приемке объекта, совершенно неготового к эксплуатации, необходимость всемерного форсирования строительства жилья, поскольку от этого прежде всего зависит прекращение текучести рабочей силы, и, наконец, самое главное – настоятельная просьба о пересмотре задания для леспромхоза, по крайней мере перенесение летне-осенних лесозаготовок на зимний период… В общем, в записке излагались все те вопросы, которые Зарудный не раз ставил и перед районом, и перед областью.

Новое для Подрезова было в другом. В том, что Зарудный через голову района и области обратился прямо в Москву, в столицу… Да такого, как Пинега стоит на свете, не бывало!

Что такое ихняя Пинега, ежели начистоту говорить? В области своей знают и в соседней Вологде слыхали, а дальше кому она известна?

Как-то у Подрезова на курорте зашел разговор о своей вотчине. Собеседник его – начальник главка из Москвы – захлопал глазами: дескать, это еще что такое?

А вот тут нашелся человек, который, недолго раздумывая, бах в Москву. Читайте! Сотюга – даже не Пинега! – считает… Сотюга настаивает…

От мальчишества это? От незнания жизни? Или это какой-то новый человек идет в жизнь – совершенно другой, нездешней выработки, который ничего не боится?

Подрезов так и не додумал до конца эту пришедшую на ум мысль – надо было немедля браться за дела, начинать свой замес жизни.

2

Райкомовская машина работала на полных оборотах.

Подрезов снова держал рычаги управления в своих руках. Он вызывал к себе людей, звонил по телефону, требовал, отдавал команды.

Хлеб – взял. Навалился на председателей колхозов, которые покрепче, и за каких-нибудь два-три часа хлебная сводка подскочила на пятьсот пудов.

А как взять лес? Лес с наскоку не возьмешь, хотя он-то и решает сейчас все. Лес, кубики – голова всему, а не какие-то там жалкие тысячи пудов зерна, да к тому же еще фуражного, которые дает государству Пинега.

Раньше было просто.

Задание получил, по леспромхозам, по лесопунктам, по колхозам раскидал, людей в лес отправил, а остальное уж от тебя зависит, от того, как ты сумеешь извернуться.

А что зависело от него на Сотюге?

Лес поблизости вырублен, надо тянуть железную дорогу, лежневки строить для лесовозов, а кой черт он понимает во всем этом? Возле трактора да лесовоза как пень стоит. Любой сопляк обжулить может.

А бывало?!

"Залупаев, Ступин, в чем дело? Почему график срываете? – "Да с вывозкой затирает, Евдоким Поликарпович. Только и знаем, что ремонтируем дорогу – две версты болотом".

В тот же день – на лесопункт. Взял стариков охотников, которые, как свою избу, все леса вокруг знают, все выбродил, ногами своими вымерил. "Кочан у вас на плечах! Почему дорогу в обход не сделать – болота не обойти?" – "А и верно, Евдоким Поликарпович. Оно хоша на версту и подальше будет, да зато никакая запайка не страшна. До последнего снега санный путь держаться будет".

И так всюду, во всех делах. Сам первый инженер. Во всем. А теперь – нет. Теперь стой сбоку, в сторонке, и жди, что тебе скажет ученый молокосос, потому как ты во всей этой железной механике и во всех этих проектах и графиках, вычерченных в Москве и Ленинграде, ни бум-бум.

– Что будем с Сотюгой делать? – в упор спросил Подрезов Фокина.

Фокин не сразу ответил. (Когда это первый спрашивает чье-либо мнение?)

– Вопрос слишком серьезный, и без районного актива или пленума не обойтись.

– А что это даст? С каких пор на районных активах и пленумах стали лес рубить?

Да, надо немедленно сдвинуть с места сотюжский воз – в этом, только в этом выход. И самое разумное сейчас было бы самому махнуть на Сотюгу. Поостыть, поуспокоиться, там, на месте, с недельку полазать и подумать, но где она у него, неделька? Двух дней даже дет. Потому как пекашинское ЧП можно смыть только немедленным рапортом: государственное задание Сотюга выполнит.

А потом, что он мог возразить по существу Зарудному? Уж ежели прямь-напрямь говорить, то этот мальчишка не без мозгов – в самое яблочко лупит. Сырьевая база нового леспромхоза определена ошибочно – факт, а это значит минимум на два лишних года затянется строительство железной дороги. Без жилья ни туды ни сюды – тоже факт. И прав Зарудный насчет ошибок, допущенных при приемке объекта…

Какой там, к чертям, механизированный леспромхоз, когда ни мастерской для ремонта тракторов и лесовозов, ни заправочных пунктов, ни подвозочных дорог от лесных делянок к железной дороге! И ведь Подрезов (он сам возил приемочную комиссию на Сотюгу) понимал, видел все эти недоделки, даже председателю заявил, что предприятие не готово к эксплуатации. Да председатель – тертый калач, насквозь человека видит – покачал головой: "Ну, товарищ Подрезов, вот уж не ожидал, что ты такой мелочага! А мне-то про тебя былины в области пели". И товарищ Подрезов растаял.

А за этим ляпом, само собой, последовал и другой ляп – непосильное задание. Раз леспромхоз принят, вступил в строй, то какой же план? На всю катушку. И была, была у него возможность поправить дело – только бы скажи со всей прямотой и откровенностью на бюро обкома. Нет, не сказал. Озноб, мороз пошел по коже, когда задание для нового леспромхоза услышал, а духу возразить не хватило. Как же это так? Он, Подрезов, да будет канючить, отбой бить? Никогда!

– Ладно, – сказал Подрезов и шумно выдохнул из себя воздух, – совещание так совещание.

А что еще оставалось?

Фокин протянул лист исписанной бумаги.

– Это еще что?

Подрезов надел очки, начал читать:

В бюро обкома ВКП(б)

Заявление

Ввиду того, что в последнее время у меня с первым секретарем райкома тов. Подрезовым Е. П. наметился ряд принципиальных расхождений в решении принципиальных вопросов, прошу от занимаемой должности…

Подрезов, не спуская с Фокина своих пронзительных, замораживающих глаз, медленно сложил заявление пополам, потом еще раз пополам, надорвал и бросил в корзину.

– Иди. Будем считать, что я этой бумажки не видел.

– К вашему сведению, это не бумажка, а официальное заявление секретаря райкома…

– Ну, ну! Валяй. Еще что скажешь?

– Еще скажу, что я не мальчик на побегушках, а вы не хозяин, у которого я на службе. Это первое. А второе… От докладной записки Зарудного нельзя так просто отмахнуться. Пора прямо правде взглянуть в глаза.

– Ты за решение бюро голосовал, нет?

На их счастье, тут с зажженной лампой вошел Василий Иванович, и Подрезов огромным усилием воли задавил в себе гнев.

Он не слышал, как вышел из кабинета Фокин. Прикрыв глаза тяжелой, отливающей рыжим пухом рукой от непривычно яркого, режущего света, ходил по кабинету и не замечал стоявшего навытяжку своего помощника.

Взглянул, когда тот несмело кашлянул.

– Чего у тебя?

– Евдоким Поликарпович, там один человек к вам просится…

– Какой еще человек?

– Анфиса Петровна…

– Анфиса Петровна? – Подрезов как-то и не подумал, что к нему может явиться жена Лукашина, хотя сам Лукашин не выходил у него из головы.

Да, да! Лесозаготовки, хлебопоставки – ради кого он сейчас всеми силами гнал? Разве не ради того, чтобы этого дурака поскорее из ямы вытащить? Потому что одно дело, когда ты разговариваешь с областью, опираясь на лесные кубики и хлебные пуды, и совершенно другое, когда ты, как нищий, протягиваешь пустую руку за милыстыней…

– Скажи, что меня нету. Понятно? – Поморщился и устало махнул рукой. Ладно, пущай заходит.

3

Сколько времени прошло с той поры, как он последний раз видел эту женщину? Дней двадцать, не больше. А не скажи ему помощник, что сейчас к нему войдет Анфиса Минина, он бы, ей-богу, не признал ее.

Тихо, каким-то бесплотным призраком переступила за порог, стала у дверей.

Подрезов, однако, не дал власти чувствам. Он в кулак зажал сердце.

– Пришла? Насчет мужа?

– Насчет…

– Ну и что? Отпусти, Евдоким Поликарпович, зря посадили… Так?

Анфиса тяжело перевела дух.

– Ага, вздыхаешь! Понимаешь, значит, что натворил твой безмозглый муженек?

– Он не для себя взял…

– Не для себя? Вот как! Не для себя… А государству разве большая разница от того, кто и как к нему в карман залез? Ну! Чего язык прикусила?

Темная злоба вдруг накатила на Подрезова. Из-за кого, по чьей милости у него все эти неприятности, срывы, провалы? Кто виноват в том, что он сегодня сломя голову прискакал сюда среди своего отпуска? Разве не ее пекашинский болван? А она сама? Присмирела, богородицей сейчас смотрит на него, а может, она-то и есть всему вина? Может, она-то и науськала своего муженька? Он не забыл еще, как она напевала ему за столом, когда они с Лукашиным ездили на Сотюгу, черт бы ее побрал!

– Получит, получит, что заработал! И даже с довесом. Так трахнем, чтоб не только он сам, а и другие навеки запомнили…

В вечерних сумерках бледным пятном светилось лицо Анфисы, все так же безмолвно и покорно стоявшей у дверей, а он метался по кабинету, кричал, грозил…

Опомнился он, когда внизу хлопнула наружная дверь. Громко, на все здание, так, как она хлопает только в конце рабочего дня, когда пустеет райком…

Вечерняя густая синева заливала главную улицу райцентра, уже кое-где прорезались первые огоньки, уже висячий фонарь зажгли на широком крыльце сельповского магазина, но не от них, не от этих огней был сейчас свет на улице. От белого платка.

Первый раз сверканул этот белый платок перед Подрезовым в сорок третьем году, когда, возвращаясь из верхних колхозов, он по пути привернул на Марьины луга – главные покосы пекашинцев.

Время было тяжелейшее – голод, непосильная работа, постоянные похоронки с фронта, ну и, конечно, как только он подъехал к избушке, бабы задавили его слезами и жалобами.

И вот тогда-то, отбиваясь от баб, он и увидел белый платок на вечернем лугу – яркий, чистейшего снежного накала.

– Кто это там у вас?

– Да председательша. Зарод дометывает – боится, сено под дождь уйдет.

И, помнится, тогда Подрезову только от одного вида этого белого платка, так зазывно, так ярко, не по-военному горевшего на вечернем лугу, стало легче на душе.

И он схватил первые попавшиеся на глаза вилы – и к ней, к Анфисе, на помощь.

А вскоре к зароду подошли и бабы. И спасли сено – до дождя дометали зарод…

Белый платок полоскался в вечерней синеве, гас, снова вспыхивал, а Подрезов стоял у окна в своем кабинете и плакал…

С ней, с этой бабой из Пекашина, связаны у него самые дорогие, самые святые воспоминания о войне, о той небывалой бабьей битве, которой командовал он на Пинеге.

И вот он криком, бранью встретил ее, по сути, предал свою первую помощницу, своего безотказного командира колхозной роты под названием "Новая жизнь"…

И мало того. Опять, опять, как раньше, отплясывался на ней, срывал свой гнев, свои промахи и ошибки…

4

В приемной у Дорохова за секретарским столиком горбился какой-то молодой незнакомый лейтенант в голубой фуражке, должно быть, из приезжих, и печатал на машинке. Подрезова это немало удивило: никогда в жизни не видал мужчину за пишущей машинкой.

Но, в свою очередь, немало удивился и лейтенант. И тут голову тоже не приходилось ломать. Не часто заглядывал в это заведение хозяин района. Может быть, раз или два за все девять лет своего секретарства.

Правда, Подрезов не мог пожаловаться на своих начальников – ни на старого, Таранина, которого три года назад перевели в другой район, ни на нынешнего, Дорохова. Нет, мужики что надо. Нос без толку не задирают и по первому зову, без задержки являются к нему.

А с нынешним, с Дороховым, он даже позволял себе шуточки при встречах:

– Ну как, безопасность? Все пишем! Много накатал на меня?

– Да накатал, не без того же! – в том же духе отвечал Дорохов.

И вот сейчас, когда Подрезов переступил за порог его кабинета, Дорохов, видно, вспомнил их всегдашнюю игру:

– Ба, какой гость у меня!

Живо, не чинясь, поднялся из-за стола, пошел ему навстречу со слегка приоткрытыми в улыбке передними золотыми зубами – будто горбушку солнца нес во рту. Да и вообще – красив Дорохов. Щеголь мужчина. Гибок, строен, всегда до синевы выбрит и всегда надушен, как городская барышня.

Единственно, что, по мнению Подрезова, несколько портило его холеную красоту, это его всегдашняя бледность да болезненно-красные усталые глаза.

Но сейчас, присматриваясь к его кабинету с тяжелыми черными шторами, которыми наглухо были затянуты окна, он, кажется, понял, отчего это. И еще он понял, почему по вечерам в этом доме всегда темно – в лучшем случае иногда видно узкую желтую полоску света в нижнем этаже.

– Так, так, – сказал Подрезов, не спеша, по-хозяйски вышагивая по кабинету. – Давим, говоришь, контру? Может советский народ жить и работать спокойно?

– Может, – улыбнулся Дорохов.

– Сухим держим порох в пороховницах?

– Сухим.

– То-то. В надежных, значит, руках карающий меч? – Подрезов кивнул на портрет Дзержинского на стене.

– В надежных.

В таком вот духе они и говорили. Он, Подрезов, задавал какие-то дурацкие, никому не нужные вопросы, а Дорохов с золотой улыбочкой отвечал. Коротко, его же словами.

В кабинете из-за того, что наглухо запечатаны окна, было жарко. Пот лил с Подрезова.

Он начинал злиться.

Его до глубины души возмущало собственное малодушие. Почему, почему он не рубанет прямо: так и так, мол, товарищ Дорохов, хватит. Проучил ты этого пекашинского дурака – и хватит, гони в шею. Нечего ему зря казенные хлебы переводить.

Но вот как раз этого-то самого простого и самого сейчас нужного он и не мог сказать. Струсил?..

Раньше, например, ему и в голову не пришло бы тащиться самому сюда. Я райком! Подрезов. И никаких гвоздей. А то, что ты там кому-то будешь шлепать и названивать, – наплевать. Наплевать и растереть.

– Наконец завелся внутри мотор. Былая сила вернулась к нему.

Он круто повернулся к Дорохову, даже голову вскинул, но опять эта золотая улыбочка… А кроме того, Дорохов услужливо протягивал ему раскрытую пачку «Казбека».

Пришлось взять толстую папиросину – не орать же на человека, который тебя угощает! И, в общем, началась та же самая ерундистика, от которой еще недавно тошнило его.

– Международная обстановка сейчас, по-моему, ничего, а? – сказал Подрезов. – Особенно после того, как у нас своя атомная бомба появилась.

– По-моему, тоже, – ответил Дорохов.

– По американцам это удар, верно? – Вот тебе и русский Иван! Опять себя показал как надо, весь мир удивил…

– Да, удивил.

– А внутреннее у нас положение тоже на высоте. Читаешь газеты? Вся страна рапортует о досрочном выполнении хлебопоставок…

Тут Подрезов внутренне весь напрягся: все-таки он подвел разговор прямо к Лукашину. Неужели Дорохов и на этот раз не пойдет ему навстречу?

Не пошел.

– Рапортует, – ответил.

Подрезов вмял недокуренную папиросу в пепельницу на столе, с напускной молодцеватостью расправил плечи.

– Ладно, товарищ Дорохов, мне пора. Будешь завтра на совещании? В общем-то, я насчет этого и зашел. Топал мимо – чего, думаю, не зайти?

– Постараюсь, сказал Дорохов.

Улыбаясь, они пожали друг другу руки.

Дорохов до дверей приемной проводил почетного гостя. И даже лампу взял со стола лейтенанта, все так же уныло выстукивавшего на машинке, чтобы посветить Подрезову в темном коридоре.

Подрезов генералом прошагал по коридору.

А потом, а потом…

Хорошо, что на свете есть осенняя темень! Она, как плащом, накрыла его. Черным, непроницаемым, словно шторы в кабинете у Дорохова. И он мог идти запросто, тяжело дыша, тяжело бухая своими чугуном налитыми сапожищами, нисколько не заботясь о том, что его увидят люди.

Глава четвертая

1

Холодный сиверко резвился на пустыре возле здания райисполкома. И в вышней темноте, над его крышей, шумно, с хлопаньем пласталось невидимое полотнище красного флага.

Но напрасно Анфиса искала глазами свет в окошках. Его не было. Кончился рабочий день в райисполкоме, а вечерняя служба еще не началась – только внизу, на первом этаже, где трудилась уборщица, время от времени то в одном, то в другом окне вспыхивала лампа.

– Анфиса, Анфиса…

Кто-то – давно уже, еще с той минуты, как она вышла от прокурора, тащился за нею сзади, но разве могла она подумать, что это Варвара? А то была она, Варвара.

Со слезами, со всхлипами бросилась ей на шею.

– Я еще давеча тебя заприметила, когда ты от Дорохова вышла – я ведь там уборщицей, – да, думаю, ладно, не буду мешать, пущай сходит к прокурору. Сказал он тебе чего, нет?

– Чего скажет. По закону, говорит…

– По закону! Какой такой закон – самого честного-распрочестного человека сажать?

Крепко подхватив под руку, Варвара повела ее куда-то вверх по главной улице, и у нее не было сил сопротивляться.

Начала соображать Анфиса, когда они стали сворачивать в какой-то заулок.

– Пойдем, пойдем, – зашептала Варвара на ухо, все так же крепко держа ее под руку. – С ума-то не сходи. Нету дома Григорья. А хоть бы и дома был – что с того? – Невелика птица милиционер: куда пошлют, туда и пойдешь.

Вот так Анфиса и оказалась в маленькой боковушке у Варвары на втором этаже.

Варвара ухаживала за ней, как за малым ребенком или за больной. Она разула, раздела ее, заставила натянуть на ноги теплые, с печи, валенки, а потом, когда поспел самовар, начала кормить и поить чаем.

– Ешь, пей. Ты ведь, наверно, еще и не ела сегодня?

– Да, пожалуй…кивнула Анфиса и вдруг расплакалась. – Не думала, не думала я, Варвара, что у тебя найду пристанище…

– Да ты с ума сошла, Анфиса! К кому же тебе идти, как не ко мне! Господи, всю войну вместях, какие муки приняли, а теперь, на старости лет, счеты сводить… Пей, пей да не думай – он тоже не голоден. – Тут Варвара быстро привстала с табуретки, зашептала ей в лицо: – Я ему передачу сегодня передала.

– Кому? Ивану?

– Ладно, ладно, потише. Есть тут один милиционер – упросила…

– Ну и как он? – У Анфисы дыханье перехватило.

– Ну и ничего. Да ты не убивайся, бога ради. Сколько ни подержат выпустят. За что его держать-то? Человека убил? Деньги казенные растратил?

Анфиса покачала головой:

– Нет, девка, дров-то он наломал немало. Сама знаешь, какой закон: ни килограмма хлеба на сторону, когда жатва.

– А колхозники-то что – сторона? Ну-ко, вспомни, когда еще ты бабам говорила: бабы, не жалейте себя, бабы, после войны досыта исть будем? Ей-богу, я иной раз подумаю: да что это у нас делается? Я не сею, не жну, а каждый день с буханкой, а в том же Пекашине люди на поле не разгибаются – и на-ко… Нет, нет, – еще с большей убежденностью заговорила Варвара, – этого и быть не может! Выпустят, вот увидишь. А ежели здесь не разберутся, то ведь и в область можно. Да и Москва не в чужом царстве…

Анфиса кивала, соглашалась с Варварой, а сама так и клевала носом: сон навалился – ничего не могла поделать с собою.

Наконец Варвара догадалась разобрать для нее постель. На полу – от кровати она сама наотрез

отказалась. Тут у нее голова еще сработала. Зато уж когда почувствовала под боком мягкую перину, только что занесенную с холодного коридора, заснула моментально, намертво. Будто в воду нырнула.

2

Проснулась Анфиса посреди ночи – от песни. Какие-то бабенки, должно быть возвращаясь с запоздалой гулянки, горланили на всю улицу. И горланили, как назло, ее любимую – о ней и об Иване.
Зачем, зачем ты снова повстречался,
Зачем нарушил мой пакой?

И она слушала эту песню, глядела на бегающие по белому, крашенному известкой потолку отсветы от проезжавшей по заулку машины (на задворках был леспромхозовский гараж) и снова в который уже раз сегодня думала о своей вине перед Иваном.

Как должна вести себя хорошая жена, когда ночью уводят из дому мужа? А как угодно, наверно, но только не стоять истуканом посреди избы. А она стояла. Вросли в пол ноги, отнялся язык. Вот так оглушило ее появление нежданных ночных гостей в ихнем доме. И даже в ту минуту, когда Иван последний раз обернулся к ней от порога, она не двинулась с места, не бросилась к нему.

Но и это еще не все.

Самую-то страшную вину, вину непоправимую, она сделала накануне вечером, когда Иван пришел домой с работы.

Видела: на человеке лица нет. Не глупый же, понимает, какой бедой может обернуться этот хлеб. И не ей ли, жене, в такую минуту было прийти на подмогу своему мужу? Не ей ли было утешить и приободрить его?

А она, едва он переступил за порог избы, начала калить да отчитывать его, как самая распоследняя деревенская дура. Дескать, с кем ты все это удумал? Почему не посоветовался? Враг тебе жена-то, да?

В общем, кричала, бесновалась – себя не помнила. А потом и того хуже: сына на кровать, сама к сыну, а ты как хочешь. Даже ужинать не подала. И Иван в тот вечер так и не ужинал. Снял с вешалки свой ватник, в котором только что пришел с улицы, бросил на пол и лег.

А ночью к ним постучали…

Когда песня на улице стихла, Анфиса тихонько поднялась и решила дойти до милиции, постоять там: должен же Иван почувствовать, что она тут, рядом с ним.

Но Варвара – она тоже не спала – не пустила ее. Встала поперек горенки и нет-нет, нечего расхаживать по ночам. Спи. Затем, обнимая ее за плечи, крепко прижимая к себе, она опять уложила ее в постель, а потом и сама залезла к ней под одеяло.

Анфиса исступленно, обеими руками обвила ее шею, и тут уж слезу пустила Варвара:

– Помнишь, как мы с тобой в войну жили? Как сестры родные, верно? Я иной раз подумаю: да у меня и роднее тебя родни нету. Кто же нас это развел? Пошто теперь-то мы не вместях?

– Жизнь, Варвара… Жизнь разводит людей…

– Жизнь-то жизнь… А мы-то, люди, зачем свою жизнь топчем, лишаем себя радости?

Нет, не прежняя, не лихая, никогда не унывающая бабенка говорила это, и тут Анфиса вдруг вспомнила, какое невеселое, потускнелое лицо было у Варвары за чаем.

– Я все о себе да о себе. Ты-то как живешь, Варвара?

Варвара – вот характер – мигом преобразилась.

– Живу! Чего мне не жить на всем готовеньком? Ладно, – оборвала она себя круто, – обо мне чего говорить. Ты лучше про Пекашино расскажи, про сына своего. Большой стал у тебя Родион?

– Большой. Уж две недели, как на своих ногах стоит.

– С кем оставила?

– Родьку-то? С Лизой Пряслиной. Сама прибежала ко мне: "Ты, говорит, Анфиса Петровна, ежели в район надо, Родьку к нам давай. Нам с мамой все равно – что один, что двое… И Михаил, говорит, велел сказать…" Михаил, все ладно, скоро женится. Раечка бегает по деревне – ног под собой не чует. Ну да чего дивиться? За такого парня выходит… А вы-то с Григорьем записаны? спросила Анфиса.

Варвара не ответила.

В заулок с ревом въехал не то трактор, не то тяжелый грузовик. Рамы задрожали. Ослепительный свет скользнул по потолку, по дверям, по постели.

На миг Анфиса увидела сбоку от себя Варварино лицо, мертвенно-бледное, заплаканное, увидела крепко закушенные губы и с ужасом подумала: Господи, да ведь она все еще любит Мишку. Столько-то лет…

– Варвара, Варвара… Что я наделала, что натворила… Да я ведь жизнь твою загубила…

Ни одного словечка в ответ. Только со всхлипом вздох. А потом умерла Варвара.

Анфиса заплакала.

– Господи, господи… Самому заклятому врагу так не делают, как я тебе сделала. Да простишь ли ты меня когда-нибудь?

Она долго ждала, когда заговорит Варвара. Но Варвара молчала.

Все сделала для нее: приютила, накормила, напоила, с сердца камень сняла, – а вот заговорила о Михаиле – и конец ихней дружбе. Стена встала меж ними.

И Анфиса, вдруг вспомнив недавно сказанные Варварой слова, с горечью, с тоской спрашивала себя: ну почему, почему мы сами-то себя топчем, поедом едим? Почему мы сами-то не даем друг другу жить?..

Глава пятая

1

Подрезов отошел, отоспался за ночь. У него появились мысли насчет Сотюги он решился наконец, что с ней делать, как вытащить сотюжский воз. А это самое главное. Основа основ всего. И поутру, когда он пришел в райком, ему уже не казалось, как вчера, все безнадежным.

Пекашинское ЧП, конечно, есть ЧП – тут нечего делать вид, что ничего не случилось. Но нечего и биться головой о стенку, кричать караул.

Снова замотало у него душу, когда приехал Филичев, завотделом промышленности обкома партии. Приехал внезапно, неожиданно, без всякого предупреждения. Просто как снег на голову пал. Он уж, Евдоким Поликарпович, собрался было идти вниз, на первый этаж, где в просторном парткабинете ожидали его люди, приехавшие со всех концов района на совещание, он уж было за ручку двери взялся – и вдруг Филичев. Грудь в грудь, глаза в глаза.

Филичев в обкоме человек был новый, так, запросто, не спросишь: дескать, какая тебя нелегкая к нам принесла? Вот у Евдокима Поликарповича и пошел крутеж в голове – зачем приехал? Для знакомства с лесным делом на Пинеге (Филичев еще не бывал в районе)? Докладная записка Зарудного сработала? К нему, Евдокиму Поликарповичу, ключи подбирать?

В другое время Подрезов и не подумал бы ломать голову над всем этим: наметил себе дорогу – и при, а сегодня, когда у тебя такая ноша на горбу, приходилось все учитывать, каждую ложбиночку, каждое болотце, а уж тем более не лезть без нужды в трясину.

Взбодрила немного Подрезова встреча со своей лесной гвардией – директорами леспромхозов, начальниками лесопунктов, парторгами, рабочкомами, стахановцами. От их красных и темных обветренных лиц, от их тяжелых, шероховатых рук, которыми они неумело прикрывали рот, чтобы приглушить кашель, от всех их будто вытесанных топором коренастых фигур так и дохнуло на него лесной свежестью, дымом костров, запахом смолы. И он, который в парткабинет вошел с крепко сомкнутым ртом, тут невольно разжал губы, улыбнулся.

Филичев повел себя хозяином с первой минуты, как только Подрезов объявил порядок дня. Порядок самый обыкновенный, такой, какого придерживаются на любом совещании: сперва заслушать начальников передовых лесопунктов – Туромского и Синегорского, поскольку у них можно позаимствовать положительный опыт, а потом уже заняться Сотюгой.

– А почему не наоборот? – спросил Филичев. – Почему не сразу быка за рога?

Зал замер. Не привыкли к такому, чтобы их первого, как мальчишку, одергивали. Да и по существу: кто же это кобылу с хвоста запрягает?

Подрезов, однако, сдержался: зачем палить по воробьям, когда идешь в лес, где медведя встретишь? А потом, как-то и неловко было ему, здоровенному человеку, с первой минуты задирать инвалида войны – у Филичева вместо левой руки был протез с черной хромовой перчаткой.

– Хорошо, сказал Подрезов, – начнем с Сотюжского леспромхоза.

Зарудный, как всегда, вылетел из задних рядов быстро, стремительно, как торпеда. Но Филичеву, судя по его хмурому лицу, он не очень понравился.

Все еще были в военных и полувоенных кителях, гимнастерках, все еще чувствовали себя солдатами (да восстановительный период мало чем и отличался от войны), а этот в белой рубашечке, с галстучком, в какой-то курточке со сверкающей молнией, и светлые волосы на голове с задором, с вызовом – как гребень у петуха.

– Ну, расписывать успехи мне нечего, поскольку таковых нет…

В задних рядах фонтаном брызнул смех, потому как кто же так начинает речь? Где политическая подкладка, связь с международным положением, с внутренней обстановкой в стране? И Филичев тут уже не на зал посмотрел, а на Подрезова: дескать, что такое? как прикажешь понимать?

В зале заворочались, завытягивали шеи, улыбками расцвели суровые лица.

Филичев начальственным взглядом обвел зал, но и это не помогло. Так всегда было: когда на трибуну выходил Зарудный, оживали люди.

– Сотюжский леспромхоз, как известно, в трясине, – еще более определенно выразился Зарудный. – В трясине, из которой не вылезает второй год. И если мы будем работать и дальше так, то не только не вылезем, а, наоборот, будем увязать все глубже и глубже. Это я вам точно говорю.

– Значит, надо работать иначе. Так? – подал реплику Филичев.

– Безусловно.

– Так в чем же дело?

– Дело во многом… – И тут Зарудный, загибая один палец за другим, начал лихо перечислять уже давно известные многим участникам совещания причины хронического отставания Сотюги: просчеты в определении сырьевой базы, недостроенность объекта и в связи с этим нереальность задания, отсутствие жилья, и как прямой результат этого – необеспеченность предприятия рабочей силой…

Восемь пальцев загнул Зарудный. Восемь.

– Но самая главная причина сотюжского кризиса, причина всех причин – это непонимание того, что происходит сейчас в лесном деле, непонимание, что в лесной промышленности наступила новая эпоха – по сути дела, эпоха технической революции…

Филичев опять прервал Зарудного:

– Кто этого не понимает?

– Кто? – Зарудный на мгновенье по-мальчишески закусил верхнюю губу с чуть заметным золотистым пушком. – Этого, к сожаленью, многие не понимают ни в районе, ни в области – я имею в виду прежде всего некоторых руководящих работников лесотреста. Сегодня совершенно очевидно, что старый, дедовский способ заготовки древесины и ведения лесного хозяйства изжил себя начисто…

И пошел, и пошел чесать. Сегодня нельзя больше полагаться на лошадку да на топор – этим инструментом не взять леса из глубинки. Сегодня надо строить железные дороги, автомобильные трассы – словом, внедрять технику. А чтобы внедрять технику, нужны

квалифицированные рабочие, целая армия инженерно-технических работников. А чтобы иметь последних, надо по-новому строить все бытовое и жилое хозяйство, надо сделать небывалое – воздвигнуть в тайге современные благоустроенные поселки, где была бы своя школа, свой клуб, своя больница…

Люди слушали Зарудного, затаив дыхание, – всех заворожил, сукин сын, сказками про райское житье, которое вот-вот наступит в пинежских суземах. А когда Зарудный с той же горячностью своим звонким, молодым голосом начал говорить об отставании от требований времени руководства, о необходимости нового, более смелого и широкого взгляда на жизнь, Подрезов не узнал свою лесную гвардию: гул одобрения прошел по залу. А ведь в кого бил Зарудный, когда пушил руководство? В него, Подрезова, прежде всего.

– Да, да, – валдайским колоколом заливался Зарудный, – кое-кто у нас в методах руководства все еще едет на кобыле. И не просто на кобыле, а на старой кляче. (Дружный смех прокатился по залу.) Пора, пора с лошади пересесть на трактор, на автомобиль. И вот еще что скажу, – это уже прямо в его, Подрезова, адрес, – окрик да кнут трактор и автомобиль не понимают. Их маминым словом с места не сдвинешь…

Кто-то в задних рядах не удержался – захлопал, но тут опять в дело вступил Филичев:

– Популяризаторские данные у вас, товарищ Зарудный, несомненны. Но мы не лекцию собрались здесь слушать. – И уже совсем сухо, по-деловому: – Ваши конструктивные предложения?

– Предложения по выполнению плана?

– Да.

– Ну, я об этом с достаточной ясностью высказался в докладной записке.

– В какой докладной записке?

Шумный, торжествующий вздох облегчения вырвался из груди у Подрезова.

Все правильно, все так, как он думал. Лес, кубики дай стране – за этим приехал Филичев. Ну, а раз так – живем! Нет сейчас на Пинеге другого человека, который бы в нынешних условиях мог дать больше леса, чем он, Подрезов!

– Речь идет о докладной записке, которую товарищ Зарудный направил министру лесной промышленности.

– Как министру? – И Филичева поразила дерзость молодого директора. – У вас что, куда рак, куда щука? В чем существо дела?

– Существо дела в том, что строить на Сотюге. Бюро райкома считает, что на данный момент, поскольку мы два года недодаем родине древесину, можно строить здания барачного типа, а то и вовсе на время свернуть жилищное строительство. А товарищ Зарудный – нет. Не хочу черного, без булки и за стол не сяду. Мне светлицу да терем подай… – Подрезов взял лежавшую перед ним записку Зарудного, порылся в ней глазами и, нарочно косноязыча, произнес: Ко-тед-жи…

В зале язвительно рассмеялись – наступал перелом.

Северьян Мерзлый, председатель захудалого колхозишка, явно подлаживаясь к первому, выкрикнул:

– Ето что же за котожи, разрешите узнать? Ето не те ли самые котожи, из которых мы в семнадцатом году кровь пущали?

После немного затихшего хохота Подрезов сказал:

– Вот видишь, товарищ Зарудный, чего ты требуешь. Народ православный даже и слова-то такого не слыхал…

– Я могу разъяснить этому православному народу, что такое коттеджи. Это двухквартирные и четырехквартирные дома со всеми бытовыми удобствами, которые, надо полагать, заслуживает лесной рабочий – человек одной из самых тяжелых и трудных профессий…

Подрезов, сохраняя внешнее спокойствие, перебил:

– А скажи, товарищ Зарудный, на сколько можно увеличить заготовку древесины, ежели временно отказаться от строительства этих самых… – он не упустил случая, чтобы еще раз лягнуть своего противника, – коттеджей и высвободившуюся рабочую силу направить в лес?

Зарудный немного помялся, но ответил честно:

– Думаю, процентов на тридцать, на тридцать пять.

– Что? На тридцать пять? И вы, имея такой резерв, до сих пор не использовали его? – Филичев и в сторону Подрезова метнул гневный взгляд.

– Это фиктивный, кажущийся резерв, а попросту самообман.

– То есть?

– То есть!.. Можно прикрыть жилищное строительство, можно снова загнать людей в бараки. Все можно! Можно даже под елью жить. Жили же во время войны…

– Ты лучше войну не трожь, товарищ Зарудный, – с угрозой в голосе посоветовал Подрезов. Его при одном этом слове заколотило.

– А почему не трожь? Надо, обязательно надо трогать войну. И надо понять раз и навсегда: ударные месячники, штурмовщина, всякие авралы кончились. С ними теперь далеко не уедешь. – Тут Зарудный до того разошелся – перешел на визг: – Война, война! Голодали, умирали, жертвовали… До каких пор? До каких пор кивать на войну? Вы хотите увековечить состояние войны, а задача состоит в том, чтобы как можно скорее вычеркнуть ее из жизни народа…

– Вычеркнуть войну? Войну забыть предлагаешь? – Подрезов встал. – Да откуда ты явился такой, а? В какой семье вырос?

Тут Подрезов еще отдавал себе отчет, что перебирает. На самом деле он хорошо знал биографию Зарудного: не один раз листал его личное дело. Из рабочей семьи. Мать – посудомойка в столовой. Трое детей, причем Евгений старший, отец пропал без вести на фронте. Но дальше уже ни малейшего притворства, ни малейшего наигрыша. Дальше его понесло, как коня под гору. Красный туман заходил перед глазами.

– Вот тут сидит сколько человек? Сто? Сто двадцать? Встаньте, по кому война не проехалась! Видишь, нет таких. Никто не встал. А – ты до каких пор, говоришь, на войну кивать? Всю жизнь! До самой смерти! И я тебе не советую, товарищ Зарудный, тыкать пальцем в раны, которые еще у всех кровоточат…

Зарудный пытался что-то возражать, оправдываться. Но его никто не слушал. Зал клокотал, зал лихорадило, а Филичев – тот сидел бледный-бледный, как бумага, и вокруг его серых выпуклых глаз отчетливо проступили синие пороховые пятна.

Подрезов, отдышавшись, закончил. Закончил уже как полный хозяин положения:

– Теперь насчет жилищного строительства на Сотюге. Будем строить. Придет время – в отдельных домах будем жить. – Он посмотрел в сторону дивана у стены, где своей белой рубашкой выделялся Зарудный среди сурового воинства, затянутого в армейские кителя и гимнастерки. – А теперь покамест придется немного потерпеть. Страна кричит, требует: дай лес, дай лес! Люди на разоренной врагом территории живут еще в землянках, мерзнут в хибарах, каждой доске, каждой жердине рады. А мы не можем год-два в бараках пожить? Да советские ли мы люди после этого? Братья и сестры мы? Или кто?

Зал ответил аплодисментами.

2

Победа!

Наконец-то Зарудный поставлен на свое место. Теперь он. Подрезов, будет командовать парадом. И у него есть что предложить совещанию или пленуму. Вполне можно так назвать: весь цвет района собран. Не зря он до четырех часов утра не смыкал глаз.

Первое, в чем он уже заручился поддержкой представителя обкома, – свернуть на время работы по жилищному строительству.

Второе – снять половину задания с Сотюжского леспромхоза (восемьдесят девять тысяч кубометров – годовой план) и разбросать по другим леспромхозам и колхозам. В порядке, так сказать, дополнительных обязательств. Колхозы, конечно, взвоют. Но что делать? Поразоряются-поразоряются, а придется ремень затягивать еще на одну дырку.

Третье – это уже на самый крайний случай – «прочесать» слегка Красный бор. Люди, понятно, потом проклянут его за этот Красный бор, можно сказать, последний стоящий сосновый бор на Пинеге (остальные в войну свели), да когда человек ко дну идет, разве ему о том думать, за что ухватиться.

Расчеты Подрезова правильны – он в этом не сомневался. И это хорошо, что его сегодняшняя схватка с Зарудным происходит на глазах у всего районного актива и в присутствии такого умелого и влиятельного работника обкома, как Филичев. Сразу с двух сторон подпоры! И поди попробуй теперь сказать, что Подрезов зарвался. Подрезов своевольничает…

Филичев устал и был рад перерыву. Сразу же, как только вошли в кабинет, полез в карман за какими-то таблетками. Но вот характер! Отвернулся – не захотел, чтобы видели его слабость.

Подрезов, щадя самолюбие Филичева, подошел к окну.

Двери внизу визжали и ухали, крыльцо разламывалось от топота ног, а в райкомовский садик

под окнами все вываливались и вываливались люди. На солнышко. На зеленую травку.

Возле турника, как всегда, сбились те, кто помоложе. Вася Каменный, низкорослый здоровяк из Юрги, так облапил своими ручищами железную перекладину, что Подрезов даже со второго этажа услышал, как жалобно завыли деревянные столбы, но где там – не смог оторвать от земли свой увесистый самовар.

Лучше получилось у Пашки Тюрина и Вани Дурынина – эти без особого труда перевернулись, но по сравнению с Зарудным и они оказались неповоротливыми тюленями.

Черт-те что за человек! Только что били, только что колотили, все совещание восстановил против себя, а с него как с гуся вода. Подошел с улыбкой – зла не помню – да как начал-начал выделывать номера – и колесом, и ласточкой, и медведем – все сбежались к турнику.

Этот турник в райкомовском садике поставили какой-нибудь год назад, а потом турники за одну эту весну расплодились по всему району. И теперь на какой лесопункт ни приедешь, в какой колхоз ни заглянешь, даже самый захудалый, турник обязательно увидишь. Ну, а на Сотюге – это от Зарудного все пошло – был даже целый спортивный городок выстроен.

Да, вздохнул про себя Подрезов, ничего не скажешь – орел парень. Орел… И на какую-то секунду ему даже жалко стало, что они не сработались. Всех обламывал он или приручал к себе. А этого не сумел. Этот за два года даже Евдокимом Поликарповичем его ни разу не назвал – всё "товарищ Подрезов"… Почему?

А в общем, чего теперь об этом горевать? Теперь им уж недолго осталось мозолить глаза друг другу. И он, еще раз бросив взгляд на летающего в воздухе Зарудного, на завороженную им толпу лесозаготовителей, со всех сторон окруживших турник, отошел от окна.

Филичев уже пил чай.

Подрезов тоже взял себе стакан чая с подноса, который минуту назад вместе со свежими газетами внес помощник, пошел на свое секретарское место – он любил попивать чаек, просматривая газету.

– Посмотрим, посмотрим, чему нас учит товарищ Лоскутов, – пошутил он.

Пошутил в надежде, что Филичев немного прояснит ситуацию в области, но тот даже ухом не повел. Всего скорее не хотел откровенничать.

Ладно, думал не без ухмылки Подрезов, на лесе мы с тобой сошлись, а уж на Лоскутове-то тем более сойдемся, потому как Лоскутова, он знал это, аппаратчики не очень любили.

Передовая областной газеты была посвящена завершению уборки на полях лягнули виноградовцев и лешуконцев, затем еще один материал на первой странице – письмо Сталину от трудящихся энской области, рапортующих о досрочном выполнении плана хлебозаготовок.

Вторую и третью страницы Подрезов даже и просматривать не стал выступление Вышинского в ООН. Такие материалы он читает по центральной «Правде» и обычно дома перед сном, уже лежа в постели. А насчет того, чтобы дырявить газеты глазами в рабочее время, у него закон твердый: ни себе ни малейшей поблажки, ни своим подчиненным.

Четвертая страница была, как всегда, дробной и пестрой. Первой зацепила глаз заметка с фотографией клоуна о последних, завершающих гастролях цирковой труппы, и он мысленно

вздохнул – вспомнил смазливенькую черноглазую артисточку…

«Выше дисциплину на речном транспорте!»…

Эту статейку из двух столбцов в левом углу сверху он и просматривать не собирался – какое ему дело до речников? – да вдруг бог знает как в середине второго столбца увидел: Подрезов. Какой Подрезов? Однофамилец?

Нет, нет, нет. О нем шла речь.

"К сожалению, не всегда должный пример подают и коммунисты. Так, первый секретарь райкома т. Подрезов Е. П. на днях допустил непозволительную грубость и кичливость на пароходе, где капитаном тов. Савельев".

Всего один абзац в статейке на четвертой странице, маленький абзац, напечатанный каким-то тусклым, подслеповатым шрифтом, а Подрезова он оглушил. У Подрезова в глазах все заходило и закачалось.

Потом он поднял от стола голову вместе с газетой и, как бы прикрывая ею свое пылающее лицо, посмотрел поверх нее на Филичева.

Филичев блаженствовал.

Большой покатый лоб его бисером осыпал пот. Он даже китель расстегнул, чтобы вполне насладиться чаепитием, и Подрезов увидел на груди у него поверх белой нательной рубахи с солдатскими завязками желтый, совсем еще новенький ремешок, которым закреплялся протез.

3

До сорок пятого года у них в райкомовском доме было две общих уборных одна внизу, на первом этаже, а другая на втором. Но в том сорок пятом году, вернувшись из города с банкета в честь Победы, Подрезов приказал уборную на втором этаже заново переоборудовать – повесить зеркало на стену, завести умывальник, чистое полотенце, туалетное мыло – и гужом туда всем не переть.

По поводу этого своего нововведения Подрезов долго подтрунивал над собой, зато сейчас он оценил его как следует. Сейчас уборная была единственным местом во всем огромном двухэтажном здании, где он мог остаться наедине с собою.

Накинув крючок на дверь, он еще раз прочел злополучный абзац, затем прочел всю статейку.

Все ясно: Лоскутов решил поставить на нем крест. Да, да. Только одна его фамилия названа. Как будто с ним Кондырева не было.

Он не очень ломал голову, почему именно он попал в опалу. Всякие могли быть причины. И первое – прорыв на лесном фронте. Разве он сам, к примеру, стал бы держать в начальниках лесопункта человека, который два года подряд не выполняет задание? Могло быть и другое – Лоскутов решил подтянуть дисциплинку. С этого многие начинают, когда приходят к власти. И на ком же учить районщиков? На Афоне Брыкине? А могло у Лоскутова взыграть и честолюбие. Все люди. И там, наверху, с нервами, с самолюбием. А Подрезов не больно-то считался со вторым секретарем – всегда по каждому вопросу шел к Павлу Логиновичу.

Э-э, да что теперь гадать, почему ты загремел. Что это меняет? Теперь надо думать о другом.

Подрезов аккуратно свернул газету в трубку, положил на подоконник. Потом снял с себя гимнастерку, старательно умылся холодной водой, растерся вафельным полотенцем, глядя на себя в зеркало, и зачем-то с особым тщанием, щеря рот, осмотрел свои зубы – крупные. крепкие и довольно чистые, никогда не знавшие никотина.

Когда он вошел в свой кабинет, Филичев уже знал про статейку. Он стоял у стола хмурый, озабоченный, снова застегнутый на все пуговицы, и областная газета со знакомой фотографией циркового клоуна лежала возле него.

– Ну что же, товарищ Филичев, пойдем, сказал Подрезов своим обычным голосом и кивнул в сторону приоткрытых дверей, откуда валом накатывал гул: участники совещания уже были в курсе дела.

Глава шестая

1

Ему не могло почудиться. Он хорошо слышал ребячий смех и визг в кухне. Слышал, когда поднимался на крыльцо, слышал в сенях, берясь за скобу, а открыл двери – и вмиг все оборвалось. Онемели, к полу приросли дети, будто стужей крещенской дохнуло на них. И Софья тоже немым истуканом уставилась на него.

Он прошел в переднюю комнату, постоял немного, как бы прислушиваясь – в кухне по-прежнему ни звука, – и прошел к себе.

Бог знает когда подоспевшая Софья начала помогать ему снимать кожаный реглан, но он оттолкнул ее от себя.

– Мать называется! Отец домой приходит, а дети от него как от чумы шарахаются.

– Мы, вишь, не ждали, что ты через кухню пойдешь…

– Не ждали! Что же, я должен заранее объявлять, когда на кухню зайду?

Софья, как всегда, не выдержав его взгляда, покорно опустила глаза, потом, спохватившись, спросила:

– Исть ставить?

Он ничего не ответил. Заложив руки за спину, прошелся по комнате.

– Слышала, что говорят обо мне?

Что-то вроде испуга метнулось в больших темных глазах, румянец на секунду отхлынул от крепкого скуластого лица, но ответа он не услышал.

Да, вот так. Весь район ходуном ходит, везде только и говорят сейчас что о нем, а жена его как с неба свалилась…

– Ладно, иди. С тобой говорить – легче воз дров нарубить.

Софья вышла, тихонько закрыв за собой дверь.

Он прошелся еще раз по комнате, глянул в окно на улицу, по которой в это время с грохотом

пронесся порожний грузовик, и прилег на койку – прямо в гимнастерке, в сапогах.

За окном вечерело. В темном углу за койкой, там, куда не попадали лучи солнца, уже невозможно было разобрать буквы на плакате с разгневанной матерью-родиной, зато все остальные плакаты времен войны – а их в комнате было множество, каждый вновь попадавший в район плакат садил он у себя на стену пылали, как факелы, как живые костры.

В прошлом году, когда он из города привез обои, жена хотела было оклеить ими и его комнату, но он запретил. Всю войну прошел плечом к плечу с этими богатырями-воинами – с красноармейцами, партизанами, маршалами, всю войну заряжался от них силой-ненавистью, а теперь долой? В утильсырье за ненадобностью?

Он расстегнул офицерский ремень с медной звездой, стащил с себя гимнастерку – все тело горело от зуда, который вдруг неожиданно со страшной силой обрушился на него во время этого судилища. Можно сказать даже, публичной казни – вот чем обернулось для него созванное им районное совещание.

2

…У него хватило силы воли – в парткабинет вошел с улыбкой, и это так всех изумило, так всех ошарашило, что не то что люди – газеты замерли в руках.

– Начнем, товарищи! Газетками, я вижу, вы подзапаслись, так что повеселее пойдут прения, а?

И опять ни звука. Опять ни единого шороха в зале.

И тогда он вдруг почувствовал в себе такую силу, что, кажется, только крикни он этим людям: "За мной, ребята!" – и они бросятся за ним в огонь и в воду.

И был, был соблазн у него трахнуть напоследок дверью на всю область: вот, дескать, запомните, кто такой Подрезов, – но он сказал:

– Я думаю, товарищи, поскольку в работе нашего совещания принимает участие заведующий отделом обкома, то лучше будет, ежели председательствовать будет он.

Вот после этого и началось.

Видал, немало на своем веку он повидал весенних разливов в половодье – и на малых реках и на больших. И что всегда поражало его? Муть, нечисть, мусор, которые кипят и крутятся на воде.

Вот так же и сейчас.

Вся грязь, весь хлам, вся погань всплыли наверх. Северьяха Мерзлый, тот самый Северьяха, который еще сегодня утром дозорил его у входа в райком дескать, какие указания будут? в каком разрезе выступать? – Митрофан Кузовлев, Санников, Фетюков…

Все орали, горланили, размахивали руками, лезли на трибуну: Подрезов… Подрезов!.. Подрезов – тормоз… Подрезов житья не дает. Подрезов – воевода, который всех подмял под себя… А в колхозах который год трудодень пустой кто виноват? Подрезов… А из-за кого в магазинах ни чаю, ни сахару? Из-за Подрезова…

Все из-за Подрезова! Во всем Подрезов виноват!

"А война у нас была тоже из-за Подрезова?" – хотелось рявкнуть ему на весь зал.

Но он не рявкнул. На кого рявкать? На эту нероботь и шушеру?

Боже мой, боже мой! Подрезов для них тормоз. Подрезов им житья не давал… Да в том-то и беда, в том-то и вина его страшная – перед народом, перед партией, – что он терпел их, пригрел у себя под боком.

Северьяху Мерзлого, к примеру, взять. Пять колхозов завалил, сукин сын! Пять! А Митрофан Кузовлев… Ну кого тупее его в районе сыщешь?! А он, Подрезов, пригрел. Ребятишек пожалел. Пятеро. Не в детдом же при живом отце отдавать!

И такие, как эти – не лучше! – Фетюков, Санников, заместитель председателя райисполкома Лазарев… Всех, всех давно в шею надо было гнать. А он их держал. Почему? Да потому, что хорошо кадили, славословили, в ладоши хлопали… Да каким же судом судить его за это? Какой карой карать?

Два человека – Исаков да Лешаков – вступились за него.

Исаков напомнил, как он, Подрезов, весной сорок третьего года спас скот района от падежа – всех поголовно белый мох из-под снега выкапывать выгнал. Даже школы на неделю закрыл. А Лешаков подал голос с места: дескать, чего за строгость хозяина корить? С нашим братом распустись – что будет?

Заступничество Исакова и Лешакова Подрезов оценил после, когда снова и снова прокручивал в своей памяти ленту совещания. А в тот момент, когда они говорили, даже поморщился от досады. Ну какая это заступа? Молчали бы уж лучше. Один – председатель колхоза, который давно уже на ладан дышит, а другой тоже не кадр: начальник самого захудалого лесопункта, которого он же сам, Подрезов, разносил везде и всюду при первом случае.

Судьбу решала большая вода. Она в разлив выворачивает с корнями столетние сосны и ели, сносит постройки, размывает и рушит каменные берега.

А большая вода – это директора леспромхозов, начальники ведущих лесопунктов, председатели крупных колхозов, руководящий аппарат района.

И вот первый вал – Афиноген Каракин.

Дружба с арестованным Лукашиным, бабья заваруха у колхозного склада в Пекашине, факты незаконного разбазаривания хлеба в колхозах, то есть выдача его колхозникам в период хлебозаготовок, и даже… поощрение частнособственнических тенденций в колхозах – дескать, с ведома первого секретаря у Худякова и еще кое у кого заведены тайные поля, которые не облагаются налогом…

Под корень рубка!

Но и этого мало. Напоследок Афиноген вытащил из грудного кармана записную книжку, раскрыл не спеша и давай, как бухгалтер, перечислять все прегрешения первого. По числам. С указанием свидетелей.

13 июня 1948 г. т. Подрезов в нарушение устава сельхозартели вывез из колхоза, где председателем Худяков, 5 кг свежих огурцов и употребил их по личному назначению.

10 мая 1949 г. т. Подрезов, попирая партийную этику, распил вместе с арестованным ныне Лукашиным бутылку водки в своем кабинете. Водку из магазина сельпо доставил специально посланный для этой цели помощник первого секретаря.

5 октября 1949 г. т. Подрезов организовал бригаду браконьеров и в течение 2 дней незаконно ловил в реке семгу. На предупреждение рыбнадзора т. Коровина прекратить это безобразие ответил выстрелом из ружья в воздух, а затем пригрозил утопить т. Коровина в реке…

Все перечислил, ничего не забыл. Грубое обращение с людьми, мат по телефону, покупка продуктов в колхозах по заниженным ценам, незаконное увольнение людей с работы… И так далее и тому подобное.

Зал клокотал, бурлил, как вода в разъяренном пороге.

Никто, никто не ждал такой прыти от Афиногена Каракина. Заведующий отделом райкома, выдвиженец Подрезова, и не просто выдвиженец – любимчик, можно сказать, и вдруг такой крутеж на глазах у всех…

А сам Подрезов глаз не поднимал. Зажал себя. Как сплавщик, который плыл на бревне по осатаневшей реке в половодье, и все силы, все уменье и сноровка его были направлены на одно – устоять на этом бревне.

– Кто следующий? – Филичев по-военному резко обратился к залу.

Зал молчал.

Чего, чего они ждут? Какого дьявола сидит набравши в рот воды Зарудный? Бей! Лупи в хвост и в гриву! Пришел твой час.

Но еще больше удивлял его председательствующий.

Ведь ясно же: синим огнем горит человек. По существу, на поводу у секретаря райкома пошел…

Правильно: не знал мнения обкома (как выяснилось потом, Филичев прилетел на Пинегу не из Архангельска, а из Лешуконья, где был в командировке), да вот же перед тобой газета – черным по белому сказано: Подрезову крышка. Выправляй линию! Кто осудит тебя? Да и выправлять-то проще простого: только поддакивай, только раздувай помаленьку сам собой вспыхнувший в зале огонь.

Филичев закаменел – не по нему, видно, такая работа. А когда Северьян Мерзлый снова полез на трибуну, просто срезал того:

– Я думаю, кроме болтовни, мы все равно от вас ничего не услышим.

– Верно! Правильно! – раздалось сразу несколько голосов, и среди них – или это показалось ему? – звонкий, решительный голос Зарудного.

3

Последним выступал Фокин.

Ну, Милька, покажи себя. Прыгай прямо с трибуны в мое кресло!

Лихо, с разудалой беззаботностью глянул Подрезов на поднявшегося из-за стола румянощекого молодого своего помощника, а на самом-то деле озноб пробрал его. Что скажет Фокин?

В течение всего совещания Фокин ни разу не подал своего голоса. Все кипели, кричали, выходили из себя, Филичев сколько раз менялся в лице, его, Подрезова, бросало то в жар, то в холод, но Фокин – ни-ни. Сидел неподвижно, с поджатыми губами, не улыбался, не хмурился, только время от времени перекатывал под скулами тугие, как пули, желваки да делал какие-то пометки карандашом в блокноте.

– Товарищи, это хорошо, что у нас такая большая активность, такое желание высказаться по наболевшим вопросам, но плохо то, что мы забыли с вами, ради чего здесь собрались. О лесе забыли, товарищи.

У Подрезова дух перехватило.

Все что угодно ожидал сейчас от Фокина, но только не такого вот разворота. И ему стыдно, просто по-человечески стыдно стало за себя. Как он сам-то, он, Евдоким Подрезов, мог забыть про дело?! Все, все можно сказать о нем, самое тяжкое обвинение припаять, но только не шкурничество, только не корысть, только не трусость.

Он так жил: головой рискую, сам ко дну иду, но дело, прежде всего дело!

В сорок шестом прислали к нему Митьку Фокина из области. Мальчишка! По существу, ходить еще не умел по-взрослому – все бегом, все вприпрыжку. Когда со второго этажа по лестнице спускается, на весь райком гром. Но комсомол в районе этот мальчишка поставил на ноги. За один год.

А ну-ко, парень, попробуем тебя в лесном деле. Вертеть-то языком да глазки закатывать перед девками не велика хитрость, а лесопункт потянешь?

Лесопункт Кочушскии – страхи божьи. Рабочие – всякий сброд, отовсюду навербованы, как говорится, с бору по сосенке. Начальники не приживаются трое за полгода сменились. И все будто бы из-за какого-то Вани Рязанского, который мутит народ и никого не слушает. Ну, а насчет плана и говорить нечего – забыли, когда и выполнялся.

И вот в этот-то вертеп Подрезов и бросил своего любимца: тони сразу или выплывай.

Неделя проходит – ни звука, две проходит – ни звука, три… Подрезов уже начал было подумывать: а не поехать ли самому? И вдруг телефонограмма:

Докладываем, что Кочушский лесопункт месячный план по заготовке древесины выполнил на 94 %. Недоимку за этот месяц обещаем ликвидировать в следующем месяце.

Начальник лесопункта Фокин Парторг Калинин

Председатель месткома Рязанский.

…Да, да! Фокин поставил все на место. Лес, лес главное, товарищи! Лес ждет от нас родина. Ну, а раз так, временно от жилищного строительства на Сотюге, товарищ Зарудный, придется отказаться. Другого выхода у нас нет…

Подрезов не посвящал Фокина в свои планы. Даже словом не обмолвился – до того рассвирепел

из-за ареста Лукашина, а когда вечор Фокин полез в бутылку заявление об уходе подал, – он и вовсе его вычеркнул из своего сердца. Да и вообще, в голову начали закрадываться кое-какие сомнения и подозрения: уж не роет ли ему Милька яму, чтобы самому сесть на его место?

Нет, когда роют яму, так не говорят, а Фокин полным голосом на весь зал: не торопитесь ставить крест на Подрезове. Не одни ошибки да недостатки у Подрезова. Есть кое-что и другое…

– Ну, а что касается некоторых обвинении в адрес Подрезова, сказал Фокин, – то, я думаю, они брошены сгоряча. Как, к примеру, можно говорить, что первый секретарь райкома поощрял частнособственнические тенденции в колхозах, что он знал о так называемых тайных полях у Худякова? Думаю, что нет никаких оснований связывать с первым секретарем и разбазаривание хлеба в Пекашине…

Вот в это самое время в Евдокима Поликарповича и вкогтился зуд.

Решающая минута! Минута, какой не было в его жизни за все сорок четыре года. И наверняка не будет. Ведь стоит ему только отрезать, отсечь от себя Худякова и Лукашина, как подсказывает Фокин, – и какие против него обвинения? Грубость, мат, не очень ласковое обхождение с рыбнадзором…

Да, да, да! Два серьезных политических обвинения против него – тайные поля и дружба с арестованным Лукашиным, а все остальное чепуха, мусор, пена… И в зале уже кое-кто подавал голос: правильно! Правильно, мол, сказал Фокин. Нечего все валить на одного. И Зарудный и Филичев протягивали ему руку помощи. Во всяком случае, ни тот, ни другой не долбали его. В общем, хватайся обеими руками за протянутую веревку, вылезай из проруби.

Но что тогда будет с Лукашиным и Худяковым? Они-то уж тогда наверняка пойдут ко дну… Знал не знал, ведал не ведал… Должен был знать!

Подрезов собрал все свои силы, какие у него были, встал.

– Лукашин роздал хлеб с моего разрешения. Я приказал.

Постоял, помолчал немного, вглядываясь в ошеломленный зал, и забил последний гвоздь:

– Про худяковские поля здесь говорили. Знал. Все знал. Иначе какой я, к дьяволу, хозяин района, ежели не знал, что у меня под носом делается?..

4

Ему казалось, что он ни на минуту не сомкнул глаз – такой зуд разыгрался у него в теле на нынешний закат, – но на самом деле он спал. Вокруг было темно. Ни один плакат не светился на стенах, а в соседней комнате за неплотно прикрытыми дверями горела уже лампа.

Он надел на себя нательную рубаху, брюки – все сорвал в беспамятстве, тихонько встал. Босые, все еще разгоряченные зудом ноги с великим блаженством ощутили под собой прохладу заскрипевших половиц.

Софья встретила его у дверец с лампой в руке – она, как всегда, сидела на часах и ждала его пробуждения.

Он подошел к столу, посмотрел на тикающий будильник.

– Ого! Пол-одиннадцатого. – И тут, обернувшись к жене, он второй раз за вечер увидел испуг в ее темных, по-птичьи округленных глазах.

– Я не знала, как и быть. Ты ничего не сказал, будить тебя или нет…

Он сел к столу, запустил руки в свои мягкие, изрядно поредевшие волосы, а она продолжала стоять перед ним, большая, грузная, не сводя с него настороженного взгляда, и это взорвало его:

– Чего стоишь? В денщиках ты у меня, что ли?

– Я думала, на стол подавать…

– Думала! Сядь, говорю. Некуда больше торопиться.

Софья села. Села как-то неуверенно, на край стула, как будто не у себя дома, а в гостях или, еще вернее сказать, на приеме у большого начальства. И он глядел-глядел на ее большие работящие руки, покорно лежавшие на коленях, на ее полуопущенную голову в буйном курчавом волосе с проседью, на ее широкое, вечно залитое, как у молодки, густым румянцем лицо, и вдруг обручем перехватило ему горло.

Боже мой, боже мой! Кто только сегодня не шерстил его, в чем только его не обвиняли! Задавил, согнул, зажал в кулак… А что бы могла сказать о нем вот эта женщина, его жена? Какой счет она могла предъявить ему?

После смерти Елены он дал себе слово: не жениться. И лет пять – ни-ни, ни на одну молодую женщину не посмотрел. Потом – он уже работал инструктором в райкоме – от него уехала в город к своей дочери старушонка, которая вела его хозяйство и ухаживала за детьми, и тут – хочешь не хочешь – пришлось обратиться за помощью к вдове-соседке.

Софья пришла. Все прибрала, все перемыла – ни квартиру, ни детей не узнать. А потом как-то он вернулся из командировки да увидел ее – пол на кухне моет, – большая, сильная, с высоко подоткнутым подолом баба вся в жарком, малиновом цвету, и прахом пошли зароки…

Вот так он и стал жить с женщиной, которая была старше его на семь лет.

Каждый месяц он приносил домой зарплату, выкладывал на стол – распоряжайся как знаешь, корми семью, – иногда, возвращаясь из поездки по колхозам, привозил какие-нибудь продуктишки: мясо, масло, свежие овощи… А еще что? Еще какое внимание оказывал жене? Был ли он хоть раз с женой в клубе – в кино, на торжественном вечере в честь Октября или Первого мая? Служащие райцентра в праздники ходят друг к другу в гости – с женами, с детьми. Он с Софьей вместе – никогда. А чтобы забежать в магазин да купить какой-нибудь подарок или привезти покупку из города – нет, это ему и в голову никогда не приходило.

Да, с усмешкой подумал Подрезов, вот о чем забыл упомянуть в своем кондуите Афиноген Каракин – о жене. "Сколько лет прожили, сколько детей наплодили, а кто она тебе, товарищ Подрезов? Прислуга? Батрачка?"

– Софья… сказал он медленно, не совсем обычным голосом.

Она сразу подняла полуопущенную голову – что делать?

Он взял ее зачем-то за руку, спросил:

– Соня, тебе очень тяжело со мной было?

Она сперва не поняла его. Когда он разговаривал с ней так? Когда называл ласковым словом? А потом, ему показалось, дрожь прошла по всему ее крупному телу. Но ответила она спокойно:

– Чего теперь об этом говорить. Сама знала, какую ношу на себя брала…

Затем она с непривычной для него решительностью вдруг встала и уже сама, не дожидаясь его слова, начала накрывать на стол.

Да, думал Подрезов, лошадей знал. Лес знал. Коровники в колхозах знал. А вот что такое человек, душа человеческая… Э, да что там говорить! Жену свою, с которой прожил чуть ли не двадцать лет, не знал…

Глава седьмая

Последний раз по ночному райцентру, последний раз первым по своей деревянной столице…

Он даже шинель надел специально, которую года два уже не снимал с вешалки.

Шинель он завел сразу после войны. Длинную, чуть ли не до пят, с огромными отворотами на рукавах – единственную в своем роде во всем районе. Такую, какие носили еще в двадцатые годы и какие нет-нет да и мелькнут изредка в кино.

Несерьезно, ребячество это… Понимал, ежели говорить начистоту, чувствовал. Да после тех победных, ликующих маршей, которые с утра до ночи гремели по радио, так кружило голову, такая гордость распирала грудь, что хотелось всем существом своим, делами, даже видом своим утвердить богатырскую мощь родной партии. Тут, на месте, в далекой лесной глуши. Чтобы всяк – и старый, и малый – узнавал тебя за версту…

Ночь, глухая осенняя ночь стояла над райцентром. Ни единого огонька. Даже в недреманном ведомстве Дорохова ни одной светлой щелки, ни одного просвета.

Он любил эти ночные обходы своей районной столицы, любил торжественный гул деревянных мостков под ногами, любил ночную прохладу, которая так приятно освежает разгоряченную работой голову.

А еще любил он, шагая по райцентру, глядеть в южную сторону, туда, где за тысячи верст от Пинеги громадным костром в ночи пылает краснозвездный Кремль и где в одном из кабинетов мягко, бесшумно расхаживает человек, который держит в руках весь мир.

В позапрошлом году, когда он ездил на курорт, он все время мысленно разговаривал с любимым вождем. И вообще, увидеть Сталина было мечтой его жизни. И эта мечта, казалось, не так уж далека была от исполнения. Во всяком случае, Павел Логинович не раз намекал ему, что как только созовут съезд – а его ждали с часу на час, – его, Подрезова, непременно пошлют делегатом.

И вот – все. Ничего больше нет. Все перечеркнуто, все втоптано в грязь: и его жизнь, и его мечта. И он, который за ужином начал было вроде бы отходить, успокаиваться, тут снова разошелся.

За что? За какие такие преступления его гвоздили и поливали грязью? Их, видите ли, Подрезов гнул, ломал, жить им не давал… А себя Подрезов не ломал? Сам Подрезов в раю жил?

Он с ужасом думал о завтрашнем дне, о том, что жизнь района – всех этих леспромхозов, лесопунктов, колхозов, самого райкома – пойдет без него, Подрезова.

А как он встретится завтра с простыми людьми? Что скажет им в свое оправдание? В годы войны ребятишки целыми часами дежурили на дорогах, чтобы посмотреть, какой он, Подрезов, а как теперь? Как теперь посмотрят на него ребятишки?

Выйдя на окраину села, к полевым воротам, он подошел к изгороди, тяжело навалился на нее грудью.

Какое-то время он стоял недвижно, с закрытыми глазами, потом начал рыться в карманах, – может, от курева полегчает? Но папирос, которые он обычно носил с собой, на этот раз не оказалось.

На реке, где-то прямо под горой, за наволоком, звучно выговаривая плицами колес, шлепал, весь в огнях, пароход, а за ним тянулся еще пароход и еще…

Буксиры с грузами. Для Сотюги, для других леспромхозов…

Но не он, не он завтра будет отдавать команды насчет разгрузки, не он сломя голову полетит в Пекашино, чтобы на месте принять необходимые меры. Мимо, мимо него пойдет жизнь с завтрашнего дня. Так же мимо, как идут сейчас по реке вот эти буксиры…

Какие-то непонятные зарницы время от времени вспыхивали в ночном воздухе, какой-то сладкий дымок щекотал ему ноздри.

Что бы это такое? Не от пароходов же этот свет и этот дым?

Он протер ладонью мокрые от слез глаза, глянул в одну сторону, в другую и вдруг прямо перед собой в поле увидел красный мигающий огонек, а вслед за этим огоньком увидел другой, третий…

Да ведь это же ребячьи костры на картофельниках!

Боже, как давно не видал он этих костров! Где же он был все эти годы? Ведь ребята каждую осень, как только начинают копать картошку, зажигают костры. По всем картофельникам. И ни криком, ни руганью, никакой силой невозможно загнать их домой. Все вечера, а то и ночи сидят у огонечков, говоря по-местному, да пекут опалихи, то есть картошку.

Жадно, прямо-таки с наслаждением вдыхая в себя запах этих опалих, каким пропитан был весь воздух ночного поля, Подрезов подошел к костерку, вернее даже, к остаткам костерка, уже покинутого ребятишками, неумело опустился перед ним на корточки и вдруг почувствовал себя маленьким Овдей. И все, все – все обиды, все тяжелые переживания последних дней, ярость, ожесточение, – все отступило в сторону, и он вспомнил свое детство, свою Выру, на которой вот так же когда-то беззаботно сидел у костра.

Двадцать пять лет он не был на Выре. С тех пор, как уехал из дому с Еленой.

А почему не был? Почему каждый раз, когда подвертывался случай, уклонялся от поездки туда? Верно, дыра, глушь медвежья, зимой трое суток надо ехать на лошади… Да ведь ты же оттуда на свет вылетел.

Костерик благодаря его стараниям разгорелся заново. Алый свет мягко красил его склоненное

над огнем успокоенное лицо, сложенные ковшом руки.

Да, да, думал он с облегчением, поеду на Выру, в родовое гнездо. Там с будущего года новый лесопункт открывается – сколько всякой столярной да плотницкой работы будет! Огляжусь, одумаюсь, а там посмотрим… Посмотрим…

И вдруг Подрезов резко выпрямился. А собственно, чего смотреть? Чего он раньше времени хоронит себя! Где решение обкома? Кто сказал, что ему конец? Северьяха Мерзлый, Митрофан Кузовлев, Санников, Фетюков… Да кто их когда принимал всерьез!

Он глубоко, всей грудью вдохнул в себя теплый ночной воздух, в котором все еще держался запах печеной картошки. И этим запахом позабытого детства, с вернувшейся радостью простора и воли начал мало-помалу оживать в нем пошатнувшийся было Подрезовский дух.

Глава восьмая

1

Анфиса Петровна пропадала в районе уже третий день. И третий день, подбегая в этот вечерний час к ее дому, Лиза надеялась увидеть ворота на крыльце без приставки. Больше того, ей даже представлялась такая картина: Иван Дмитриевич в обнимку с Анфисой Петровной встречает ее на крыльце. "Ну, спасибо, спасибо, Лиза, выручила. А меня вот, видишь, освободили…"

Но не спешили что-то с возвращением домой Лукашины. И, как вчера и позавчера, торчал в кольце ворот белый березовый колышек, который она сама втыкала по утрам, так он торчал и сегодня.

Лиза быстренько, за какие-нибудь полчаса, разделалась с Майкой, коровой Лукашиных, половину молока разлила по крынкам, а половину – в алюминиевое ведерко и забрала с собой.

Дома, конечно, стоял рев – с улицы слышно. Ревел Вася, ревел Родька, и сама нянька ревела.

Татьяна не маленькая кобыла – десятый год шел. Разве трудно после школы какой-то час с двумя ребятенками по полу поползать? Бывало, она, Лиза, в ее годы по целым дням за хозяйку оставалась – с оравой, на голодное брюхо, а эту Михаил испотешил – только и знает, что по улице бегать. "Ладно, пущай хоть у одного человека в пряслинской семье нормальное детство будет". Детство-то будет, а будет ли человек – это еще вопрос.

– Ты хоть бы огонь зажгла, – сердито сказала Лиза сестре. – Вот бы они и не ревели. А то в темноте-то и старик заплачет.

– Зажигала. Карасина в лампе нету.

– Карасин-то в сенях, за дверями. Отсохнут у тебя руки, ежели нальешь.

Засветив лучину, Лиза заправила в сенях лампу, а когда вернулась в избу, и след Татьянин простыл. Как, когда успела улизнуть? Через окошко? Так оно и есть. Через окошко. Крючок не в пробое – как овечий хвостик, болтается.

Ну и девка, ну и девка бессовестная, подивилась Лиза. Чего только из нее будет?

Ребята – Вася и Родька – с отчаянным воплем грабастались за ее подол.

– Сейчас, сейчас! Никуда не денусь.

Она торопливо сполоснула руки под рукомойником, села на прилавок к печи.

В протянутые руки первым ткнулся Васька, но она взяла на руки не его Родьку.

Вася с размаху хлопнулся на пол, замолотил ножонками.

– Ну еще! Бесстыдник. У тебя-то отец дома, а у него где?

Сразу затихший Родька с жадностью – и зубами, и ручонками – вонзился в ее грудь, а она устало, из-под опущенных век смотрела на бушующего у своих ног сына и невесело думала: а где же наш-то отец?

2

На другой день утром, после того как она всю ночь промучилась без сна в ожидании своего сбежавшего из дому мужа, Лиза сказала себе: хватит. Сколько еще ему надо мной измываться? Жить – так жить по-хорошему, по-честному, а смешить людей я и одна могу.

Но вот явился вскорости домой Егорша – тише воды ниже травы – да начал-начал мелким бесом вокруг нее виться (за водой к колодцу сбегал, дров из сарая принес, растопки нащепал), и сердце не камень – оттаяло. Не могла она оставлять Васю безотцовщиной! Будет – помытарили вдоволь они, Пряслины.

Но только ли из-за сына она сменила гнев на милость?

Она любила своего беспутного Егоршу. Правда, в первые дни их брачной жизни она без ужаса подумать не могла о надвигающейся ночи – что же, она ведь зеленой девчушкой переступила Егоршин порог.

Почувствовала себя Лиза женщиной после того, как родила сына. По ночам ей снился Егорша, во сне она обнимала, ласкала его, шептала такие слова, от которых назавтра саму в жар бросало. Ну, а когда дождалась Егоршу, страсть с головой накрыла ее.

Егорше было забавно, Егорша похохатывал:

– Ну и ну! На горячем месте сварганили тебя папа и мама.

И она презирала, ненавидела себя – ведь понимала же: не утехам, не радостям надо предаваться, когда по дому еще покойник ходит, а все равно, где бы ни была, что бы ни делала, на уме было одно – Егорша.

Вот бог-то меня, может, и наказывает за это, в который раз сегодня подумала Лиза и взяла на руки совсем наревевшегося сына (Родька, накормленный, уже посапывал на кровати).

– Ну чего орать-то? Чего? – начала она вразумлять сына. – Разве я тебя не люблю? Да всех пуще люблю. Только ведь нельзя обижать Родьку. Он и так обижен. Не привыкай, не привыкай, как отец, все загребать себе. Оставь чего и людям.

Где он сейчас шатается? Утром собирался в район ехать – пора бы уж к месту приставать. Сколько можно баклуши бить?

А может, опять где веселится? Поминали на днях – в верхнем конце видели. Неужто опять к

Нюрке Яковлевой, своей старой любушке, тропу заторил? У той, бесстыжей, сроду ворота настежь для всех отворены…

Скрипнули воротца за избой – Лиза вся так и встрепенулась: Егорша!

Нет, не Егорша, а брат. Егорша прошмыгнет под окошками – и не услышишь: всегда крадучись, всегда потайком. А Михаил идет – за версту слышно. Будто с землей разговаривает.

– Где тот?

– Откуда я знаю? – Лизу зло взяло: в кои-то поры зашел к сестре и хоть бы спросил: как поживаешь, сестра?

– Жене, между прочим, полезно знать, где муж, – с назидательностью сказал Михаил. – Есть у тебя четвертак?

– Деньги?

– А что? Не туда адресовался?

– Да хватит тебе выколупывать-то. У меня свой словечушко в простоте не скажет. Чего хочешь с четвертаком-то делать? Не на бутылку?

– Не твое дело.

Лиза уложила на кровать рядом со спящим Родькой сморенного к этому времени едой и плачем сына, сходила в чулан.

– На, сказала она, подавая двадцать пять рублей брату (тот с какой-то удивившей ее мрачностью стоял у кровати и вглядывался в пухлое румяное личико разогревшегося во сне Родьки). – Только теперь тебе и пить.

– А чего?

– Чего, чего… Человек ни за что ни про что посажен, а они – на-ко, мужики еще называются – на коровник залезли да знай хлопают весь день топорами…

Лиза была вне себя от обиды на односельчан. Раньше: "Нам уж с этим председателем пива не сварить. Чуж-чужанин". А теперь, когда председателя забрали, другую песню завели: "Нет, нет, такого председателя нам больше не видать. Сами человека упекли, сами до тюрьмы довели. Ох, ох, мы дураки, дерево некоренное"…

– Да еще дураки-то какие! – сердито сказала вслух Лиза.

– Чего ты опять?

– Ничего. Все стараются, из кожи лезут. Вы на коровнике, бабы на поле. А раньше-то где были? Раньше надо было свое усердие показывать, а не сейчас.

– А чего, чего мы должны делать?

– Да уж всяко, думаю, не топорами с утра до ночи размахивать. С начальством бы поговорили, объяснили все как надо…

– Заткнись! – заорал Михаил. – У меня сегодня с этим начальством и так был разговор.

– С кем?

– С Ганичевым. Вызвал середка дни, прямо с коровника. Есть, говорит, предложение, Пряслин, написать письмо в районную газету... Так и так, дескать, осуждаем своего бывшего председателя...

– Ивана Дмитриевича? – страшно удивилась Лиза. – Да что он, с ума сошел. Железные Зубы? Неужто Пряслины – уж и хуже их нету? Еще-то кого вызывали?

– Не знаю... Петр Житов, кажись, ходил. – Это Михаил сказал уже в дверях.

3

Развалюха Марины-стрелехи служила своего рода забегаловкой для пекашинских мужиков. От магазина близко, старуха – кремень, не надо бояться, что до твоей бабы дойдет, и – худо-бедно – завсегда какая-нибудь закусь: то соленый гриб, то капуста. Потому-то Михаил, выйдя из магазина, и направился по накатанной лыжне.

Марина рубила в шайке капусту у переднего окошка, где было посветлее, но, увидев его, в три погибели согнувшегося под низкими полатями, сразу без всяких разговоров встала, принесла с надворья соленых, достала из старинного шкафчика граненый стакан.

– А себе? – буркнул Михаил, присаживаясь к дряхлому, перекошенному столу с белой щелястой столешней, в правом углу которой было вырезано три буквы, обведенных рамочкой: С. Н. И., Семьин Николай Иванович. Покойник при нем, при Михаиле, оставил эту памятку о себе в сорок втором в это же самое время, когда уходил на войну.

– Нет, нет, родимо мое, не буду, воздержанье сделаю, сказала старуха.

– Что так? В староверки записалась? – Михаил слышал от кого-то, что Марину будто бы недавно крестила Марфа Репишная. Да как! Прямо в Пинеге на утренней заре.

– Записалась не записалась, а все больше, родимо, натешила дьявола.

– Ну как хошь, сказал Михаил. – Не заплачу.

– Про постояльца-то моего чего слыхал, нет?

Михаил нахмурил брови: про какого еще постояльца? И вдруг вспомнил: так старуха зовет Лукашина, который в войну действительно сколько-то квартировал у нее.

Пробка от бутылки стеганула по стеклянной дверке шкафика – вот так он всадил свою ладонь в дно бутылки. А кой черт! За этим он сюда пришел? Затем, чтобы про постояльца выслушивать? Да он, дьявол ее задери, и так все эти дни как ошалелый ходит. Куда ни зайдет, с кем ни заговорит – Лукашин, Лукашин... Что Лукашину будет? Как будто Лукашина из-за него, Михаила, посадили. А Чугаретти, к примеру, тот так и думает. Вчера встретился у церкви пьяный: "Ну, Мишка, заварил же ты кашу!" – "Как я?" – "А кто же?" Оказывается, не надо было ему, Михаилу, шум из-за зерна поднимать, тогда бы все шито-крыто было. Вот так: тебе в поддыхало, да ты же и виноват.

Стакан водки, выпитый одним духом натощак после работы, весенним половодьем зашумел у

него в крови, и вскоре Михаилу уже самому захотелось говорить.

– Марина, а ты знаешь, что мне сегодня один человек предлагал? – сказал он старухе, которая к тому времени опять начала потихоньку тюкать сечкой капусту. – Ох-хо! Чтобы я, значит, вот этой самой рукой приговор Лукашину подписал.

У старухи при этих словах подбородок с темной бородавкой отвалился – хоть на дрогах въезжай в рот.

Но Михаила это только подхлестнуло.

– Да! Так и сказал! А я ему, знаешь, что на это? На, выкуси! – И тут Михаил выбросил в сторону старухи свой огромный смуглый кулак. – Да ты знаешь, говорю, чем для меня был этот бывший председатель? В сорок втором, говорю, кто меня в комсомол принимал, а? Ты? Да этот бывший председатель, говорю, ежели хочешь знать, второй мне отец. Понял?

– Так, так, родимо, – кивала старуха.

– А чего? – забирал все выше и выше Михаил. – Он меня и теперь еще иной раз крестником зовет. А, говорю, ты видал таких председателей, которые сами зимой в месячник к пню встают? Чтобы кузня в колхозе не потухла, чтобы Илья Нетесов мог дома жить. Видал, говорю, нет?

– Так, так, родимо.

– А насчет, говорю, этого самого хлеба, дак ты помалкивай. Куда, говорю, он девал хлеб-то? Себе взял? Нет, говорю, мужикам выдал. Чтобы скотный двор побыстрее строили. Он, говорю, за колхозную скотину страдает. Дак какое, говорю, ты имеешь право мне об твоем поганом письме говорить? Подпиши... Да я, говорю, скорее сдохну, чем подпишу. Ты что, говорю. Мишку Пряслина не знаешь, а?

Марина давно уже плакала, громко ширкая носом, и у Михаила тоже слезы подкатывали к горлу – до того было жалко Лукашина.

Он налил еще в стакан, выпил, потом закрючил двумя пальцами попригляднее сыроегу и посмотрел на свет – у старухи живо червяка слопаешь.

Вдруг неожиданная, прямо-таки сногсшибательная идея пришла ему в голову: а что, ежели…

– Марина, у тебя найдется листок бумаги?

– Зачем тебе?

– Надо. Давай быстрее.

На него просто накатило – в один присест настрочил, не отрывая карандаша от бумаги. – Ну-ко послушай, сказал старухе.

Заявление

В связи с данным текущим моментом, а также имея настроения колхозных масс, мы, колхозники "Новая жизнь", считаем, что т. Лукашин посажен неправильно.

Всяк знает, как председатели выворачиваются в части хлеба, чтобы люди в колхозе работали, а

почему отвечает он один?

Кроме того, данный т. Лукашин по части руководства в колхозе имеет авторитет, а в войну не только насмерть бил фашистов, но, будучи ранен, конкретно подавал патриотический пример в тылу на наших глазах.

В части же хлеба категорически заявляем, что все поставки колхоз "Новая жизнь" выполнит в срок и с гаком, и никогда в хвосте плестись не будем.

К сему колхозники "Новая жизнь".

– Ну как? Подходяще? Ничего бумаженция? – спросил у старухи Михаил и самодовольно улыбнулся: ничего. Забористо получилось. Можем, оказывается, не только топором махать.

Он четко, с сердитой закорюкой в конце расписался, затем подвинул заявление и карандаш старухе.

– Давай рисуй тоже.

Но Марина подписывать заявление наотрез отказалась.

– Чего так? – удивился Михаил. – Сама только что слезы насчет постояльца проливала…

– Нет, нет, родимо, не буду. Не мое это дело.

– Пошто не твое?

– Не мое, не мое. В колхозе не роблю – чего людей смешить. Ты хороших-то людей подпиши, пущай они слово скажут, а я – что? Кому я нужна?

– Ну как хошь, сказал Михаил. – Не приневоливаю. Найдется охотников – не маленькая у нас деревня.

Глава девятая

1

Темень. Морось. И – гром.

Не небесный, домашний: чуть ли не в каждом доме крутят – дождались новины на своих участках!

Михаил любил эту вечернюю музыку своей деревни, любил теплый и сладкий душек размолотого зерна, которым встречает тебя каждое крыльцо.

Но чтобы попасть в этот час в чужой дом… Мозоли набьешь на руках, пока достучишься!

Он начал сбор подписей со своей бригады – ближе люди.

К первой ввалился к Парасковье Пятнице, прозванной так за отменное благочестие и набожность.

– Председатель у нас, Парасковья, ничего, верно? – заговорил Михаил с ходу.

– Кто? Иван-то Митриевич? Хороший, хороший председатель, дай ему Бог здоровья.

– Надо выручать из беды мужика? Согласна?

– Надо, надо, Мишенька.

– Тогда подпишись вот здесь.

– Да я подписаться-то, золотце, сам знаешь, не варзаю.

– Это ничего. Валяй крест. Крест тоже сойдет.

Нет, и крест не поставила.

Полчаса, наверно, вдалбливал в темную башку, зачем надо подписывать письмо, зачитывал вслух, стыдил, ругал – не смог навязать карандаш.

Точно так же не солоно хлебавши ушел он от Василисы. Эта, видите ли, бумагу не хочет портить своими крюками. Пущай, дескать, грамотные люди такие дела делают, а я весь век с топором да с граблями – чего понимаю?

– Не приневоливай, не приневоливай, Михайло Иваныч, я и так богом обижена – всю жизнь одна маюсь… – И все в таком духе до самых ворот.

Но старухи – дьявол с ними. На то они и старухи, чтобы палки в колеса ставить. А как вам нравятся Игнаша Баев да Чугаретти?

Игнаша зубы скалить да людей подковыривать, особенно тех, которые не могут дать сдачи, первый, а туту едва Михаил заговорил про письмо, начал башкой вертеть – мух осенних на потолке пересчитывать.

– В чем дело? – поставил вопрос ребром Михаил. – Бумага не нравится? Давай конкретные предложения. Учтем.

Да, так и сказал. Официально, прямо, как на собрании. Потому как чего агитировать – и так все ясно.

Игнаша раза два перечитал бумагу, так повернул листок, эдак – за что бы уцепиться?

Наконец нашел лаз – Михаил по ухмылке понял. Все время сидел губа за губу, а тут сразу ящерицы вокруг рта заюркали – так ухмыляется.

– А кто это бумагу-то писал? Не ты?

– Допустим, сказал Михаил.

– Ну тогда извини-подвинься… Эдак каждый выпьет да пойдет по деревне бумаги читать…

– Кто выпил? Я?

– Да уж не я же…

В общем, поговорили, обменялись мнениями. Михаил выложил все, что он думает об Игнаше и ему подобных.

Ну, а про то, как он у Чугаретти был, про это надо в «Крокодиле» рассказывать.

Полицка Бархатный Голосок, жена Чугаретти, как злая собачонка, набросилась на него, едва он раскрыл рот. Нет, нет! Не выдумывай лучше. Да я такое вам письмо, дьяволам, покажу, что волком у меня взвоете…

Ну а Чугаретти? Что делал в это время Чугаретти, который все эти дни, пьяный вдребезину, шлепал по деревне и каждому встречному-поперечному плакался: "Все. Последний нонешний денечек, как говорится… Раз уж хозяина заарканили, то и Чугаретти каюк. Потому как с сорок седьмого вместях на одной подушке…"

Чугаретти в это время сидел за столом и молча обливался слезами: Полицки своей он боялся больше всех на свете.

Наконец одну подпись он раздобыл – Александра Баева подписалась.

– Хорошо, хорошо придумал. Под лежач камень вода не бежит – не теперь сказано. Мы не поможем своему председателю – кто поможет?

Ободренный этими словами, Михаил толкнулся и к соседям Яковлевым: авось Нюрка не в расходе.

Нюрка была дома и страшно обрадовалась, когда увидела его в дверях.

– Заходи, заходи.

Старики были еще на ногах, старшая – золотушная – девочка, учившая уроки за столом, хмуро, недружелюбно посмотрела на него. Но Нюрка и не думала обращать на дочь внимание. У нее просто: огонь задула – и на кровать, а как там отец, мать, дети – плевать.

Михаил как-то раз закатился было к ней по пьянке и назавтра, когда встал, взглянуть от стыда на стариков и детей не мог, а самой Нюрке хоть бы что песню на всю избу запела.

– Заходи, заходи, – приветливо, играя белозубым ртом, встретила его Нюрка, цыкнула на девочку – марш спать.

Михаил, так и не сказав ни слова, выскочил из избы.

На улице разгулялся ветер – холодный, яростный, с подвывом, не иначе как зима свои силы пробует, и он, чтобы прикурить, вынужден был даже прислониться к стене старого нежилого дома.

Махорка в цигарке загорелась с треском. Крупные красные искры полетели в разные стороны, когда он шагнул против ветра.

У Лобановых в низкой боковой избе еще мигала коптилка, но не приведи Бог заходить к ним поздно вечером: изба от порога до окошек выстлана телами спящих. Как гумно снопами. Три семьи под одной крышей.

К Дунярке тоже, по существу, незачем было заходить – какое ей дело до Лукашина, до всех ихних забот и хлопот? Горожаха. Отрезанный ломоть.

И все-таки он пошагал. Не устоял. Потому что больно уж ярко и зазывно полыхали окошки с белыми занавесками.

Сердце у него загрохотало как водопад. Что такое? Неужели все оттого, что к дому Варвары подходит? Сколько еще это будет продолжаться?

В доме смеялись – Дунярка была не одна, и Михаил, сразу осмелев, резко толкнул воротца.

Егорша… В самом своем натуральном виде – у стола, на хозяйском месте, там, где когда-то сиживал он, Михаил.

В общем, положение – хуже некуда. Как говорится, ни туды и ни сюды.

– Извиняюсь, тут, кажись, третий не требуется. Черта с два смутишь Егоршу! Завсегда ответ припасен:

– Да, не припомню, чтобы мы особенно шибко горевали о тебе.

Но тут, спасибо, врезала Егорше Дунярка:

– Не командовать, не командовать у меня. Я здесь хозяйка. Сходи лучше раздобудь бутылку. – Она кивнула на пустую поллитровку на столе. – Нету у тебя счастья. Мы с анекдотами-то, видишь, что сделали. До донышка добрались.

– Не, – мотнул головой Михаил, – не надо. Я так, на смех забежал. Больно весело живете.

– А чего нам не жить? Почему не вспомнить счастливое детство? – Дунярка громко захохотала. – Он, знаешь, на что меня подбивает? На измену. Третий раз уж с бутылкой приходит. А сейчас почему нейдет за вином? Боится, как бы мы тут не столковались без него…

– Но, но, секретов не выдавать!

– А иди-ко ты со своими секретами! Вот я сейчас один секрет покажу, дак это секрет!

Дунярка встала, пьяно качнулась и пошла за перегородку – высокая, красивая, как-то по-особенному, не по-деревенски поигрывая бедрами.

– Ну, закройте глаза! Живо! – крикнула она из-за перегородки.

Михаил и Егорша переглянулись с усмешкой, но подчинились.

Дуняркиным секретом оказалась непочатая бутылка водки, она поставила ее на стол – как печатью хлопнула.

Но главное-то, конечно, было не в бутылке, а в тех словах, которые сказала она при этом:

– Догадываешься, нет, что это за винцо, а?

Егорша вспыхнул, вскочил на ноги:

– Раз у вас такие секреты, то я, как говорится, делаю разворот на сто восемьдесят градусов.

А и делай! – хотелось крикнуть Михаилу. Какого дьявола не утереть нос этому прохвосту! А кроме того, зачем обманывать себя? Ему нравилась Дунярка. Такие уж, видно, эти иняхинские бабы – и тетка, и племянница до костей прожигают. Эх, кабы тот же жар да от Раечки шел!

Михаил, однако, опередил Егоршу – первый выбежал из избы. Нельзя! Не время сейчас

распускаться. Кто за него будет собирать подписи?

Он уже подходил к дому Марфы Репишной, когда его догнал Егорша.

– Слушай! Ты ничего не видел, ты ничего не слышал. Это для некоторых, ежели речь зайдет. У нас старшина Жупайло так, бывало, насчет энтих дел говорил: "Самый большой грех на свете – выдавать мужскую тайну". Понял?

Михаил свернул в заулок.

2

На Марфино крыльцо он уже поднимался раз сегодня – когда шел вперед, – но Марфы тогда дома не было. А сейчас она была дома – в избе стучал топор.

Плотницкий талант у Марфы прорезался к шестидесяти годам, после того как выслали Евсея. Бабы тогда и в Пекашине и в соседних деревнях просто вой подняли: жалко старика. А потом – кто же их теперь будет выручать деревянной посудой? Ведь в хозяйстве и ушат надо, и шайку, и санки за водой к колодцу сходить – да мало ли чего!

И вот напрасно, оказывается, разорялись из-за посуды: Марфа стала посуду колотить. Никогда в жизни ни одной доски не отесала, ни одного обруча не набила, а тут взяла топор в руки и почала шлепать. Да не только там ушаты, шайки, а и сани для колхоза. Правда, изделья Марфины не очень были складные, да зато крепкие, долговечные. Как сама она.

Заменила Марфа и еще в одном деле Евсея – в духовном.

Жуть что она вытворяла со своими старухами. На Слуде, рассказывают, одна староверка напилась в праздник допьяна и уснула на улице – так что сделала Марфа? Отвела старуху в кустарник за деревней, сняла с нее сарафан, рубаху, привязала к дереву: исправляйся! И старуха, голая, весь день выстояла под палящим солнцем, на оводах, так что к вечеру едва богу душу не отдала.

Дрожали перед Марфой и бабы, которые подходили к пятидесяти, – их она силой загоняла в свою веру. И непременно крестила: летом в реке на восходе, а зимой в кадке, в нетопленой избе.

Местные власти, конечно, пытались образумить осатаневшую старуху. Но с Марфой разве сговоришь? Что сделаешь с первой стахановкой района, которая всю войну не сходила с районной доски Почета? А кроме того, нельзя было не принять во внимание и то, что она вязала сани. Крепко выручала колхоз.

– Здорово, соседка, сказал Михаил, прикрывая за собой тугую, шаркающую дверь. – Труд в пользу. Или, как у вас говорят: Бог на помочь.

– Как скажешь, так и ладно. Богу не слова нужны – помысел.

Марфа не Евсей. Это тот, бывало, когда ни зайдешь, ласковым словом встретит да сразу же работу бросит – любил поговорить, все ему любопытно да интересно, а Марфа даже и не встала. Сидела посреди избы на чураке, большущая, черная, как медведица, и хлопала обухом – обруч еловый на ушат наколачивала.

Свет был двойной – сверху, с грядки, от лампешки без стекла, и сзади, со спины, от красной

лампадки перед божницей.

– Чего огонь-то из угла поближе не перенесешь? Лучше будет видно, полушутя-полусерьезно посоветовал Михаил.

Марфа не словами ответила – топором. Так тяпнула по обручу, что другой раз подумаешь, прежде чем что-либо сказать.

Михаил присел на прилавок к теплой печи, с которой пахло нагретой лучиной, глянул на знакомый кумачовый крест на белом квадрате холста, висевшем на передней стене, на тяжеленные черные книги с дощатыми обложками, обтянутые телячьей кожей, – они, как ящики, были сложены в переднем углу на лавке, – на медные иконы в красных бликах.

– От Евсея слышно чего?

– Печи кладет людям.

– Какие печи? Ты поминала, на огороде работает.

– Печи разные бывают. Кирпичные и духовные.

– Понятно. Значит, и там свое дело не забывает. А я к тебе тоже, можно сказать, по духовному делу. Насчет Лукашина, знаешь, какое положенье? Надо выручать мужика? Помнишь, как он в войну нам помогал?

Марфа кивнула.

– Я вот тут письмишко одно написал. – Михаил достал из кармана листок с заявлением. – Подписать надо. Когда там, наверху, увидят: народ требует знаешь, как на это дело посмотрят…

– Не подпишусь, сказала Марфа и опять застучала топором.

– Это почему же?

– В дела мирские не мешаюсь.

– Как это не мешаюсь? По вере по твоей. Бог-то помогать велит ближнему. Так?

– Нет, нет, не подпишусь.

– Да почему? – начал уже горячиться Михаил.

– А потому. Не бумагой – молитвой мы помогаем.

– Молись! Кто тебе запрещает. А раз тебя просят по-человечески, делай. Не подпишусь… Ты не подпишешься, да я не подпишусь, да он не подпишется, а кто же подпишется? Человек ведь, черт вас подери, пропадает!

Тут Марфа так на него посмотрела – в обморок впору упасть: страсть это при ней чертыхнуться и лешакнуться! Грех великий. Но Михаила уже ничем нельзя было остановить. Слова из него полетели, как картошка из мешка, опрокинутого в погреб. А чего, в самом деле! Тяжело ей три буквы поставить? Да и вообще – не будь она у старух за командующего, разве зашел бы он к ней? На кой она ему сдалась? Неужели он не понимает, как там, в райкоме, посмотрят на эти

три буквы? Ага, скажут, хорошенькая защита у Лукашина – пекашинский поп!

Нет, он зашел к Марфе только потому, что за нее старухи держатся. Всех старушонок в кулак зажала, и он был уверен, что подпишись Марфа под письмом подпишутся и старухи. Вот для чего нужна была ему Марфина подпись.

Он ругал, пушил, лопатил Марфу – не мог своротить. И, эх, если бы дело тут было в страхе! А то ведь он знал: Марфа сроду ничего и никого на свете не боится.

А вот нашлась, нашлась, оказывается, такая сила, которая взнуздала ее.

3

Быстро отмигал избяными огоньками вечер. Пала ночь – то есть ни одного светлого окошка. Кромешная темнота.

Но на темноту, в конце концов, наплевать – он не в чужой деревне, любой дом на ощупь найдет. Хуже было другое. То, что какой-то гад пустил впереди его слух: Мишка, дескать, пьяный ходит. Не пущайте!

И вот так: стучишь, барабанишь в ворота, а тебе из сеней отвечают: нет, нет, Михаил, не открою. Утром приходи, тверезой.

Но плохо же вы, черт вас побери, знаете своего Михаила! Иван Дмитриевич из-за вас, сволочи, в тюряге сидит, а вам и горя мало. Вы – храп на всю ночь? Открывайте! Сию минуту открывайте, а не то я все ворота разнесу!

Открывали, извивались ужом. И – не подписывались.

К Петру Житову Михаил ни за что не хотел заходить: предатель! За десять килограмм ячменя продал его, своего товарища и друга. Какие после этого могут быть с ним дела!

Но у Петра Житова на кухне был свет. Единственный на всю деревню. А кроме того, кляни не кляни Петра Житова, а без него в Пекашине ни шагу. Он, Петр Житов, верховодит пекашинскими мужиками. Как Марфа Репишная – старухами.

Петр Житов был один. В руке карандаш, на столе – серая оберточная бумага. И полнейшая трезвость (у пьяного заревом рожа).

Его приходу не удивился. Неторопливо, деловито снял очки, ткнул толстым пальцем в бумагу:

– Кумекаю насчет поилок. Помнишь, Лукашин все хотел, чтобы у нас на новом коровнике автопоилки были?

Михаил зло хмыкнул: раньше надо было над автопоилками кумекать. А сейчас кого удивишь? Сейчас все, как говорит сестра, из кожи лезут, чтобы показать, какие они хорошие.

В общем, он достал письмо, положил на стол поверх серого листа с автопоилками: подписывайся.

Петр Житов снова надел очки, прочитал.

– Я думал, ты поумнее, Мишка.

– Насчет моего ума после поговорим. А сейчас – подпись ставь!

– Подпись поставить нетрудно. Все дело – зачем.

– А то уж не твоя забота. Без тебя разберемся – зачем.

– Эх, мальчик, мальчик! – сокрушенно вздохнул Петр Житов. – Мало тебя жизнь долбала, вот что. На самом деле он выразился куда более энергично и популярно. – Ты подумал, что из этого письма будет?

– Я-то подумал, а вот ты, вижу, в штаны наклал. А еще: я, я… Со смертью обнимался…

– Не трогай войну, Пряслин, – тихо, почти шепотом заговорил Петр Житов. Так лучше будет. – Он шумно выдохнул. – А теперь сказать, почему твое письмо ерундистика?

– Давай попробуй.

– Во-первых, коллективка. Пришпандорят так, что костей не соберешь.

– Коллективка? Это еще что такое?

– Письмо твое – коллективка. Кабы ты один его, понимаешь, написал да отправил – ладно, слова не скажу, резвись, мальчик, а когда ты по всей деревне бегаешь да подписи собираешь…

– Так что же, по-твоему, и письма нельзя написать? Ну-ну! – Михаил громко расхохотался. – Давай, давай! Еще чего скажешь?

– Еще скажу, что ты болван. За это письмо, знаешь, под какую статью можно подвести? Под антисоветскую агитацию.

– Мое письмо под антисоветскую агитацию? Да куда я его пишу? Черчиллю, Трумэну? Брось! Скажи уж лучше прямо: струсил. За шкуру свою дрожишь.

Тут за стеной, в передней избе, поднялся страшный грохот. Словно там потолок обрушился. Это, конечно, разбуженная ими Олена. Не иначе как поленом сгоряча хватила: дескать, уймитесь, дьяволы! Сколько еще будете орать?

Петр Житов не вояка со своей женушкой, тем более когда трезвый, это всем известно, но что касается других – убьет словом. Наповал и сразу. А тут, как рыба, выброшенная на берег, захватал ртом воздух – в цель, в десятку самую попал Михаил.

Наконец справился с собой.

– В следующий раз воздержись в части характеристик, Пряслин. И запомни: Петр Житов никого не боится. Ясно? А ежели я твое письмо не одобряю, то только тебя жалеючи, дурака. В сорок втором нам выдали летние перчатки вместо зимних. А надо на фронт ехать, в снегу воевать. Ну, я и скажи ребятам во взводе: давай напишем начальству. Написали. Да меня за это письмо едва под трибунал не упекли. Больше недели таскали. Вот что такое эта самая коллективка. Понял? Теперь насчет Лукашина. Ежели непременно хочется в петлю голову сунуть, пес с тобой – суй. А зачем Лукашину на шею новый камень?

– Чего-чего?

– А вот то. Как, скажут, ты воспитал своих колхозников? Письма подрывающие писать?.. В

сорок третьем, когда мы стояли…

Михаил сгреб со стола письмо и вылетел вон.

Петр Житов совершенно запутал его, все поставил в нем с ног на голову. До сих пор для него было законом: надо выручать человека, попавшего в беду. А послушать Петра Житова, так ничего этого нельзя делать. Сиди в своей норе и не рыпайся. Потому что как ты ни бейся – все ерунда. Ничем не поможешь Лукашину. Наоборот, даже хуже сделаешь.

Нет, такие советы Михаил принять не мог, и он решил прочесать деревню до конца.

Прочесал.

Результат все тот же – ни единой новой подписи.

В темноте на ощупь он добрался до взвоза Ставровых – к Федору Капитоновичу не пошел, и так все ясно, – сел на отсыревшие за ночь бревна, закурил.

Сиверко разбушевался – кепку рвало с головы. А уж телеграфные столбы стоном стонали.

Ну и дьявол с ними. Пускай стонут. Пускай летит все в тартарары. И дома, и столбы телеграфные, и сами люди. Сука народ. Самые что ни на есть самоеды. Мужик для них старался-старался, а в яму попал – кто пальцем ударил? Храпят, слюнявят от удовольствия подушки. И Райка, его невеста, тоже не лучше других…

Михаил с усмешкой посмотрел в темноту, туда, где стоял дом Федора Капитоновича, и вдруг отчетливо, как на картине, представил себе полнотелую, разогретую сном Раечку, блаженствующую в своих пуховиках. Он яростно вскипел.

Э-э, да кто сказал, что она его невеста? Хватит быть остолопом! Нравится тебе Дунярка? Тянет тебя к ней? Ну и на здоровье! Топай. А все эти твои переживаньица насчет Варвары, Раечки – муть собачья. Один раз живем!

Вон Егоршу взять. От молодой жены бегает – и ничего. А ты как старуха старая: разве можно сегодня с теткой, а завтра с племянницей? Можно! В Заозерье Паша Фофанов и дочке брюхо навертел и маму не обидел – тоже вширь пошла. А ты как самый последний дурак. Свататься побежал. Чтобы дорогу к Дунярке отрезать…

Нет, все. С этим покончено. Был один запоздалый идиот в Пекашине, а сегодня и он кончился. Спасибо вам, землячки дорогие! Выручили. Просветили.

Михаил решительно встал.

И, однако же, не в верхний конец пошагал, а сперва к изгороди возле ставровского хлева. Что там такое отсвечивает – вроде как сполох в темноте играет? Все время, пока сидел на взвозе, косился глазом в ту сторону и не мог понять.

Загадка оказалась совсем простой: у Ставровых в избе был свет – от их окошек отблески. Они не спят, полуночничают.

4

Минуты не раздумывал Михаил, идти или не идти к Ставровым: что-то нехорошо у них в доме, раз ночью огонь палят.

Воротца, чтобы не скрипнули, приподнял, затем на носках, пригибаясь к земле, вошел в ярко освещенный заулок. Остановился, прислушался. В избе крик. И вроде Лизка плачет.

Он юркнул к простенку сбоку, поверх белой занавески заглянул в окошко.

Так оно и есть: Лизка, как елушка в дождливый день, вся в слезах, а кто ей трепку задает, не надо спрашивать. Дорогой муженек – не иначе как, сукин сын, только что с б……а явился, даже фуражки еще не снял.

Больше Михаил не таился. На всю подошву ступил на землю, на крыльце протопал сапогами, кольцо в воротах повернул – едва не выломал.

В окошке резко раздвинулась занавеска – показалось Егоршино лицо, злое, колючее, – затем так же резко задернулась.

Раздался новый крик в избе, новая ругань, потом наконец заскрипели двери, и в сени вышла Лиза – Михаил по ширканью носа узнал сестру.

Однако когда они вошли в избу, Лиза уже не плакала. Глаза красные, губы распухли, но не плакала. Не хотела, из гордости не хотела показывать брату свое горе.

Егорша – он стоял посреди избы руки в брюки, фуражка на глаза – словно из автомата прострочил в него:

– У меня не постоялый двор, чтобы ломиться середка ночи. Можно, думаю, и до утра подождать.

– Извини, я думал, мы еще без докладов.

– А ты не думай!

– Да что ты, господи! – всплеснула руками Лиза. – Неуж брату родному спрашивать, когда к сестре приходить? – Что бы тебе сказал татя, кабы услышал это?

– Не услышит, поскольку мертвая природа и протчее… А потом, вы этому тате еще при жизни уши запечатали. Сволочи! – вдруг взвизгнул Егорша. – Родной внук в армии, священные рубежи… а вы дом у него вздумали оттяпать…

Михаил сделал шаг.

Но надо знать Егоршу! Закривлялся, заприплясывал, – дескать, пьяный в дымину, ничего не соображаю, ни за что не отвечаю, а потом и вовсе начал валять ваньку: в пляс пустился.
Царапала, царапала,
Царапала, драла,
У самого Саратова
Я милому…

– Больно, больно баско, – сказала Лиза. – Может, еще сына разбудить? Пущай посмотрит, что отец пьяный вытворяет…

– А что! – петухом вскинул голову Егорша. – Буди. Чем плох у него отец?

Он новый номер выкинул – парадным шагом пропечатал к дверям.

– Порядочек! Ладнехонько идем. Пить выпивам, линию знам и в милицию не попадам…

– Ничего, попадешь. Так будешь делать, выведут на чисту воду. – Лиза все-таки не выдержала, всхлипнула. – Это ведь из-за чего у нас ночное собранье, – кивнула она брату. – Только что за порог родной перевалил.

– Ревность – родимое пятно и всякая тьма капитализма… – изрек Егорша.

– А по-моему, и при социализме за это по головке не гладят. Что-то я не читал в газетах, чтобы призывали: бегай от своей жены…

– А я в указчиках не нуждаюсь. Понятно? – отрезал Егорша…

– А я говорю, не надувайся – лопнешь.

– По етому вопросу советую вспомнить кое-какие события у колхозного склада.

– Ты!..Ты мне про склад? – Михаил озверел, двинулся на Егоршу, и тому, конечно, никакой бы бокс сейчас не помог, да спасибо Лизке – она привела его в чувство.

– Что вы, что вы, дьяволы! Образумьтесь! Уж двух слов сказать не можете, чтобы не на кулаки…

Егорша, как лезвием, резал его своими синими щелками из-под светлого лакированного козырька военной фуражки с красной звездой, и Михаил подивился столько ненависти было в этих щелках. Из-за чего? Кажется, он в последние дни не давал ни малейшего повода. Даже наоборот: после той идиотской потасовки у склада сам первый пришел к Ставровым. С бутылкой. Потому что черт его знает, этого прохиндея: начнет еще на сестре отыгрываться. И вот ничего не помогло. Егорша как на заклятого врага смотрит на него.

А может, это из-за Дунярки? – вдруг пришло ему в голову. Из-за того, что та дала ему от ворот поворот? Да еще при нем, при Михаиле. Егорша такой: не пожалеет, кого угодно стопчет, ежели стать между ним и бабой, которую он облюбовал. А то, что у него зуб на Дунярку горит, это ясно.

– Вопросов больше ко мне не имеется? – спросил, чеканя каждое слово, Егорша. – Ну и у меня нет. А писем в этом доме не подписывают. Потому как в этом доме с Советской властью живут. Ясно?

– А я что, не с Советской?

– Да вы об чем это? Об каком письме?

– А это уж ты его спрашивай, своего дорогого братца. – Егорша с ухмылкой кивнул Лизе. – Он решил зимой в прорубь прыгать.

– И ничего я не решил. Кой черт, нельзя уж сказать, что белое – белое…

Лиза еще нетерпеливее спросила:

– Да чего ты натворил-то? Про какое письмо он говорит? Где оно?

Михаил отмахнулся:

– Так. Ерунда. – Не хватало еще, чтобы он сестру свою втащил в эту историю.

Но тут Егорша просто заулюлюкал: ага, дескать, что я говорил? Ничего себе письмецо, ежели даже родной сестре показать нельзя!

Михаил выхватил из кармана ватника скомканный листок, бросил на стол: читайте!

Лиза присела к столу, расправила листок, прочитала заявление вслух.

– Коль уж и дельно-то! Все, каждое слевечушко правда. Да я бы того, кто писал, расцеловала прямо.

– Целуй! – усмехнулся Егорша. – Он тут, между протчим.

– Ты?

Лиза, конечно, хитрила – это было ясно Михаилу: не могла же она не узнать почерк своего брата! Но все равно было приятно. И приятно было видеть ее зеленые, по-весеннему загоревшиеся глаза. А потом еще больше: Лизка, которая за всю жизнь ни разу не целовала его, тут вдруг выскочила из-за стола, обняла его и, подскочив, звучно чмокнула в небритую щеку.

Егорша язвительно захохотал:

– Да ты, может, и письмо подпишешь?

– Подпишу! Где карандаш?

– Ладно, ладно, сестра, сказал Михаил. – Брось. – Стоило бы, конечно, проучить этого индюка, да уж ладно: с него достаточно и того, что сестра не струсила.

Но Лизка загорелась – не остановить. Сбегала в чулан, принесла карандаш.

– Где мне расписаться-то? Все равно?

– Не смей у меня! – гаркнул на всю избу Егорша. – Чуешь?

Лиза даже не взглянула на него. Быстро прочертила по бумаге карандашом, с пристуком положила его на стол.

В наступившей тишине стало слышно, как завывает и мечется под окошком ветер, уныло скрипит в заулке мачта.

Потом булыгами пали слова:

– Все! Ты не письмо подписала, а свой смертельный приговор. Счастливо оставаться! Раз тебе брат мужа дороже, с братом и живи.

Лиза не закричала, не заплакала. Ни тогда, когда захлопнулась за Егоршей дверь, ни потом, когда под окошками прошелестели его летучие шаги.

Она сидела за столом. Неподвижно. Белее недавно покрашенной известкой печи. И глядела на лежавшее перед ней письмо.

– Ну зачем ты, сестра, подписалась? Зачем? Да ты понимаешь, что ты наделала? Жизнь свою загубила… Лиза долго не отвечала, потом, вздохнув, сказала:

– Пущай. Лучше уж совсем на свете не жить, чем без совести…

Глава десятая

1

Ночью, перед самым рассветом, на Пекашино налетел страшенный ветер, или торох по-местному, и дров наломал – жуть! Где разметал зароды с соломой и сеном, где повалил изгородь, где сорвал крышу, а у маслозавода тополь не понравился – пополам разодрал.

И пришлось Михаилу, как всегда выбежавшему из дому ни свет ни заря, сворачивать с дороги да обходить зеленый завал стороной.

Больше всего, конечно, пострадали от тороха вдовьи хоромы, к которым бог знает сколько времени уже не притрагивалась по-хозяйски мужская рука.

Завидев Михаила, бабы протягивали к нему руки, упрашивали, умоляли:

– Михаил… Миша… Помоги…

Нет, дудки! Плевать я на вас хотел. Пальцем не пошевелю. Как бумагу подписать – вы в стороны, а прижало – Миша…

Он пушил, клял этих разнесчастных дурех на чем свет стоит и заодно клял себя, потому что знал: пройдет день-другой – и он снова подставит им свое плечо. Так уж повелось со времен войны: что бы ни случилось, что бы ни стряслось у девушек – так с легкой руки Петра Житова в Пекашине называют солдатских вдов, – к нему бегут. К Михаилу. И бесполезно говорить, что в деревне сейчас, помимо него, еще кое-какое мужское поголовье завелось. Не слышат.

На дороге возле сельпо, на всю улицу чертыхаясь, разбирала ночную баррикаду из пустых бочек и ящиков Улька-продавщица – и тут, оказывается, торох поработал.

Ульке пособить надо было в первую очередь – смотришь, скорее лишняя буханка и кусок сахара тебе перепадут, но, черт побери, мог ли он тут задерживаться, когда перед ним маячил растерзанный, растрепанный дом председателя!

Дом Лукашиных со сбитыми и содранными тесницами Михаил увидел еще от клуба – так и выпирали в утрешнем небе голые, непривычно светлые балки и стропила, и вот, хотя Улька-продавщица сразу же начала зазывать его к себе, он протопал мимо на полном ходу, даже не взглянув на нее. И вообще, сейчас, в эти минуты, сам дьявол не мог бы остановить его.

На дом, на крышу к Лукашиным! Назло всем, всей деревне!

Вбежав в заулок, сплошь закрещенный тесницами, Михаил первым делом поднял их с земли, поставил на попа возле крыльца, чтобы легче, без задержки было поднимать на дом, затем кинулся искать топор.

Заглянул на крыльцо, заглянул в дровяник – нету. Должно быть, Лизка, хозяйничавшая в эти дни у Лукашиных, убрала подальше.

– Помощников не надо?

Михаил, в раздумье топтавшийся подле крыльца (не хотелось идти к соседям за топором), повернул голову и увидел Раечку. Стоит у раскрытой калитки со стороны дороги и улыбается. Хорошо вылежалась на своих мягких пуховиках!

Злость закипела в нем.

– Иди, иди! Помощница… Уж коли ты такая смелая до охочая, ночью надо было помогать, а не сейчас.

Сказал и еще пуще закипел. Ведь что подумала Райка? На чей счет приняла его слова? На свой. Дескать, чего сейчас толковать, какое у парня с девкой дело днем, при белом свете, на виду у всех?

– Да не выдумывай ты чего не надо! До тебя мне сегодня было, когда я всю ночь по деревне с письмом шлепал!

– С каким письмом?

– Здрасте! Да ты, может, и насчет Лукашина не слыхала? – Михаил глянул прямо в глаза Раечке и врубил: – Письмо насчет того, чтобы председателя нашего освободили, поскольку, сама знаешь, не за что такого мужика…

Раечка кивнула.

– Ну ладно, чего там растабарывать, – уже без всякого запала сказал Михаил. – Сама знаешь, какой у нас народец. Три человека подписались… – И он, порывшись в карманах, неизвестно для чего вытащил мятое-перемятое письмо.

Раечка взяла письмо в руки, разостлала на столбике калитки, старательно разгладила… А дальше – черт знает что! Вытащила откуда-то химический карандаш и прямо по белому – свою подпись.

– Да ты что? – только и мог сказать Михаил. – Не читавши, не знавши, прямо с закрытыми глазами…

А еще какую-то минуту спустя он глядел вслед бойко взбегавшей на угорышек Раечке, ловил глазами ярко горевший в ее тяжелой светло-русой косе бант и говорил себе: да, вот и все. Вот и кончилось твое холостяцкое житье…

Долго, годами канителился он с Райкой. Долго не прошибала она его сердце. Даже тогда, когда сватался к ней, ни секунды не горевал, что ничего не вышло. А вот сейчас за какие-то пять минут все решилось.

Надолго. Навсегда.

2

Первые тесницы Михаил поднимал на дом один, а потом подошла с коровника Лиза, и работа у них закипела.

Под конец к нему пожаловал еще один помощник – Петр Житов.

– Так, так, мальчик! – одобрительно закрякал, задрав кверху голову. – Это мы можем. Это по нам – махать топором…

Михаил взглядом не удостоил Петра Житова. Пускай, пускай пожарится на собственных угольках, потому как малому ребенку было ясно, зачем пожаловал сюда Петр Житов. Затем, чтобы совесть свою успокоить. После их ночного объяснения.

Петр Житов напоследок даже к Ульке-продавщице не поленился скататься дескать, давай, Пряслин, мирными средствами разрешим вчерашний конфликт, но Михаил, спустившись с крыши, неторопливо и деловито отряхнулся, закурил на дорогу, а Петр Житов так и остался стоять в заулке с бутылкой в руке.

До медпункта Михаил шел как напоказ – знал, что Петр Житов сзади смотрит, – а от медпункта полетел сломя голову. С быстротой человека, бегущего на пожар. Да у Ильи Нетесова, похоже, и в самом деле было что-то вроде пожара все боковое окошко пылало заревом.

Надо сказать, что дым над нетесовским домом Михаил видел еще с крыши Лукашиных, но ему и в голову не приходила мысль о беде. Ведь рядом, по верхнюю сторону Нетесовых, – сельповская пекарня, и чего-чего, а дыму от нее хватает.

Его опасения, слава Богу, оказались напрасными.

В доме был сам хозяин и, ни мало ни много, топил печь.

Запыхавшийся Михаил нетерпеливо махнул рукой в сторону ребятишек уймитесь, дьяволята! (те беззаботно, на все голоса переговариваясь с пустой, еще не захламленной избой, носились по кругу друг за дружкой) – подсел к столу.

Илья тоже вскоре оседлал табуретку.

– В отпуск приехал всем табором? – спросил Михаил, кивая на ребят.

Илья по глухоте своей не понял сразу, и пришлось дать звук на полную мощность:

– В отпуск, говорю, приехал? Как рабочий класс?

– Не. Насовсем.

– Как насовсем? – оторопел Михаил.

– А ближе к своим…

– К могилам?

– Аха.

– К могилам-то ближе, а как их-то кормить будешь? – Михаил, морщась от ребячьего крика, сердито повел глазами на избу.

– Как-нибудь… Я думаю, жизнь теперь к лучшему повернет.

– С чего? – Михаил тут просто заорал: после смерти дочери и жены Илья совсем малахольным стал. – А председателя нашего тоже к лучшему закатали?

– Ну, это дело поправимо, сказал Илья. Но сказал уже потише, с некоторой заминкой.

И все-таки Михаил не пощадил его, а снова ударил по черепу – до того в нем все вдруг вздыбилось да ощетинилось!

– А кто, кто будет поправлять-то? – заорал он вне себя. – Мы, колхозники, да? Наш ведь председатель-то, правильно? Правильно я говорю, нет?

Илья согласно кивнул. Ребята, перестав бегать, уставились на них.

– Ну дак вот, полюбуйся! – Михаил выхватил из кармана письмо, прихлопнул его своей тяжелой лапой к столу. – Полюбуйся, как поправили колхознички!..

Илья не спеша, с обычной своей обстоятельностью развернул бумагу, надел очки.

Читал долго, хмурился, вздыхал – в общем, искал зацеп, чтобы самому увернуться.

Наконец нашел:

– Тут, по-моему, знаешь, чего не хватает? Самокритической линии. В части того, что Лукашин нарушил закон. Есть такой закон – в хлебопоставки никакой раздачи хлеба. Так что арестовали его по закону. Но учитывая, что данный председатель нарушение сделал, исходя не из личных интересов…

Михаил, не дослушав, отвернулся. Нет ничего хуже – смотреть на человека, который на твоих глазах начинает крутить восьмерки!

А в общем-то, ежели говорить начистоту, претензий к Илье у него не было. Человек в колхозе не жил. Партийный… Характер, известно, не матросовский. Всю жизнь Марьи боялся…

Э-э, да чего на пристяжных отыгрываться, когда коренники не тянут!

Михаил протер рукой заплаканное, запотелое окошко.

По дороге вышагивали Петр Житов и Егорша. Петр Житов тянул протез пуще обычного, так что можно было не сомневаться, что с бутылкой он уже расправился. Может быть, даже не без помощи Егорши.

Михаил встал:

– Ладно, обживайся помаленьку, а мне пора… – И вдруг, пораженный внезапно наступившей в избе тишиной, обернулся к Илье.

Илья подписывал письмо.

Четко, со старательностью школьника выводил свою фамилию. Буква к букве и без всяких закорючек, так что самый малограмотный человек прочитает.

Потом подумал-подумал и добавил:

Член ВКП(б) с 1941 года.

3

В небе летели журавли.

Тоскливо, жалобно курлыкали, как бы извиняясь: мы-то, дескать, в теплые края улетаем, а тебе-то тут куковать. И день был серенький-серенький – всегда почему-то журавли отчаливают в такие дни.

Но всегдашней тоски на душе у Михаила не было.

Он стоял на нетесовском крыльце, широко расставив свои крепкие сильные ноги, по-крестьянски, из-под ладони, глядел на удаляющийся журавлиный клин, и перед глазами его вставала родная страна. Громадная, вся в зеленой опуши молодых озимей.

1973

[1] Житник – домашний хлеб из ячменной муки с примесью ржаной.

[2] Нижноконы – жители нижнего конца деревни.

[3] Охлупень – у старинных домов массивное бревно на крыше, которым пригнетаются концы тесниц обоих скатов.

[4] К сену – на сенокос.

[5] Лешье мясо – грибы.

[6] Заворы – проезды в изгороди.

[7] Обабки – грибы для сушки.

[8] Красные – местное название брусники.

[9] Кокора – корневище вывороченного ветром дерева.

[10] Стожары – жерди, которые служат остовом для стога.